

В Л. Б А Х М Е Т Ь Е В

ПРЕСТУПЛЕНИЕ МАРТЫНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
МОСКВА

РИСУНКИ
Н. БЕРЕНДГОФ

ФЕДЕРАЦИЯ • МОСКВА • 1932

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧЕНЫМ
СОВЕТОМ ОДОБРЕНО ДЛЯ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.

П. П. П. П. П.
О. П. П. П. П.

Родом Мартын с Волги. Отец его—рыбак. Мать—из богатой помещичьей семьи. Мартын ее не помнит, но от людей не мало слышал о диковинной любви бледнолицей изнеженной девушки к нищему рыбаку Баймакову. Сам Баймаков об этом никогда не рассказывал сыну.

Пока Мартын подрастал, кто-то, чья голова напоминала голову старого медведя, не раз заглядывал в рыбацкую избу. Великолепный и властный, в черном сюртуке, со снежною белизною на груди, он подолгу и гневно кричал в кудлатое лицо рыбака. Мартын из угла следил за гостем, и было всегда страшно, что у того на пальцах, обвивавших бронзовый набалдашник трости, горела смертная бледность.

И вот, в одно из посещений человек этот увез Мартына к себе, в усадьбу, и здесь ребенок провел много месяцев. Теперь отец, суровый и важный, приходил сюда, и опять разгорался у него жаркий спор с человеком, похожим на медведя.

В усадьбе Мартын окружен был множеством пахучих, ласковых вещей, но люди, ходившие за ним на дыпочках, напоминали мужиков в степи, которые под-

крадывались к жеребятam с арканами. И особенно жуток был сам барин: он то принимался целовать его, то выкрикивал над понурою его головенкою злые непонятные слова. Засыпая в голубом шелковом пуху постели, не раз видел Мартын склоненную к нему медвежью голову с влажными страдальческими глазами человека. Дрема покидала ребенка, он вскакивал и, прижимаясь к стене, молча, в упор глядел на старика, пока тот, пятясь, не скрывался за дверью. А он, Мартын, спускался с постели и, босой, в одной рубашонке, бродил по холодному и скользкому паркету, прикивал к темным огромным окнам, слушал, затаившись, дремучие шорохи старого барского дома.

Позже (он тогда уже справлялся с вертким челноком) узнал Мартын, что отец и человек из усадьбы вели из-за него, Мартына, борьбу чуть не со дня его рождения. Рыбак оставался непоколебимым. Победил и на этот раз он, вернув сына в свою избу. Но недолго оставался Мартын в рыбацьем поселке. Научившись у деда Стратона по священным его книгам грамоте, он бежал в город. Там на средства неведомого благодетеля обучался в ремесленной школе. Не закончил ее, узнав, что опекал его давнишний враг отца, человек с медвежьей головою. Прошатавшись с месяц в холоде и голоде по городу, парнишка на первом буксире перебрался к верховьям, в Сормово, где люди помогли ему устроиться на механический. Здесь он сошелся с заводской молодежью, вступил в подпольный кружок, был вскоре арестован и, несмотря на крайнюю юность, выслан на север.

В ссылку Мартын Баймаков пошел об руку с заводским коноводом, старым партийцем, по кличке Черноголовый (у Михаила Ивановича голова с молодых лет была седовласою). Этот Черноголовый занялся образованием Мартына, и ученик выказал такие успехи, что уже в конце первого года было ему разрешено выступать «затравщиком» в боях с эсерами. О, какие то были схватки!

Выглядел Мартын к тому времени богатырем, но его сила и молодость оставались обычно в тени. Он как бы прятал от людей и свои синие глаза, брызжащие радостью существования, и свои плечи, развернутые упругими крыльями. У него был, несомненно, большой голос, но говорил он столь сдержанно, что лишь по глубокому звону на гласных можно было догадаться о безупречности голосовых его средств. Только в боях с эсерами Мартын не прятал глаз, не сдерживал голоса и не стыдился щедрого дара волжской природы— могучих своих плеч. И тут не столько его слушали, сколько на него глядели.

А женщины заглядывались.

Но женщины для Мартына еще не существовали. Он избегал их. Их внимание не трогало Мартына. Часами просиживал он за книгой, неделями пропадал в глуши тайги. Будничные его беседы с людьми были редки и скупы. Исключением являлись занятия с Черноголовым. Михаил Иванович и сам не любил пустых разговоров. Так они и жили вдвоем, далекие от повседневных людских радостей, оба—сдержанные, почти холодные: один—потому, что давно пережил свою юность, другой—благодаря ей.

Впрочем, Михаил Иванович не всегда одобрял склонность Мартына к одиночеству, а скитания парня в тайге у Михаила Ивановича вызывали даже тревогу.

— Не забывай, Мартын: человек есть животное общественное...

Этой фразой Михаил Иванович не раз встречал ученика, когда тот возвращался из неведомого мира. Но продолжать попреки Михаилу Ивановичу не удавалось, так как Мартын молча отворачивался и только краснел. Краснел он по-девичьи, густо, до самых корней волос, при этом опускал глаза, а в ржаной чаще его ресниц мог бы утонуть и смертный грех.

Черноголовый прищуривался под толстым стеклом очков, складывал трубочкой губы, легонько насвистывал.

— Странный ты парень...

У Мартына и впрямь были странности. Он, например, не выносил вовсе, когда на диспутах с эсерами Михаил Иванович вмешивался в его, Мартына, речь, поправлял, подсказывал. Он так не выносил этого, что нередко смолкал на полупhrазе и потом долго ходил темным и горестным. Но было у Мартына и еще кое-что: он делал не всегда то, что считал возможным и доступным для себя; у него была тяга к необычному, непреодолимому.

Началось еще в детстве.

Если отец шутки ради ставил его у весла струга, зная наперед, что такая работа ребенку не под силу, Мартын с ожесточением накидывался на весло и злобно, в слезах, боролся до последних сил. Будучи побежден, опускался с воем на днище и, если над

ним смеялись, готов был вцепиться зубами в босые отцовские ноги.

Когда у Мартына являлось желание переплыть Волгу с берега на берег, а сам он в это не верил и весь холодел от предчувствия беды, никакая сила не могла уже удержать его. За безрассудные упражнения отец не раз бивал сына, но тот продолжал свое, уходя вверх по течению, подальше от поселка. И тут рыбак Баймаков узнавал в сыне кого-то чужого — желанного и ненавистного. — Кого-то, кто много лет назад ворвался в его жизнь и тут же спалил ее.

— Хоть лыком шит, да барин, — говорил он загадочно и сурово о сыне.

И был еще случай в бурю на Волге. С утра в тот день рыбаки убрались вниз по течению, к своим снэстям. В поселке оставались женщины, недужные старики, дети. Когда, в сумерках, налетела неожиданно гроза и подул долгий ветер, на берегу поднялась кутерьма. Был час возвращения рыбаков. Женщины с трепетом вглядывались в почерневший, гремящий волжский простор.

Мартын стоял среди них, вслушивался в пущенные гулы вод и дрожал от стужи. Огромная ладья скрежетала днищем по гравию, волны ворочали сизую тушу с боку на бок. Лил черный дождь, ветер трепал воздушные потоки, бросал их пригоршнями в лицо. Порою бесшумно вспыхивала молния, и тогда заречная даль раскрывала темную пасть, оказывала тот берег и вновь его проглатывала. И вдруг в речной гул, царапая его, ворвались крики женщин. На

зыбучем речном горбу обозначались рыбацьи челноки: скакали на волнах, как подшибленные птицы.

— Наши!—закричал Мартын и бросился к воде, но люди не подхватили его радостного вопля. При новом сполохе молнии было видно: скачут челноки на одном месте, точно кто-то привязал их там. Пролетела минута, за минутой—еще много минут, а челноки плясали на том же месте, и лил черный, густой дождь, и в зеленых зарницах широко распахивались и вновь смыкались немые заречные дали.

Мартын понял: рыбакам берега не поймать! И еще ранее его поняли это взрослые, метавшиеся теперь вокруг ладьи. Услышав глухой стук весел, Мартын с разбегу ухватился за борт. Ладья, шатаясь, двинулась в воду, вода захлестнула босые ножонки; Мартын кричал, но вой реки был сильнее его голоса.

До сих пор Мартын помнит этот бурный на реке вечер, свой ужас, когда он повис, никем невидимый, за бортом над черной кипучей глубиной, и тот восторг, который перед тем мгновенно ослепил его и бросил к воде вслед за ладьей. Было такое состояние, точно люди, снаряжавшие ладью, спешили от него, Мартына, прочь на невиданный, одним им доступный тайный пир, и—си ненавидел их, не замечавших его, прятавших от него что-то, страшное и самое чудесное, из-за чего стоило кинуться в бешеные волны, столкнуться грудью с бурей, рискнуть головою.

Все это, сложное, переживал Мартын как бы заново впоследствии, когда вспоминал о бурном вечере на Волге. Тогда же, бросившись за ладьей, он чувствовал только неукротимый восторг.

Древний, позеленевший от времени дед Стратон, тот, что еще помнил тайные скиты за Жигулями, видел мальчонку, повисшего у борта, кинулся в воду и взывал, приложив руку к беззубому рту. Но никто не слышал его. Ладью уносило от берега; в ладье видны были людские головы, похожие на поплавки. Поплавки эти то поднимало над дальним берегом, то втягивало в глубину, в зелено-бурую яму.

Мартын уцелел. Об отчаянном отроке долго потом говорили, приглядывались к нему. И вот, еще в ту пору в сердце Мартына запала горячая капля. И чем дальше шло время, тем глубже въедалась эта капля, тем острее становилась боль, и тем нетерпеливее вглядывался он в грядущее.

Кто скажет, почему Мартын, новый, большой, отдававший марксовой мудрости, любил подолгу шататься в тайге? Не потому ли, что тайга пугала, и он, как всадник, почуявший под собой взбешенное животное, напрягал силы, чтобы победить?

— Станный ты парень!—говорил Михаил Иванович и с нескрываемым подозрением, с болью в голосе предостерегал:—Человек в одиночку не сильнее, Мартын, мыльного пузыря...

Опять стереотипная фраза. Но, пойманный, разгаданный так вот, на лету, краснел Мартын до корней волос и прятал в рыжей чаще ресниц все, что еще не было Черноголовым понято.

II

О Михаиле Ивановиче одни говорили, что человек он односторонний, сухой. Другие, напротив, считали

его глубоким и многогранным, но скрытым, вовсе не желающим, чтобы о нем знали больше того, что следовало знать для дела. Так или иначе, жил он, несомненно, без больших личных радостей, но и без особого, обычного у людей утонченно-чувствительных, страха.

Когда-то, лет этак пятнадцать назад, Михаил Иванович раз навсегда отмахнулся от всего, что связано было с диким хмелем любви, с суетой семейного очага. Может быть, в этом повинны были вечное кочевье, тюрьма, подполье. Однако знавшие Черноголового ближе говорили, что не последнее место в развитии свирепого его аскетизма занимала женщина. Называли даже некую Розу Гринберг, слышную одно время на юге социал-демократкой, а на поверке оказавшуюся сумасшедшей анархисткою. Это она, Роза Гринберг, в шестом году участвовала в столь шумевшей на юге экспроприации,—дело, окончившееся для нее 273-й статьей свода военных установлений, а для Михаила Ивановича—потерю веры в то непрочное, что составляет личное счастье.

Но если радости любви были Черноголовым отвергнуты, то как можно было предполагать, что и от других многих очарований жизни отвернется он!

Тут вот ученик и расходился со своим учителем.

В конце концов не диво удержаться от шумной пирушки, от медовой, слишком крепкой бражки, от восторгов спора (достаточно всегда бестолкового). Но как отказаться от белой северной ночи, когда так восхитительно мчаться на лыжах по лунным су-

гробам, подставлять морозному полыню щеки и думать только о том, что ты молод, силен и в эту минуту свободен, как сохатый.

Право, это же совершенно невинные вещи, и к чему тут ядовито прищуренные глаза и губы, сложенные трубочкой, готовые вытолкнуть новый стереотип вроде: «Безделье и мелочи—паутина жизни».

А разве упражнения, проделываемые Черноголовым по утрам, не безделье?

Выбраться из-под теплого одеяла на студёный пол в одном белье, размахивать чинно руками, поворачивать с видом священнодействия в сторону голову, вдыхать и выдыхать, приседать, как последний мальчишка, на карачки!

От всей подобной ерунды можно или отвернуться с досадой, или расхохотаться... Или вскочить с постели, натянуть одежонку, всунуть ноги в мокасины и удрать на весь день в заимку к Петровану Ожерелину, у кого нет на полках ни Маркса, ни Лассаля, ни Бебеля: всё ведь хорошо в меру!

Мартын многое, как должное, принимал в своем нареченном батке— и сухие его усмешечки в разговорах лирических и бесстрастных его назидания вообще. Даже эта постельная гимнастика прощалась Михаилу Иванычу. Но простить ему последние недели ссылки было невозможно!

Просто удивительно было, как мог этот, еще далеко не старей человек, каких-нибудь десятков лет назад восторгавшийся по случаю разбитого носа у слишком зарвавшегося шпика, столь сухо встретить первые вести о революции... И затем, когда эти ве-

сти подтвердился, с такой суетливой настойчивостью заняться здесь, в заброшенной к чорту на кулички деревушке, организацией совета крестьянских депутатов!..

От утра до ночи возиться под сумрачным морозным небом с полсотнею волосатых звероловов, когда там, в городах, весь пролетариат готовился к небывалым боям... Нет, все что угодно, только не это!..

В один из вечеров, когда не стало терпения, Мартын сказал Черноголовому:

— Ну, батька, я завтра ухожу...

На дворе стоял апрель, бледный, заморезженный. Дороги только-что тронулись, река еще цепенела во льдах.

— Ухожу. Слышишь?—повторил Мартын и полез под койку за своим сундучишком.—Завтра же!..

Михаил Иванович слышал, но сразу не откликнулся. Он сидел за столом над своей замызганной, в холщевом переплете тетрадью и старательно вписывал в нее дела и мысли за прожитый день (вот еще чудачество у сорокалетнего человека!).

— Так ты уходишь?—произнес наконец Михаил Иванович, приподнял голову и насторожил недвижимую белизну виска.

— Обязательно!

— Но как же так, Мартын? Река стоит, до ближайшей станции двести верст...

Мартын с ожесточением двинул сундучком по полу.

— А чорт с ними, с твоими станциями, пароходами, паровозами! Пешком пойду...

Михаил Иванович обернулся. Глядел на Баймакова

из-под очков, слегка набычившись. И губы его, что-то насвистывая, складывались трубочкой. Губы у него пунцовые, щеки бритые, в прочном заветренном румянце, без единой морщинки.

— Хорошо, иди!..

Он сказал это так, будто и не сомневался в возможности путешествия по проклятым дорогам в оттепель, когда на каждой версте подкарауливают путника болотца и зажоры. Мартына взорвало.

— А ты, конечно, останешься?..

Он сел на койку и пинком отправил сундучок на старое место.

— А я, конечно, останусь!

Голос у Черноголового матовый, бесстрастный. И весь он бесстрастный. Казалось, что большая белая голова его, как снежная насыпь на могиле, хранила все порывы сердца.

— Пишу вот и думаю!—как ни в чем не бывало, говорил он.—Когда пишешь, лучше думается. Должно быть, политика убила во мне писателя...

Мартын хмуро молчал.

— Впрочем, без политики нет и писателя! Ты хочешь знать, о чем я разрисовал тут?..—Не получив ответа, все так же спокойно, как бы разговаривая с собою, Черноголовый продолжал:—Я думаю, что в эту революцию за нашей партией пойдут широчайшие массы... Надо только во-время углубить действие. Разворочать, раскорчевать жизнь... Как это по Марксу?..

У Мартына дрогнула серая хмура в глазах, и зрачки сузились. Как это у Маркса? Он припоминал.

У него была незаурядная, сметливая память,—та, что по одному куску мгновенно разгадывала весь ребус. И он вспомнил и произнес вслух негромко, чуть-чуть деревянным книжным тоном:

— «Чем глубже захватывается жизнь данным действием».

— «Историческим»!—подсказал Черноголовый.

— Да... «Тем более растут размеры массы, совершающей это действие».

Михаил Иванович ласково глядел на Мартына, но тот все еще хмурился.

— Эх, Мартын, посадить бы тебя годика на три за учебу!..

— Не хочу! Хватит с меня. Но... к чему мы потревожили Маркса?..

— Не мы! Он потревожил нас... Да сбудется слово писания.

— И да не запечатлей словес пророчества книги сия, аки время близ есть...—засмеялся Мартын: он всегда внезапно переставал сердиться.

— Откуда мудрость сия, Мартын?

— Из дедовых книг, Иваныч... Старый начетчик Стратон готовил меня когда-то в помощники... Я начал, как тебе известно, с Библии!..

— А кончил Марксом... Не плохой конец, Мартын! Но ты кстати напомнил о своей кержацкой крови. В твоём желании теперь же убежать отсюда—упрямство родичей!..

— Я не упрямей тебя, Иваныч!

— Но мое упрямство—в моем убеждении, а твое—в крови!..

— Отлично!

— Берегись, Мартын!

— Мне двадцать лет.

— Я вдвое старше тебя, но по сю пору, нет-нет да и почувствую у себя за спиной учителя математики...

Мартын насторожился. Он мало знал о прошлом Черноголового.

— Учитель математики... Он был твоим отцом?

— Да, Мартын! И погиб в крайней нищете, как истинный пролетарий!..

— Отец твой тоже политик?

— Нет, только математик! Но однажды он попытался доказать своим ученикам, что дважды два не всегда означает самодержавие! И очутился за бортом...

Мартын шагал по избе, от одного угла, где на скамье высилась куча книг, до другого, пропахшего сладкою жухлостью овчины.

— Что же даст нам, по-твоему, эта революция?

— Боюсь сказать прямо...—Черноголовый бережно поднял свою тетрадь.—Но тут у меня...

Мартын приблизился, заглянул, пробежал несколько строк.

— Фантазия, Иваныч!..

— Нет, Мартын! Оно так и будет, как здесь записано.

Михаил Иваныч, когда говорил этак—холодно, четко,—весь поджимался, точно лесной еж перед лсом: попробуй коснуться его—с лютым фырканием вонзят он свои иглы в неосторожный синий нос.

Мартын отступил. Черноголовому нельзя было не верить. За Черноголовым—сотни исхоженных заводов, море тайно подслушанных слов, горы великого человеческого терпенья, и ему ли не знать, когда слова сложатся в гимны и—дрогнут, задымят горы!..

— Но что же мы сидим тут, Иваныч? В городах пожарище!..

Мартын готов был возвратиться к началу:

— Ведь этак мы попадем к шапочному, разбору!..

Михаил Иваныч защелкал языком.

— Хе! Да ты понимаешь ли, парень, чем эта революция пахнет? Тут десяти лет мало...

Слова эти долго помнил Баймаков. И уж не дивился ничему, что говорил потом Михаил Иваныч. Беловолосый и краснощекий человек этот носил при себе чудесный какой-то ключ, отмычку ко всем большим и малым, неожиданным и будничным событиям.

Выбрались они из тайги неожиданно, спешно. На имя Черноголового пришла телеграмма. Он отыскал Мартына, сказал ему:

— Собирайся, завтра едем...

— Куда?—вспыхнул Мартын от радости.

— Пока—в ближайший город, а потом...—Михаил Иваныч несколько задумался.—Потом мы, конечно, двинемся на юг... Огонь займется с юга!..

Так и случилось. Уже через полмесяца грязный, задрызганный вагон, набитый людьми, уносил их на юг, в прифронтовую полосу: то была первая крупная партийная мобилизация.

А в новом городе, окруженном степями, сто лет не слышавшими пушечного голоса, работа была такая

жаркая, что даже у Михаила Ивановича глаза припухли и зарозовели: дни лихорадочные, ночи бессонные.

Однако Черноголовый остался верным себе и тут. Даже в тетрадь свою успевал записывать, и каждый новый день огорошивал Мартына откровением.

— Надо обратить внимание на этот уезд: в нем вот-вот кутерьма начнется!..

Или:

— Из этого района гнать продовольствие экстрой! Через полторы-две недели казак там будет...

И все было так, как говорил Михаил Иванович: кутерьма в уезде вспыхивала, прифронтовый район, действительно, занимали казаки, но запасы продовольствия во-время вывозились.

Михаил Иванович был председателем губисполкома. У губисполкома много, очень много забот! Но особое внимание председатель отдавал крестьянству.

Он не жалел времени на заседания, связанные с вопросами не только продовольствия, но и обсеменения, не только конской мобилизации, но и заготовки земледельческого инвентаря.

Мартына смущало и удивляло, когда Михаил Иванович, сидя на председательском месте, держал часами исполком в глубоком напряжении по поводу отдельных вопросов, связанных с весенней запашкой в уездах.

Дело, конечно, важное, но нельзя же было толковать так много о доставке, например, трех десятков плугов в Голосновскую волость (именно в нее), отлично зная, что этот крайний южный клочок губернии уже второй месяц под белыми. Мартын заметил, что

там, в ссылке, Михаил Иванович не впустую проводил время, с таежными крестьянами: многое, полезное себе, вывез Черноголовый из тайги, и именно там добыл он навык разговаривать с деревенскимиходами, как со старыми знакомыми.

С рабочими Михаил Иванович держался строже и суше. Этим он знал с юных лет. Их слабости были открыты ему, как иному—слабости женщины, с которой отпраздновал серебряный век. Он даже покрикивал на рабочих... Но... Мартын не видел ни одного, кто ушел бы от predisполкома с обидой.

В городе частенько происходили недоразумения—то на паровой мельнице, то в железнодорожном депо, то в наборной газетной типографии. Причиною склок являлись всюду пайки, продкарточки, зарплата. И в исполкоме знали, что обо всем этом прежде других должен быть оповещен сам председатель. И к председателю шли и ехали, звонили и ехали, звонили днем и ночью, и сам он, невзирая на поздний час, покидая заседания, срывая на половине повестку дня, шел, летел на автомобиле или звонил.

Но тут, в мастерских, на мельнице и в типографии, Михаил Иванович не нравился Мартыну. Мартын представлял лицом к лицу с рабочими себя и видел, что он, Баймаков, был бы здесь чистосердечнее, теплее и более глубок, чем predisполкома.

А когда все же, невзирая ни на что, Михаилу Ивановичу удавалось разговаривать рабочих и установить среди них единогласие, Мартын чувствовал себя так, будто его обманули, а люди казались новыми, непонятными и даже чужими.

Однажды, возвращаясь с мельницы, Мартын заметил Михаилу Иванычу:

— Будь я на месте рабочих, обязательно провадил бы тебя сегодня!..

Михаил Иваныч насторожил белоснежный висок.

— Очень хорошо, Мартын, что ты не на их месте...

И заглянул искоса в глаза Мартына.

— А как, парень, ты себя чувствуешь... вообще?..

По душам они из-за отсутствия свободного времени говорили редко.

Поймав на себе ощупывающий взгляд Черноголового, Мартын, как всегда в таких случаях, сочно, с испариной на лбу, покраснел.

— Я чувствую себя ничего!

В первый раз Мартын не смолчал, но сказал неправду, вернее, сказал нечто такое, что не могло быть ни ложью, ни правдою.

А правда была такая: выполняя точно все задания, ему поручаемые, выказывая себя при этом жадным и ревнивым, Мартын Баймаков был как бы только наполовину в здешнем мире. Он выступал агитатором на митингах, проводил среди тысяч людей нужные резолюции, заседал часами в президиуме губпрофсовета, писал ночью пламенные передовицы в газету, терпеливо составлял вместе с губпродкомиссаром Синицыным разверстки на зерно и сам, во главе рабочего отряда, проникал в отдаленные местечки губернии—собирал то самое зерно, которое питало революцию. Но что-то, выходящее за пределы обыденного сознания, все время неведомою музыкою звучаю

в сердце Мартына, а его двадцать один год, все двадцать один—были как туто натянутые струны.

Только Мартын (а может быть, еще и другие тысячи с ним, молодых, сильных) мог, сидя в санях, под ударами снежных буранов, верить, что эти сани, взятые по ордеру, в сельсовете, влекут сейчас в глубину страны, в неумные снежные просторы, под вой и гул буранов, самое нужное и самое важное для революции.

Мартын Баймаков знал крепко об огромном, несравнимом значении малых цифр, выводимых им, Мартыном, совместно с губпродкомиссаром Синицыным в бумагах. И он знал, что такое для революции сам губпродкомиссар Синицын! У Синицына все лицо исклевано оспой, его голос шуршит, как бумага, но не этот ли человек держит в своих руках судьбу, края, не тот ли это человек, чья ошибка может нанести поражение целой армии? И вот удивительный этот Синицын часами просиживал с Мартыном, совещался с ним и послушно выводил цифру за цифрой... И об этом, рано или поздно, должен узнать если не весь мир, то, по крайней мере, вся РСФСР.

Мартын Баймаков—отличный, признанный оратор, но кто бы ему поверил, если бы он взял, да и открыл всего себя на одном из митингов! Оказывается, Мартын мог горячо говорить, подкреплять себя выдержками из Маркса и Ленина, строить в боевые колонны цифры и в то же время какою-то частицей своего сознания парить над людьми, скучившимися в прокуренном зале, слушать свой рокошущий голос и глядеть сверху вниз на весь этот зал, на людей

и на себя—в центре всего. И не только глядеть, но и восхищаться до слез—конечно, скрытых—величием и неповторяемостью минуты.

А люди расходились, толкуя о своих маленьких нуждах, и забывали о Мартыне, и у него самого начинали ворочаться странные мысли вроде того, как непостижимо трудно разгадать себя, использовать же свои силы до конца, чтобы всему стореть, еще труднее!..

Михаила Ивановича обмануть трудно. Мартын убеждался в этом не раз. Михаил Иванович сказал:

— Что такое—чувствовать себя ничего? Ты кистю отвечаешь, Мартын! В наши дни не надо чувствовать себя вовсе...

Конечно, Михаил Иванович не мог обойтись без стереотипной фразы, но на этот раз тут был кое-какой смысл. Можно ли, в самом деле, в дни великие, жертвенные следить за своей особой, за своим самочувствием, ловить свои настроения?..

Михаил Иванович протянул руку, Мартыну. Михаил Иванович спешил. Ему еще надо попасть на заседание исполкома. В повестке дня вопрос о коммунозе. Сидят в коммунозе отличные ребята, но мозги у них набекрень. У города—кто этого не знает?—ветхий водопровод, его трубы со дня на день могут опрокинуть в дома, в подвалы реку, а ребята из коммуноза затеяли оборудование рабочего сквера—в центре города, с памятником Ильичу, с фонтанами на манер петергофских, с цветниками эдемскими.

— Пока, Мартын! Ты, батенька, много с себя не спрашивай... У тебя впереди тысяча верст!..

Михаил Иванович как бы подслушивал мысли Мартына. Но почему же дано Черноголовому слушать тайное у своего ближнего, а умения утешить, упрочить, выпрямить—не дано?..

III

Ох, эти бессонные ночи в залах исполкома—в мрачных старинных залах губернского присутствия! Толпы рабочих, отряды особого назначения, бряцающие оружием, караулы со сменами по-военному, непрерывные заседания совета с оголтелым гамом в коридорах... Жизнь неслась вскачь, напрямки, без дорог. Только кручи да пропасти вставали по сторонам, и какая-то сила всем этим, грохочущим и буйным до нельзя, управляла... И притом более искусно, чем машинист многосильным своим паровозом. Не было ни рельс, ни будок стрелочника, ни семафоров. Были залы с темными колоннами времен наполеоновского нашествия, а в залах просаленные пиджаки, шинели, рвань поверх зеленых обмоток и—от зари до зари гул набухших страстью голосов. И тут же, за колоннами, под метелками окуржавевших пальм, в чадных облаках махорки, крутые теснились спины, шелестели, ярились приказы, и белоснежная голова Михаила Ивановича несменно висела над всем, как студеной лунный лик в знойном мареве.

Тот, кто не видел Черноголового в эти часы за колоннами зала, у стола, похожего на буфет, многое вообще не видел! Сидел Михаил Иванович на губернаторском кресле, поджав под себя левую ногу, отчего весь несколько

возвышался над дубовым грузным столом, и его голова, остриженная под бобрик, разливая вокруг лунный свет, казалась больше и величавей всех прочих голов. Он смотрел в бумаги, слушал докладчиков, притыкал телефонную трубку к уху и был неуязвимо спокоен, точно за его спиной не дрожали рамы от проезжавшей по мостовой артиллерии, а все эти ребята, пахнувшие олеонафтом, конским потом и порохом, не грудились над ним грозовою тучею. Деловито и тщательно, с застуженным напряжением, подписывал Михаил Иванович бумаги, откладывал, не глядя, перо, слушал сразу двух и трех докладчиков, стремившихся перекричать эхо у лепного потолка, и каждому говорил:

— Можно! Нажимай...

Заглядывал в какую-то потрепанную, как портянка, бумажку и спокойно, почти весело произносил свое «можно». И всегда казалось, что предлагали ему как раз то, что значилось в замызганной его бумажонке. Тотчас же докладчики поднимались от стола и бежали, куда следовало, и уже никто не в состоянии был переубедить или задержать их.

А снежная голова, с широким лбом, орошенным капельками пота, склонялась к новым посетителям, тайно дивившимся контрасту в лице predispolкома: лунная седина и свежие юношеские щеки без единой морщинки и поджатые в узел крепкие губы, и зеленый огонек за массивным стеклом очков.

— Можно! Нажимай!..

Эта фраза была знакома каждому партийцу, она стала нарицательной, ее можно было слышать всюду,

и была она излюбленной среди рабочих -- в моменты новых дерзких затей, новых напряжений силы.

Когда отдыхал Михаил Иванович, и отдыхал ли вообще?

Он занимал крошечный номер в бывшей гостинице «Европа» (теперь советское общежитие). В номере он только спал и не всегда ел (ел где приходилось). Мартын жил в том же доме, этажем выше. Близко, а встреч у них почти не было: один возвращался поздно, другой еще позже.

Как-то, встревоженный слухами с фронта, заглянул Мартын к Черноголовому далеко за полночь. Но вместо хозяина застал в комнате Зину Кудрявцеву, секретаря губкома. Кудрявцева чинно сидела у стола в накинутом на плечи стареньком пальтишке и, кажется, готова была сидеть так до утра. Мартын знал мало Кудрявцеву, эту ближайшую помощницу Черноголового по губкому, но на заседаниях не раз встречал на себе ее серые, в узком разрезе, глаза и ловил в них затаенный огонек стыдливого любопытства.

Поднявшись навстречу, Зина торопливо заговорила:

— Вот, пришла за подписью... Протокол экстренного заседания... Но, кажется, не дождусь!..

Мартын равнодушно, слишком равнодушно, взглянул на нее.

— Михаила Ивановича добыть трудно!

И по каким-то неясным для самого себя мотивам добавил с раздражением:

— Михаил Иванович вообще не отвечает за себя! Его может задержать любой..

Это было не совсем справедливо по отношению к Михаилу Ивановичу, но разве Кудрявцева не могла сообразить сама, что ради протокола можно было не ловить в ночь-полночь председателя губкома.

Она с недоумением подняла глаза. Смуглая кожа на овальных, совсем овальных ее щеках загорелась. Кажется, она хотела что-то сказать в защиту Михаила Ивановича, но Мартын оборвал ее. Можно и без того не сомневаться, что эта молокососка глядит в рот Черноголовому!

— Михаил Иванович достаточно беспорядочен... — подтвердил он. — Я знаю его не один год... — И перевел разговор на другое. — Что нового на фронте? Мне не удалось видеть последней сводки.

Тонкими и красноватыми, как у подростка, пальцами Зина плотнее натянула на плечи пальтишко. Она не садилась.

— На фронте благополучно, товарищ...

— Благополучно? — Он едко усмехнулся. — Я подозреваю, что ты говоришь с чужих слов. У Черноголового всегда и все благополучно!..

Почувяв неладное в его голосе, Кудрявцева насто-рожилась, и вдруг он встретил ее глаза, чуть-чуть насмешливые и, как показалось ему, ласковые той особой, снисходительной ласкою, с какою женщины пытаются успокоить своих близких, ими же взволнованных. Но это выражение блеснуло в ее глазах, как просвет первого, еще неизведанного чувства, и в следующий момент смущение, растерянность, почти испуг заметались в ее лице. Она подняла с пола портфель (стоял у ножки кресла) и принялась рыться

и была она излюбленной среди рабочих — в моменты новых дерзких затей, новых напряжений силы.

Когда отдыхал Михаил Иванович, и отдыхал ли вообще?

Он занимал крошечный номер в бывшей гостинице «Европа» (теперь советское общежитие). В номере он только спал и не всегда ел (ел где приходилось). Мартын жил в том же доме, этажем выше. Близко, а встреч у них почти не было: один возвращался поздно, другой еще позже.

Как-то, встревоженный слухами с фронта, заглянул Мартын к Черноголовому далеко за полночь. Но вместо хозяина застал в комнате Зину Кудрявцеву, секретаря губкома. Кудрявцева чинно сидела у стола в накинутах на плечи стареньком пальтишке и, кажется, готова была сидеть так до утра. Мартын знал мало Кудрявцеву, эту ближайшую помощницу Черноголосого по губкому, но на заседаниях не раз встречал на себе ее серые, в узком разрезе, глаза и ловил в них затаенный огонек стыдливого любопытства.

Поднявшись навстречу, Зина торопливо заговорила:

— Вот, пришла за подписью... Протокол экстренного заседания... Но, кажется, не дождусь!..

Мартын равнодушно, слишком равнодушно, взглянул на нее.

— Михаила Ивановича добыть трудно!

И по каким-то неясным для самого себя мотивам добавил с раздражением:

— Михаил Иванович вообще не отвечает за себя! Его может задержать любой!..

Это было не совсем справедливо по отношению к Михаилу Ивановичу, но разве Кудрявцева не могла сообразить сама, что ради протокола можно было не ловить в ночь-полночь председателя губкома.

Она с недоумением подняла глаза. Смутлая кожа на овальных, совсем овальных ее щеках загорелась. Кажется, она хотела что-то сказать в защиту Михаила Ивановича, но Мартын оборвал ее. Можно и без того не сомневаться, что эта молокососка глядит в рот Черноголовому!

— Михаил Иванович достаточно беспорядочен...— подтвердил он.—Я знаю его не один год...—И перевел разговор на другое.—Что нового на фронте? Мне не удалось видеть последней сводки.

Тонкими и красноватыми, как у подростка, пальцами Зина плотнее натянула на плечи пальтишко. Она не садилась.

— На фронте благополучно, товарищ...

— Благополучно?—Он едко усмехнулся.—Я подозреваю, что ты говоришь с чужих слов. У Черноголового всегда и все благополучно!..

Почувяв неладное в его голосе, Кудрявцева насторожилась, и вдруг он встретил ее глаза, чуть-чуть насмешливые и, как показалось ему, ласковые той особой, снисходительной ласкою, с какою женщины пытаются успокоить своих близких, ими же взволнованных. Но это выражение блеснуло в ее глазах, как просвет первого, еще неизведанного чувства, и в следующий момент смущение, растерянность, почти испуг заметались в ее лице. Она подняла с пола портфель (стоял у ножки кресла) и принялась рыться

в нем, низко склонившись. Теперь был виден лишь ее круглый лоб в радушно светящейся паутине мягких волос.

— Хочешь, Баймаков, сводку?..

Она говорила с ним на «ты», как со всеми товарищами. Он взял из ее рук аккуратно сложенный лист, развернул и внимательно принялся читать, а когда кончил и снова взглянул на нее, встретил спокойные глаза и умную, до неприятности умную усмешечку в тонких углах рта.

Неожиданно Мартын вспомнил Кудрявцеву в другой обстановке. В саду губкома обучались метать бомбы заводские ребята. Она была среди них. Стояла, ухарски выставив левую ногу и широко, по-женски, откинув в сторону руку с болванкою. Раз, два, три! Бросила, не дошвырнула и, угнувшись, зажав ладони в коленях, долго, дико и визгливо, до красноты нашее, хохотала. А потом дурачилась, толкала чужую, вооруженную болванкой руку, кидалась ребятам на спину и, подобрав юбку, прыгала через скамью, обнаруживая силу своих мускулов. Она была чересчур вольна, здорова и сильна, и это действовала на Мартына отталкивающе.

И теперь, как бы желая отомстить ей за, тогдашнее, оставленное ею неприятное впечатление, Мартын сказал:

— Конечно, ты так и не научилась метать бомбы?..

В этом вопросе не было никакой связи с разговором, но Зина не удивилась.

— Нет, я кое-чему научилась!

Он помолчал, отвернулся.

— А знаешь, я видел, как ты впервые бросала болванки... там, в саду, весною!..

— Да?

Он хотел смутить ее. Но она как бы вовсе забыла о своих неудачах. Она оставалась спокойною. И, не сдерживая себя, он проговорил:

— Не бабье это дело—бомбы метать!..

— Что такое?

Давешняя насмешливая ласка проступила в ее глазах.

— Баймаков! Неужели и ты за женщину, у печки?

— Не у печки, а у люльки!..

Это вырвалось у него камнем. Он и не хотел бы так сказать, но уже не владел собою: она положительно раздражала его.

— Вот так коммунист!—проговорила она и презрительно свистнула, но уши у нее вспыхнули.

Он не хотел оставаться в долгу.

— Коммунистическое общество не собирается покончить с продолжением человеческого рода....

Сказал и рассердился на себя: длинно, коряво. Поправился:

— Человечество утверждает себя в этом мире, оно не может отказаться от женщины-матери...

Она соображала недолго.

— Чем же, в таком случае, твое человечество выше любого животного?—Засмеялась.—А я до сих пор думала, что женщина вправе не только пополнять общество, но и устраивать его!..

Он не смог скрыть удовольствия по поводу быстроты и легкости, с какими она отвела удар.

— Товарищ Зина, сколько тебе лет?..

— Разве это имеет отношение к нашей дискуссии?..

Не скажу!..

— Нет, право!

— Но ты подымешь кампанию против секретаря губкома: во-первых, зачем она женщина и, во-вторых, зачем слишком молода!..

— Двадцать?—сделал он предположение.

— Девятнадцать с гаком... Но это пустяки! Через какой-нибудь десяток лет...

— Тебе стукнет все тридцать?

Засмеялись оба.

— В партии я с пятнадцати лет, Баймаков...— заметила она.—Еще в школе работала... Руководил нами один из старшеклассников технички, большевик... Теперь он в Москве! Об Алексее Рашине слышал?..

Нет, он не слышал о Рашине: мало ли людей на свете, да и чем, собственно, популярен Алексей Рашин?..

— Как? Но ведь он там, у Ильича!..

Мартын опять готов был прихмуриться. Что ж из того, что у Ильича? Работают люди не только у Ильича, но и здесь, под самым фронтом, и эти ему интереснее.

Зина замахала рукою, а была она у нее совсем ребячья, с царापинами на пальцах.

— Хорошо, бросим. Но мне пора!.. Михаила Иваныча и впрямь не дождешься...

Пасмурная, принялась в сторонке одеваться. Торопилась, как бы опасаясь, что кто-то мог вмешаться

со своей помощью. Он стоял, ждал и чувствовал себя неловко оттого, что она, будучи роста немаленького, все же вынуждена была глядеть на него снизу, вверх.

Застегнула проворно все пуговицы, все до единой, надвинула кепку на стриженую (пушистую, как ковыль) голову, сунула подмышку порфель, а калоши забыла. Он подхватил их, выбежал вслед.

— Эй, товарищ!—покричал, перегнувшись через перила.—На дворе дождь... Держи!..

— Спасибо!

И ловко поймала одну из калош на лету.

— Фокусница!..

Он шел к себе наверх в легком возбуждении, как после морозного вечера, проведенного на лыжах. Но в номере, с неубранною постелью и оборванными обоями, почувствовал скуку, а из-за скуки выглянуло лицо неведомого Алексея Рашина: оно было бритое, выхоленное, розовое и глуповатое, такое, каким не могло быть у Алексея Рашина, но иного лица Мартына не хотел и не мог представить себе у человека, о котором с несомненным восхищением говорила Зина Кудрявцева.

Мир стар. Люди приходят в него и уходят, но кровь их—как вино в погребах: время бежит, события меняются, а чувства, а навыки густеют и крепнут.

В ожидании командировки с продотрядом в уезд Мартын не принимался ни за что особо серьезное. Он выступал вечерами на летучих собраниях в мастерских (все то же: враг близко, надо быть начеку.

необходимы новые жертвы), а днем готовил в губ-
продкоме матерналы.

Раза два ему удалось выбраться за город,
в глубь, в тишину степей. Тут он в травах, под
августовским спелым солнцем, лежал, глядел в голу-
бое небо и слушал, как поет в теле древняя кер-
жацкая кровь. И тогда в голубой над ним яме просту-
пало кудлатое лицо рыбака: обомшелая глыба с жи-
гулевских скал. Крадучись, выползала мысль о том
смутном и волнующем, что слышал когда-то от сосе-
дей про мать, про ее любовь, про тайну чужой и
непонятной, выращенной в барской усадьбе женщины.
Крадучись, выползала мысль и, хмелея в своей дер-
зости, нашептывала жуткую и сладостную правду о
силе объятий, о мускулах, властных и порабошающих,
о древней крови, смешанной в нем, Мартыне, с му-
жою, ярою и дерзкою, пропитанной отчаянием.

Мартын почитал себя человеком образованным, его
голова хранила достаточный клад всяческих, боль-
ших и малых, выловленных из книг истин. Но за
этим миром, построенным в пору короткой, но
напряженной, сознательной жизни, был, несомненно,
другой мир, уходящий корнями в глубокое прошлое.
И в этом другом мире Мартын видел себя иным, без-
ликим, но неотвратным, как степь и небо над нею.
И в этом другом мире октавой пела свою песню старо-
бытная кровь, и непрерывный, пенящийся, безумный
звон вторил ей: так гудят по степи дикие ветры, и
плещут, звенят в тугом их гуле темные дурманы трав.

Революция продолжала свой путь. Коваными обо-
ями колес своих попирала она прошлое, рушила,

равняла с придорожною пылью храмы вчерашних правд. И новые, неслыханные слова срывались с уст, много молчавших: неслыханные слова о человеке, о жизни, о вселенной. И каждое слово, как семя цветения, сорванное бурей, летело и жадно никло к земле, и там, где земля принимала, начиналась борьба на жизнь и смерть...

Борьба за нового человека, за гармонию в нем сознания и чувства!

Борьба на годы.

А пока... Мартыну Баймакову не нравилось, что Зина Кудрявцева все дни и часы свои проводит в губо-
коме, и невозможно было рассчитывать не только на прогулку с нею в степи, но и на самый короткий разговор с глазу на глаз.

Между тем Мартыну так хотелось и этой прогулки, и этой беседы в уединении!

Пусть бы послушала, о чем поет в его жилах кровь древняя, рыбачья... Пусть бы отведала вольной степной хмели и помогла ему разгадать сказку о женщине, ставшей его матерью.

Дикие, несуразные желания, от которых в одиночку краснеешь! К счастью, никто о них не расскажет людям. Желания же нерассказанные—ветер в степи: велика степь, мгновенна и бесследна ветровая удаль.

И все же Мартыну удалось до отъезда повидать Зину Кудрявцеву.

Потом он выехал. Долог и труден был путь, полон опасности. По степям рыскали бандиты, в хуторах скрывались вражеские шпики, деревни походили на потревоженные волчьи логовища.

Не один раз смерть проходила совсем близко. Мартын слышал сторожкую ее поступь, ощущал в зное холодное ее дыхание, но всякий раз кто-то властный, в сермяге и онучах, спокойно расчесывая бороду, становился между ним и ею.

Смерть подстерегала в оврагах, в березняке, за околицами селений, на вызорьи полей. И она упорно следила за Мартыном в селениях, стоя за костистыми мужичьими спинами. Ненавидящий ее взор он встречал в глазах светлых и ясных, как день, и даже из бабьих уст, алых, как вишневый сок, слышал Мартын замороженный голос смерти.

Но появлялся в толпе безымянный друг, запускал кряжистые свои пальцы в сивую бороду, говорил со вздохом:

— Так худо и сяк худо!

И отступала смерть, и человеческой простотой наливались глаза, складывались уста в улыбку.

Что может быть надежнее улыбки: весь день, суровый, утыканный заботами, собиралась она по капле и вот—вспыхнула, осветила, заиграла надеждою!

Так худо и сяк худо, надо потерпеть!

Еще в городе, а затем в пути, не одну историю переслушал Мартын о жестоких расправах с продотрядчиками.

Было все: и ночные нападения (с топорами, с вилами), и предательские выстрелы за околицей (волчьими зарядами), и погребение заживо (голых зарывали в ямы по шее).

Про всякую всячину—одно страшнее другого—рассказывали Мартыну. Но никто не обмолвился о ве-

ковой деревенской мудрости, добытой под розгами, в тюрьмах, в гиблых сибирских ссылках. Никто не вспомнил об улыбке, светлой и прочной, напоминающей библейскую раду.

Был Мартын силен телом, его сердце безупречно работало, и еще ни разу, пока себя помнит, не думал он о смерти. И тут окруженный враждою, он также не думал о смерти серьезно. Все его большое, упрямо и буйно цветущее тело не могло даже отдаленно представить себя обреченным на прах. И потому не верил Мартын ни в топоры, ни в вилы, ни в волчьи заряды... Он знал, что Мартын Баймаков должен жить еще много, так много, что на его жизнь не хватит, пожалуй ни этой революции, ни этих битв на фронтах, ни, тем более, всех этих мужичьих топоров и вил.

Товарищи по отряду,—тринадцать их: семеро рабочих, пятеро фронтовиков и матрос-балтинец,—все тринадцать ворчали на Мартына за непоседливость, за прямоту с народом, за равнодушие к опасностям.

— Шею с тобой сломаешь!—говорили товарищи.

А он только краснел, отворачивался и краснел—с досады ли, с радости?.. Ведь так говорили о нем не какие-нибудь! Говорили ребята прожженные, обстрелянные, которым и пуля нипочем! А за их спинами виделись Мартыну те, далекие: и Черноголовый, и Синицын, губпродкомиссар, и Зина из губкома.

Нет, он не тщеславен! Подвигаться ночью в степи, не ведая, кто тебя встретит—друг или враг, и думать втихомолку, что сказал бы теперь о нем, Мартыне, Черноголовый... Или—стоять лицом к лицу с насуп-

ленной, как грозовая туча, толпой и... ожидать, что вот-вот из-за мишнстых голов выглянут так хорошо знакомые, серые, пушистые, как вербочное цветение, глаза... Право, упрекать во всем этом Мартына не следует

Хотелось написать в город. Рассказать о себе Михаилу Ивановичу, Синицыну, Зине. Но не решался: еще упрекнут в сентиментальности!

Надо прямо сказать—он скучал по своим друзьям. Скучал по городу. По всей той упрямой, осмысленной, рассчитанной из часа в час толкотне, которая там была и которой не было тут, в глуши, в глухомани.

Только однажды, на третьей неделе пути, пробираясь ночью в степях, услышал Мартын голос города. Где-то поблизости пролегал железный путь, и был слышен далекий рев паровоза.

После двух недель неумных деревенских шумов, непролазной какой-то бестолочи, отчаянной с нею борьбы и сознания, минутами, своей беспомощности—вдруг услышать могучий и мелодичный рев железа,—что может быть чудеснее?

Четырнадцать верховых, как по команде, натянули повод. Четырнадцать голов, насторожившись, влипли в густой мрак.

Весь в пламени, в шуме, в грохоте, величаво и неустрашимо подминая под себя оглохшие поля, мчался поезд. Подвозил ли он эшелон бойцов к фронту, спешил ли с ометами свежих, прямо из-под рук, еще горячих снарядов, или, выполняя чью-то неукротимую волю, нес на своих стальных крыльях по-

вые богатырские, еще не разрешенные здесь, в степи, загадки?.. Что бы ни таил в себе этот бешеный караван из железа и стали,—все они, все четырнадцать были его соучастниками, его слугами и повелителями!

Чувство благодарности, гордости, восторга охватило Мартына. И, как бы откликаясь ему, матрос-балтиец с диким хохотком, с упоением волка, учуявшего по ветру самку, выглотнул:

— Эх, разъять твою ять!..

А вскоре случилась новая радость: опять дохнул на них город, протянул им руку, заговорил голосом самого Михаила Иваныча.

На границе участка, третий месяц находившегося под белыми, в логах, под буераками, в деревушке из полутораста едоков, почти с физической ощущимостью пережил Мартын близость Черноголового: был Черноголовый за сто верст и был здесь.

Ватага мужиков, расположившихся на общественной завалинке, щупала по очереди непослушными пальцами полулист печатной бумаги. Бумага была читана и перечитана, и теперь люди брали ее наощупь, как бы удостовераясь в реальности ее.

А заключала бумага извещение губисполкома о распределении земельного инвентаря.

И тридцать плужков значилось в оповещении, тридцать плужков для Голосновской волости!..

А мужики были голосновскими.

Завтра переберутся они за вражью черту и расскажут там сватьям и кумовьям своим о плужках.

И тридцать плужков, желанных, но невозможных

здесь, под пятою врага, поведают о себе, о Михаиле Ивановиче, о городах, о Кремле и Ленине больше, чем триста лучших агитаторов!

И об этих плужках Голосновская волость сложит веселую и вместе с тем скорбную частушку, и, ухмыляясь в бороды, старики будут вздыхать много и долго по славным молодым бойцам, быть может уже сложившим за волю буйные свои головы.

Взял Мартын бумагу у крайнего на завалинке, пощупал, как тот, заглянул: да, Черноголовый!

И так же, как тогда ночью, в степи, слушая далекий рев паровоза, матрос-балтиец с диким горловым хохотком выкрикнул из-за спины Мартына:

— Эх, разъять твою ять... В самый срок бумага!..

В том-то все великолепие и заключалось, что это, подписанное Черноголовым три месяца назад оповещение попало сюда как раз к прибытию отряда. Будто еще три месяца назад Черноголовый знал, что Мартын со своими ребятами явится в Голосновскую волость, и позаботился расчистить путь.

IV

Случилось нелепое, бессмысленное, невероятное: город готовился к эвакуации. За городом, в десяти верстах, гудела артиллерия. По улицам тарахтели двуколки с ранеными. Проходили сумрачные, в повязках, в бинтах, изнуренные, как после тяжелой болезни, красноармейцы.

Еще когда Мартын приближался к городу, стали нарастать тревожные слухи: прорыв восточного сектора, какие-то конные полки белых, обрушившиеся

на тыл, какой-то во главе их генерал, идущий на Москву.

Сдав свой отряд, куда следовало, Баймаков бросился в исполком. В исполкоме, в залах, было пусто, глухо. За белыми колоннами, у пальмовых метелок, высился знакомый стол, похожий на гардероб, но за столом никого не было.

Из полуоткрытой в коридор двери врывался шум. Мартын заглянул: люди, все в военной форме, чужие. Армеец с винтовкою преградил путь у порога.

— Совещание штаба... Не велено!..

Мартын повернул в глубь коридора, к крайней двери: угловая комната, бывшая губернаторская приемная, с окнами на две стороны,—любимое место Черноголового. Не тут ли он сам?

— Можно?

Вошел.

Михаил Иванович стоял у стены, подле телефона, и кричал в трубку. У стола сидел Губарев, предгубпрофсовета, скуластый, лохматый. Тяжелыми невидящими глазами встретил он Мартына, ничего не сказал, кивнул головою.

И Жданов из коммунхоза, с лицом цвета лимонной корки, топтался подле Черноголового: ожидал, волновался, сгорал темным огнем.

— Нет, этот номер не пройдет!—сказал, кидая трубку, Михаил Иванович.—Попробуйте сами, лично!..

Губарев поднялся, стул под ним крякнул, Жданов боком, козырьком к виску, напяливал на голову серое кепи.

— Идем!



— Надо позвонить до автомобиля...

— К чорту! Провозимся...

И вышли оба торопливо, не глядя на Мартына. Один—долговязый и легкий, с темными, горящими изнутри глазами; другой—грузный, скуластый, в бурых лохмах, свисавших на лоб, на виски, на уши.

С порога, не оборачиваясь, Губарев крикнул:

— В ответе ты, Иваныч!

Черноголовый не откликнулся. Дверь захлопнулась.

— Проходи, Мартын...

Михаил Иваныч говорил обычным своим матовым голосом, но влажные глаза его под толстым стеклом не светились, как всегда, буйной зеленью, а вяло, недвижно и покорно, как травы, скошенные по осени, мутнели в глубоких впадинах.

— Давно прибыл?

— Три четверти часа назад...

— Благополучно?

— У меня—да!..

Встретив настороженный взгляд, Михаил Иваныч неопределенно свистнул.

— А у нас тут, как видишь, сверх-неблагополучно!..

Он подошел к мягкому дивану и, не владея собой, опустился на него. Мартын видел, как в ту же минуту все тело Черноголового распустилось в вязком томлении, и под стеклом очков померк, замер последний отблеск жизни.

— Иваныч, что же у нас случилось?..

За стеклом пошевелилось, глянуло и опустело снова.

— Случилась гадость, Мартын... Но ты прости меня, я третьи сутки без сна... А, что?..

Мартын молчал.

Голова Михаила Иваныча, как подтаявший снежный ком, склонилась на грудь, а грудь, прикрытая линючим ситцем, знакомым Мартыну еще по ссылке, вдруг поднялась, глубоко всхлипнула и замерла. Медовая ребячья истома разлилась на розовых щеках, губы отпали и взмокли, и в правом углу их вспыхнул крошечный пузырьрик.

Мартын на цыпочках прошел к окну (ему стало душно), распахнул обе створки и опять обернулся к Черноголовому. И вдруг, глядя на неподвижную фигуру Михаила Иваныча, почувствовал страх. Это колющее, тошнотное ощущение, прилившие к самому сердцу, продолжалось не более двух-трех секунд. Но и их было достаточно. Мартын опустился в кресло. Вязкий озноб пробежал у него по спине. Потом стало жарко; воздуха нехватало; ноги казались чужими, тяжелыми. «Кажется, у меня лихорадка,—подумал он.—Очень кстати!» В раскрытое окно глухо, но мощно, вздувая воздух, вливался пушечный гул. Точно кто-то огромный, подмятый тяжестью, густо вздыхал и отдувался.

— Ты здесь?..

Михаил Иваныч глядел со своего дивана на Мартына, прежний, невозмутимый, и в глазах его уже не было жухлых, осенних, изжеванных трав.

Он встал, потянулся, сдержал позевоту. На пунцовых его губах заиграла сторожкая улыбка.

— Мартын! Ты не болен?..

— Кажется, нет... Но что же у вас произошло, Иваныч?..

Черноголовый вздохнул.

— Мы просчитались, Мартын!—Он сказал это жалобно и стыдливо, тоном, какого еще ни разу Мартын не слышал.—Глупо, досадно... Все величины были в наших руках, но некоего икса мы не учли... Понимаешь—не досмотрели!..

— А икс оказался генералом с кавалерийским корпусом?..

— Нет, не то! Икс был у нас, под носом—в нашем нищем интендантстве, в наших пустых боевых складах... Мартын! Наши отряды разуты, раздеты, не имеют снарядов... У нас даже нет столько динамита, чтобы взорвать железнодорожный мост. Мы мост обстреливаем из артиллерии!.. Слышишь?..

— Так это... наша артиллерия?..

— Да! Банды перехватили под Касторным броневик и рвутся к вокзалам.

Мартын встал.

— С меня хватит, Иваныч... Что за люди в штабе?.. Я хочу предложить себя!..

— Поздно, Мартын! Штабу не до отдельных стрелков...—Он помолчал.—Вот Губарев только что просил ударить тревогу по всем заводам... Гудками! Но я отговорил!..

— Ты?

— Чему удивляешься? Какие силы можно было взять, взяты и находятся там, за городом, в песках! Концерт гудков, кроме новых и напрасных жертв, ничего нам не даст.

Мартын с недоверием взглянул на Михаила Ивановича.

— Как можно рассуждать так? Это же...

Он запнулся.

— А что сделал бы ты, Мартын?.. Впрочем, можешь не говорить... Знаю! Но, верь мне, ты оказался бы в проигрыше...

Мартын встретил ясные, с зеленоватым огоньком глаза.

— Да, ты проиграл бы... У тебя были бы ненужные жертвы... Кладу голову на отсечение: эта банда не в состоянии просидеть у нас более суток!

— Ого! Но за сутки она натворит столько бед...

— Этого мы ей не позволим!..

Мартын приподнял брови, выражая вновь удивление, но в эту минуту затрещал телефон.

Михаил Иванович взял трубку.

— Слушаю! Ты, Кудрявцева? Так, так... Очень хорошо, товарищ... Так, так... Отлично... С кем? М-м.. Сейчас решим... Ожидай на вокзале... Держи всех своих на чеку... Ладно... Пока!..

Услышав имя Зины, Мартын поднял глаза на аппарат. Он как бы ожидал увидеть где-то тут, близко, девушку. Но ни особого любопытства, ни, тем более, радости он не почувствовал, и удивился этому сам. Там, в степи, встреча с Кудрявцевой казалась ему целым событием, но сейчас имя ее, только что произнесенное, прозвучало в сознании как что-то полузабытое, далекое.

Михаил Иванович заторопился.

— Слушай, Мартын. На вокзале стоит эшелон с

эвакуируемыми. Женщины, дети, старики. С этим же составом отправляем наличие наших касс, все наши ценности... При ценностях—Туляков! Полная его ответственность... Но нужен комендант поезда. Охраны, кроме пары штыков, дать не можем, а путь... чреват всякими неожиданностями! Мы даже не знаем, удастся ли эшелону проскочить через станцию Боровики... Словом, я прошу тебя, Мартын, стать во главе поезда!..

Из глаз Мартына глянула пасмурь. Губы его перекосило. Краска залила ему щеки и лоб.

— Что ж!—произнес он сдержанно.—Я готов... Но мне кажется, что Баймаков заслужил более ответственной роли, чем эта... Комендант женского поезда!..

Михаил Иванович перебил торопливо:

— Оставь, пожалуйста! В минуты опасности всякая роль хороша... Кроме того, ты не недооцениваешь ответственности! Тут требуется чрезвычайная сметка, находчивость, мужественность... Может быть, поезд придется остановить в степи... Может быть, обстоятельства вынудят свернуть к Дону... Итак!?

— Ты знаешь, я не откажусь!

— И отлично!

Черноголовый подсел к столу, закрипел пером.

— А что будете делать вы?..—спросил негромко Мартын.

— Вероятно, также выедем, но сутками позже. Кое-кто, впрочем, останется... Со смиренными рубашками для гостей!..

Михаил Иванович дымчато улыбнулся. Мартын умоляюще поднял на него глаза.

— Иваныч! Я бы тоже остался...

— Верю, но ты не останешься!

Мартын хорошо знал Черноголового. Спорить с ним было бесполезно.

— Пока, Иваныч!

— Пospешай! Вот тебе мандат... Подробные инструкции у Кудрявцевой на вокзале.

— Слушаю.

Уже взявшись за ручку двери, Мартын оглянулся и увидел чье-то обрюзгшее, вялогубое, с полузакрытыми глазами лицо. Это не было лицо Черноголового. Это было бесконечно измученное лицо старика.

Он открыл дверь. Из коридора навстречу шел человек в военном.

— Черноголовый здесь?

— Здесь.

Мартын отступил. Около самого его лица проплыла изжеванная папироса, бездымная, давно остывшая. И глянули (небрежно, вкось) огромные бархатные глаза. Мартын поморщился. Он узнал Клепикова из совнархоза. Он не любил этого товарища за надменность, за постоянное какое-то любованье собою. И почему человек этот в военной форме?..

В коридоре, как и прежде, было пусто. Под белым потолком что-то невидимое с грохотом падало, но у двери в комнату штаба недвижно и спокойно стоял часовой с винтовкой.

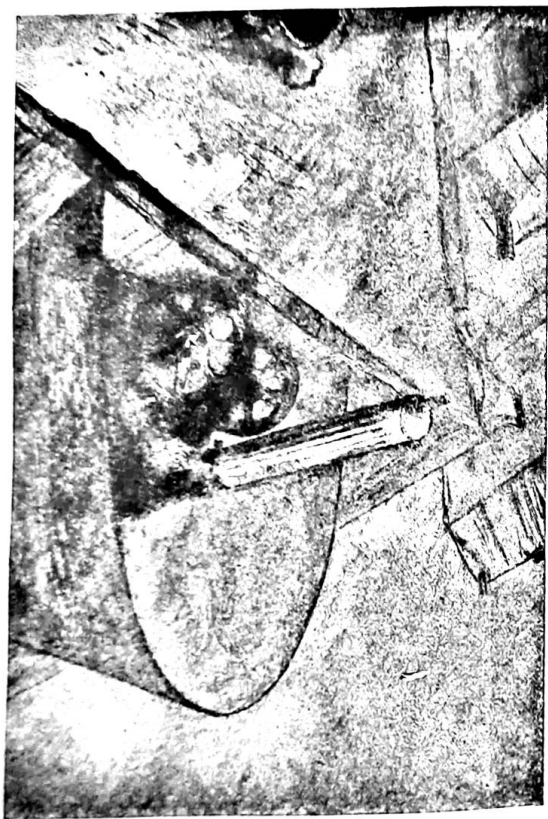
«Зачем они держат этот штык при себе, когда он так нужен за городом?»

Эта мысль метнулась в сознании Мартына, как соломинка, вырванная из омета ветром: поднялась, описала дугу и пала. Мартын поймал себя: похоже, что он не доверял штабу, хотя и не имел к тому оснований. Правда, этот Клепиков... Но ведь Клепиков мог постигнуть военное искусство в старой армии. И притом Михаил Иванович всегда считался с ним, как с очень дельным человеком. Нет, он, Мартын, явно несправедлив к товарищам, и в этом ничего нет путного... Впрочем, не было справедливости и у них к Мартыну. Разве, в самом деле, Мартын—последняя спица в колеснице, чтобы встречать его сторожевым штыком у порога: «не велено пущать»? А сам Черноголовый! Не считал ли он Мартына все еще за подростка?.. Ой, нет хуже работы с людьми, знающими тебя, что называется, с пеленок!

На улице светило солнце. Горячие его лучи коснулись лица и рук Мартына, и опять он ощутил озноб и опять подумал с тревогой: неужели подхватил лихорадку? Но надо было спешить. Поровнявшись с пыльным, пожелтевшим от зноя сквером, он остановился в раздумьи:

«Этак, пожалуй, и через час не попасть к месту!»

Вокруг было солнечно, пустынно, немо. Только глубокие вздохи пушки там, за городом, тугими волнами прокатывались среди домов, и всякий раз окна в домах на мгновение и беззвучно запахивали свой вытарашенный зрак. Солнце светило покойно и ровно, и в этом спокойствии была невозмутимая радость земли, теперь ненужная и оттого жестокая.



Ломовой извозчик вывернулся из-за угла. Его жилистые руки, вцепившиеся в вожжи, казались слепыми: вожжи бестолково трепались то в одну, то в другую сторону, и взмыленный жеребец, оскалив зубы, топтался на месте.

— В вокзалу... Нажимай!—крикнул Мартын, вскакивая на грядущку.

Неожиданный крик этот возвратил жилистым рукам разум. Извозчик еще соображал про себя, как быть, но его руки сами собою колыхнули вожжи, хлесткий шлепок по крупу заставил жеребца рвануться вперед, телега с грохотом двинулась.

На кровле большого каменного дома (бывший окружной суд) Мартын увидел людей. Похожие снизу на карликов, они осторожно пробирались от трубы к трубе и что-то там устранивали. У крайнего карниза, из темной дыры слухового окна, высовывался пулемет.

Извозчик также заметил людей на кровле. Он поглядел, сплюнул и вдруг натянул вожжи.

— Слезай... ты!—закричал он, обдав Мартына мутным взглядом ненависти и страха.

— Ну, ну!...—огрызнулся Мартын.

— Слезай, тебе говорят! Ишь, фря какая, рас...

Он не успел закончить. Мартын круго повернулся к нему и взмахнул руками.

— Прохладись!..

Сброшенный на мостовую, извозчик остолбенело глядел вслед удаляющейся телеге. Затем он молча сорвался с места. Бежал набычившись, терпеливо и емко, на бегу подвизывал у живого полы армяка.

Это был высокий, широкоплечий детина с непомерно маленькой головою.

В бегу он напомнил верблюда.

На вокзале было безлюдно. Армеец, вооруженный винтовкою (держал ее на ремне за спиной), с лениво-мрачным видом вышагивал по перрону. Пожилой, тучный кондуктор, рыжеусый, с тугим багровым загривком, выкатился из двери комендантской и, путаясь в полах шинели, направился в сторону путей. Мартын крикнул вслед, но кондуктор даже не обернулся, и это задело Мартына. Перед его глазами снова всплыли—человек со штыком там, у порога штаба, чужие и холодные лица самих штабников, невидящие глаза предгубпрофсовета.

На путях рядом громоздились товарные вагоны. Где-то, среди серого потока вагонных крыш, с гулом подвигался паровоз. Другой, высунув из-за брезентового омета черную, как бы осмоленную, трубу, нетерпеливо отфыркивал в мутное, знойное небо клубы дыма.

Где же эшелон с эвакуируемыми, и почему, нет Кудрявцевой?

Армеец с винтовкой поровнялся с Мартыном. Мартын раскрыл было рот, но сдержался. А вдруг и от этого человека услышит он бесцеремонный возглас, вроде: «Не знаю, проходи!»

Чувствуя странную сиротливость, Мартын направился в комендантскую. В сумрачной комнате с огромным, но слепым от пыли окном было шумно и дымно. С первого же взгляда на людей Мартын понял, что собрались мастера: темные, засаленные

распашонки, сажа и масло на потных лицах, широкие вольные жесты и какой-то особенный, крепкий, как лязг буферных цепей, говор. И еще понял, вернее, почувствовал Мартын, что тут он может занять любое за столом место, говорить, кричать и вообще делать все, что подскажет ему сердце. Он снял кепку, встряхнул пшеничными своими кудлами и спросил у стоявшего ближе к нему рабочего—не видал ли тот Кудрявцеву из губкома, губкомовского секретаря. Рабочий, нетерпеливо слушавший кого-то за столом, ответил не сразу. Он зычно прокричал свое, жаркое, торопливое, и потом уже повернулся к Мартыну:

— Какую тебе Кудрявцеву? Видишь, заседаем!..

И тотчас же, напружив жилы на темной матерой шее, двинулся к столу.

— Молодец Сухоруков... Правильно!..

И только теперь Мартын увидел за столом новенькую кожаную фуражку Сухорукова.

Сухоруков Илья Ильич был комендантом станции. Всего лишь полгода назад он покинул станок, но и за этот срок имя его успело стать самым желанным не только на станции, но и далеко за ее пределами.

Илья Ильич стоял, отмахнув на затылок фуражку, выпятив из распахнутой кожаной тужурки грудь, и шлепал ладонью о стол: к порядку!

Постепенно, подбирая в себя крики и смех, комендантская немела.

Илья Ильич молча, вразвалку направился к телефонному аппарату, и глаза всех следили за ним.

— Станция? Давай губком... Губком? Давай самого!..

Илья Ильич, не отрывая от уха трубки, взглянул на товарищей и даже подмигнул кому-то: послушаем, мол, как там запоют.

Вдруг его широкое, начисто выбритое лицо подтянулось, напряглось. Он переступил с ноги на ногу и, приставив к трубке ладонь ковшиком, закричал:

— Здорово, Иваныч! Это я—Сухоруков! У нас экстренное заседание делегатов по делу... Единодушно принято решение... Ну да, об том об самом!.. Чаво? Лично? Где там, к чертям лично!..

Илья Ильич оторвался от трубки.

— Личный доклад требует, ребята!.. Опасается, не подслушали бы...

Комендантская вспыхнула возгласами:

— Заливает!..

— Кому слушать!..

— Свои крутом!..

— Валяй, Сухоруков!

Комендант стукнул каблуком о каблук по-военному: «есть» и снова во все легкие закричал в трубку:

— Некогда докладывать, Иваныч! Слушай по трубке... Дело проще пареной репы: раз, два и капут! Десяток вагонов с балластом, паровоз сзади на полном ходу и... валяй в самое пекло! Чаво?.. Любой броневик под насыпь спустим... Чаво?..

Сухоруков смолк, слушал, скорчив хмуро лицо. Вокруг нетерпеливо придвинулись к телефону. Дышали тяжело и хлипко, со свистом, как одно большое тело насторожившегося, готового к прыжку зверя. Сухоруков отвел трубку, прикрыл рожок своею ладонью.

— Он говорит,—не годится! Те-с... Надо, говорит, всю такую операцию ночью, а до ночи, говорит, мототы не хватит... Как же теперь?..

Рабочие молчали. Илья Ильич махнул рукою.

— Аллю...—поднял он снова трубку.—Ужели нельзя продержаться до ночи?.. Да что ты говоришь? Ах, так их этак... М-м... Чаво? Шрапнелью?!

Он покинул аппарат и поднял, прислушиваясь, голу.

— Ребята! Никак и впрямь шрапнелью жарят?..

Люди шарахнулись к двери. Над перроном стояло гремучее эхо. По перрону все так же лениво и равномерно расхаживал армеец с винтовкою.

— Так и есть!—крикнул Сухоруков.—Значит, «он», дьявол, через мост перебрался... Куда?—внезапно взвыл он в сторону рабочих, бросившихся по панелям врассыпную.—Забыли, где вы, матери вашей... Айда к депу!..

И в эту минуту Мартын увидел Кудрявцеву. Она бежала от вагонов через рельсы, что-то кричала, взмахивая рукою. На ней была короткая коричневая юбка, как у гимназистки, и кожаная тужурка по колена, и эта юбка делала ее похожей на подростка. Увидел Зину и Сухоруков. Он стукнул себя ладонью в лоб и разразился ругательствами.

— Сидоров!—заревел он.—Сидоров... будь ты проклят... Давай сигнал номер пятому!..

Зина взобралась на перрон. Смуглое лицо ее пылало, тонкие ноздри вздрагивали, будто принюхивались.

— Мартын!—кинулась она, порывисто дыша, к

Баймакову.—Что же ты? Мы сидим тут больше часа...
У нас женщины, дети!..

Мартын поморщился.

— Не вопи, пожалуйста... И... здравствуй!..

— Нельзя же держать эшелон в таком положении!..

— Слышу!.. Где поезд?..

— Идем!..

Она потянула его за полу, тужурки.

— Идем скорее!

Голос у нее был сипучий. Не оглядываясь, она побежала. Мартын в два прыжка нагнал ее.

— У вас там все готово?

— Эшелон на пятом пути. Все готово! Ну, как твоя поездка?..

— Э, чего там... Полный успех!

Они пробирались среди вагонов, порою вскакивая на площадки и перемахивая через них, а сверху, над самыми, казалось, головами, с гулким треском разрывалась шрапнель и звон от нее катился по рядам вагонов, как по заброшенным пустым залам. Зина то и дело останавливалась, приседала и возбужденно смеялась.

— Ты бледен, Мартын!—крикнула она на одном из поворотов.—Что с тобою?..

— Меня лихорадит. Простыл в дороге!

Она подхватила на бегу его руку, пожала, при-
ткнула к своей щеке.

— Рука, как огонь... В поезде есть аптечка, Мар-
тын!..

— Она мне не понадобится, Зина!..

Теперь она бежала и все поглядывала на него, и

уже не приседала и не смеялась под грохот разрывавшейся шрапнели.

Перебравшись через площадку крайнего вагона, они оказались подле самого паровоза. Паровоз пыхтел, кашлял, дрожал.

— Слушай, Мартын! Маршрут: Боровики—Ясеньки—Липки... Путь пока свободен... Думаю, что в наставлениях ты не нуждаешься?

Она заглянула ему в лицо смеющимися, в узком разрезе, глазами и прихмурилась.

— Фу, какой ты! Гляди, не свались в дороге...

В этой ее заботливости что-то начинало раздражать Мартына. Он отвел ее руку, снова коснувшуюся его руки, и направился к вагонам. Она следовала за ним. Первый от паровоза вагон оказался новеньким, пассажирским, за ним тянулись товарные. Из товарных выглядывали перепуганные лица женщин, слышался детский плач. Подросток бежал вдоль вагонов, и ему вслед неслись женские крики: «Пашенька, убьет! Пашенька, Пашенька!» С площадки пассажирского Мартына окликнул глухой голос:

— Баймаков, лезь! Трогаем...

Мартын поднял голову и увидел Тулякова. Туляков стоял, свесившись с площадки; в глазах его было бело, водянисто.

— Ну, прощай!..

Зина взяла руку Мартына. Он торопко взглянул на девушку.

— Как! Разве ты не с нами?..

— Он еще спрашивает! Мое ли место среди матерей и чад?..

Мартын смеялся. Ее ответ, снисходительный и насмешливый, уколол его.

— М-да... А я вот еду!— произнес он с нескрываемой горечью.

— О, это статья иная! Ты ведь единственный оплот здесь...

Но ее слова не согнали с его лица тени. Он рассеянно держал ее руку в своей. Вдруг она потянула его в сторону, к паровозу.

— Мартын!..

На скулах у нее проступили белые пятна.

— Мартын... Может быть, мы уже не увидимся... Прощай, Мартын!..

Он уловил, как она, дрогнув, стремительно подалась к нему, но не понял ее желания.

— Будь здорова, Зина! Как жаль, что нам не удалось поговорить... Я так долго не видел тебя!..

Она молча отступила и выпустила его руку. Он не двигался.

— Садись!—кинула она.—Сейчас поезд тронется..

Он ступил на подножку вагона.

— Береги свою кладь!—крикнула она и неожиданно залилась смехом.—Не раструси дорогой!..

— Постараюсь! Уходи, Зина... Тут небезопасно!..

Взрывы шрапнели становились непрерывными. Все небо, как стеклянный полог, ломалось на части, и осколки с глухим звоном осыпали пути. В соседнем вагоне кто-то, кого Мартын не видел, тянул тоненьким протяжным воем: «Пашенька—Пашенька—Пашенька!» С вокзала, как со дна глубокого колодца, донеслись удары колокола: три! Паровоз взревел, Мартын вздро-

гул (так странным был этот крик паровоза в звуках шрапнели), вагоны тронулись.

— Беги, пожалуйста! — закричал Мартын в сторону Зины.

Но она не трогалась с места до тех пор, пока мимо нее не проплыли первые вагоны.

Высунувшись с площадки, Мартын видел затем, как она побежала к вокзалу. И только тут ощутил волнение, точно навсегда прощался с девушкой. Постояв с минуту в проходе, он с силою отдернул дверь и тут встретился с глазами Тулякова, бесцветными и холодными, как северное небо.

V

Выбравшись из-за вагонов, Зина перебежала платформу, миновала желтый, исклеванный зноем станционный сквер и огляделась.

За сквером она оставила мотоциклетку. Мотоциклетка стояла на месте. Шофера не было.

— Ивлев! — закричала она и увидела своего шофера. Он прижался к стене в каменной нише амбара. Глазами, крылатыми от страха, озирался по сторонам.

Это был молодой грудастый парень с бритыми, розовыми, как бы надутыми изнутри щеками.

— Ивлев! Живо!

Крадучись, угнувши в плечи голову, Ивлев отделился от стены, но, сделав несколько шагов, бросился обратно: над сквером с сухим кашлем разорвалась шрапнель.

Зина расхохоталась.

Шофер злобно взглянул на нее, поежился, потоп-

тался на месте и, решившись, перебежал от стены к своей машине. Руки его прыгали, но все же ему удалось завести мотоциклетку. Зина вскочила в люльку. Шум машины на минуту приглушил глухое эхо снарядов. Люлька рванулась вперед, как большая быстрокрылая птица, собирающаяся подняться в воздух.

Скорость была предельная, мостовая метелицей вилась по обе стороны; дома, ворота, тополя у ворот, шатаясь, проскакивали мимо; воздух с упругим свистом бил в лицо.

Зина вспомнила, какой это жуткий и торжественный день в ее жизни! Сердце замерло, напряглось и с силой вытолкнуло к голове алую хмель. Она дико, пронзительно закричала:

— Мартын! Мартын! Мартын!..

Захлебываясь в воздушной буре и приподнимаясь на сиденье, как бы готовясь выпорхнуть из люльки, она выкрикивала это единственное слово, и шофер, вцепившись в ручки руля, бросал в жаркое ее лицо свои потемневшие от ужаса глаза.

Мотоциклетка летела, моментами отделяясь от булыжника, и все вокруг прыгало, шаталось, присвистывало сквозной, почти снежный воздух, и солнце, рыжее, похожее на огромного степного паука, перебирало в тревоге огненные свои лапы.

Да, отныне Зина Кудрявцева знает, что такое борьба, революция, коммунизм! Ведь это так же просто, как то, что она, Зина, не боится смерти, жаждет борьбы и готова на все самое героическое... Никто не скажет, что она до сих пор мало работала для победы! Но она сделает еще больше. Она не будет спать

все ночи, она отмахнется от всего на свете ради работы, и она уже теперь, сейчас, сию минуту, готова умереть за дело революции.

Жгучие видения, овеванные необычайной музыкой крови, вставали из глубин ее сердца. Вот она перед толпою вооруженных рабочих, с ее уст срываюся незабываемые прекрасные слова, и тысячи голосов вторят ей. Вот она, изнемогая от жажды и голода, идет в боевой цепи товарищей, идет по степи, по холмам, в перелесках... Вот она впереди всех выбегает на поляну, кричит: «Да здравствует пролетариат!»—и... падает, пораженная пулей. Но нет, это не смерть! У ее постели дежурят товарищи, ее ночи—ночи в муках, в бреду сторожат милые, родные товарищи... Первый, после долгого недуга, проблеск сознания... Она поднимает тяжелые веки и видит над собою в рыжей чаще чужих ресниц восторг, преданность: Мартын! Он долго молчит. Ему ли говорить о личном счастье, о какой-то любви, о долгом совместном веке? «Ты молодец!»—говорит он, и его голос звучит, как гимн... «Я готова на все!»—шепчет она в ответ.—Я готова умереть... Мое сердце никогда не замрет от страха за свое крошечное счастье!..»

Мотоциклетка неслась, прыгала, и прыгали, отступали по сторонам белые оглохшие дома. Там, за камнем, за железными жалюзиами, прячутся перепуганные на-смерть люди, те самые, что, как мыши, сыты жалкими крохами жизни и не знают иной радости, кроме радости пищеварения и ползучей любви... Возможно ли их пробуждение, и кто пробудит их, если гул пушек вызывает в них только страх? Завтра, если

над зданием исполкома уже не будет развеяться красное знамя завтра, обманутые молчанием улиц, люди эти выползут из своих щелей, будут улыбаться солнцу и своим спасителям... Завтра! Но за этой чертой, за этими двадцатью четырьмя часами, в грозе, в буре, следуют тысячи, миллионы часов, и все они принадлежат людям иным, жизни иной: бесстрашным—бесстрашной жизни.

— Стоп!..

Шофер соскочил первый и, не оглядываясь, побежал к каменному подъезду, а она, сдерживая каж-дое свое движение, встала в люльке, оглянувшись, выпрыгнула. И, отойдя несколько шагов, увидела: что-то вихрем обрушилось на мотоциклетку, пере-вернула ее, бросило каретку в одну сторону, а ко-лесо с рулем—в другую.

Дрожа от счастья, Зина входила в вестибюль.

В этот самый час Мартын сидел в вагоне и тя-нул из шербатой чашки горячую жижую. По левую его руку—дверь к решетке; у двери, на лавке, развалились двое в рубахах цвета хаки.

Туляков пристально всматривался в лицо Мартына, так бесцеремонно пристально, будто перед ним на-ходился не живой человек, а зеркало, в которое он разглядывал себя.

— Едем к чорту на кулички да еще баб тащим!—проговорил он глухим голосом и перевел глаза на руки Мартына.

Мартын промолчал. Он с наслаждением глотал го-рячую жижую, глуша, заливая томительный озноб в теле.

Туляков встал от стола.

Был он сутул, летнее пальто на нем, туго перехваченное ремнем у пояса, топорщилось на широких костистых бедрах пышными складками. «Точно бабыня в кринолине»,—подумал Мартын и косо улыбнулся.

За окном проплывали бурные зыбучие под вечерним солнцем степи. Мартын хотел встать, чтобы заглянуть в окно, но почувствовал, что сделать это ему так же трудно, как взобраться на высокое дерево. В то же время колючий озноб охватил его спину и грудь, и в голове поднялись шумы.

— Нездоровится!—произнес он вслух.—Кажется, я подхватил лихоманку...

Туляков покосился на него, промычал что-то.

Мартын добрался к своей скамье, лег и накрылся с головой пальто. Едва он протянул ноги, как все большое его тело задрожало в жгучем ознобе. Прикусив нижнюю губу, он весь напрягся, как бы справляясь с внезапно навалившеюся на него тяжестью. Все это было так неожиданно и так нелепо, что, сбросив с себя пальто, Мартын злобно расхохотался.

— Надо бы остановить поезд!—поворачиваясь от окна, крикнул Туляков.

— Зачем?—икотным от дрожи голосом отозвался Мартын.

— Надо бы!—повторил Туляков, торопливо открывая окно.

Мартын собрал силы, шатающимся шагом дошел к окну и, навалившись на спину Тулякова, высунулся наружу.

над зданием исполкома уже не будет развеваться красное знамя завтра, обманутые молчанием улиц, люди эти выползут из своих щелей, будут улыбаться солнцу и своим спасителям... Завтра! Но за этой чертой, за этими двадцатью четырьмя часами, в грозе, в буре, следуют тысячи, миллионы часов, и все они принадлежат людям иным, жизни иной: бесстрашным—бесстрашной жизни.

— Стоп!..

Шофер соскочил первый и, не оглядываясь, побежал к каменному подъезду, а она, сдерживая каждое свое движение, встала в люльке, оглянувшись, выпрыгнула. И, отойдя несколько шагов, увидела: что-то вихрем обрушилось на мотоциклетку, перевернуло ее, бросило каретку в одну сторону, а колесо с рулем—в другую.

Дрожа от счастья, Зина входила в вестибюль.

В этот самый час Мартын сидел в вагоне и тянул из шерботой чашки горячую жижу. По левую его руку—дверь к решетке; у двери, на лавке, развалились двое в рубахах цвета хаки.

Туляков пристально всматривался в лицо Мартына, так бесцеремонно пристально, будто перед ним находился не живой человек, а зеркало, в которое он разглядывал себя.

— Едем к чорту на кулички да еще баб тащим!—проговорил он глухим голосом и перевел глаза на руки Мартына.

Мартын промолчал. Он с наслаждением глотал горячую жижу, глуша, заливая томительный озноб в теле.

Туляков встал от стола.

Был он сутул, летнее пальто на нем, туго перехваченное ремнем у пояса, торпшилось на широких костистых бедрах пышными складками. «Точно барыня в кринолине»,—подумал Мартын и косо улыбнулся.

За окном проплывали бурные зыбучие под вечерним солнцем степи. Мартын хотел встать, чтобы взглянуть в окно, но почувствовал, что сделать это ему так же трудно, как взобраться на высокое дерево. В то же время колючий озноб охватил его спину и грудь, и в голове поднялись шумы.

— Нездоровится!—произнес он вслух.—Кажется, я подхватил лихоманку...

Туляков покосился на него, промычал что-то.

Мартын добрался к своей скамье, лег и накрылся с головой пальто. Едва он протянул ноги, как все большое его тело задрожало в жгучем ознобе. Прикусив нижнюю губу, он весь напрягся, как бы справляясь с внезапно навалившейся на него тяжестью. Все это было так неожиданно и так нелепо, что, сбросив с себя пальто, Мартын злобно расхохотался.

— Надо бы остановить поезд!—поворачиваясь от окна, крикнул Туляков.

— Зачем?—икотным от дрожи голосом отозвался Мартын.

— Надо бы!—повторил Туляков, торопливо открывая окно.

Мартын собрал силы, шатающимся шагом дошел к окну и, навалившись на спину Тулякова, высунулся наружу.

Ветер ударил в глаза. Сморгнув слезу, Мартын увидел впереди, на повороте, кучу людей: они возникли на самом полотно, как воронье на пашне. Паровоз заревел отрывисто, гулко. Люди шарахнулись с насыпи в сторону. Кони, стоявшие под насыпью, взнялись на дыбы, и кто-то около коней, юный и бравый, в фуражке с алым околышем, сдернул из-за плеч винтовку.

Они поймали друг друга одновременно: Мартын — в раскрытом окне вагона, и человек — под насыпью. Туляков рванулся из-под груди Мартына, сполз к полу; Мартын, не двигаясь, глядел встречу винтовке, направленной в него: винтовка приближалась с бешеною быстротой вместе с человеком, в нее вцепившимся. Внезапно по всему телу Мартына разлился благостный покой. Выстрел звоном ударил в стену вагона.

— Промазал!... — захмелевшим голосом проговорил Мартын, отходя от окна. — Я, можно сказать, таежный человек; а на лету ни одного лешего не подстрелил...

И он изумленно засмеялся, чувствуя, как все в нем ликует: не было озноба, не было этой проклятой дрожи, выворачивающей внутренности.

Туляков с злобным, раскосым испугом следил за ним снизу, из-под окна. Поднявшись на колени, сказал:

— Ты, Баймаков, мальчишка!

Он прошел к столу, сел и некоторое время молчал. В белесых его глазах, как огоньки в степном сухостое, вспыхивали затаенные колючие мысли, и

руки, туго сцепленные, дрожали. Наконец он снова заговорил:

— Я попросил бы тебя, Баймаков, дурака не валять! На каждом из нас лежит ответственность перед партией... Не думаешь ли ты, что находишься в цирке?

Мартын влюбленными глазами следил за ним.

— Кончил?—пропел он басовито.—Скажи, пожалуйста, какая муха хватила тебя?..

Туляков махнул рукой, встал и пошел к окну. Постояв, обернулся к Мартыну.

— Дело, конечно, твое!—произнес он негромко, но все еще с раздражением.—Я хотел бы только... указать тебе, что на моей ответственности лежит казна, а на твоей—весь поезд с людьми!..

— С удовольствием поменялся бы!—отозвался Мартын.—Хочешь?..

Туляков побелел и закрыл глаза: так бывает с людьми в моменты глубочайшей сердечной нежности или нестерпимого гнева.

— Я с тобой не желаю...

От волнения он проглотил конец фразы. Мускулы в сером его лице подергивались, как у животного, преследуемого мошкаррой. А на костистых бедрах пышными складками лежало новенькое, нарядное пальто. Мартын отвернулся, ему стало скучно, и тут же вновь почувствовал он озноб в позвонках.

— Туляков!—позвал он тихо.—Ты не сердись... Сделай милость! Давай-ка лучше обсудим, как быть... Кажется, станция недалеко?..

— Кажется!—процедил Туляков сквозь зубы.

— А на станции нас могут встретить белые...
Туляков отмахнулся.

— Если бы белые захватили станцию, им не за-
чем было бы пытаться разобрать здесь рельсы...

— Пожалуй!..

Они больше не проронили ни слова.

Поезд пожирал степные пустоты, и его грохот железными клубами катился в степной зной, в марево, в дымчатую глухоту перелесков.

Двое в рубашках стояли у двери, курили и переговаривались вполголоса. Оба были очень молоды, на безусых их лицах светилась бездумная простота, и слова их были просты, пахучи и круглы, как яблоко.

Мартын сидел прислонясь к стене, с полузакрытыми глазами, и чувствовал, что моментами его сознание проваливается в иной, нездешний мир.

— Эх ты, человечек!—услышал он над собою глухой голос и, приподняв липкие ресницы, увидел белесые глаза Тулякова.

— Ну, что еще?—произнес он нехотя.

— Выпей-ка вот...

Мартын с трудом приподнял голову, необыкновенно большую и грузную, покорно занес над ртом бумажку, стряхнул, отхлебнул из чашки и судорожно вздрогнул.

— Фу... Хинин, что ли?..—проговорил он, укладываясь на скамье.

Туляков не откликнулся. Его лицо колыхнулось и поплыло в сторону, к окну, навстречу мутно-зеленым кругам.

— Нет, нам без моря нельзя!—резко, точно над

самым ухом, прозвучал от двери голос красноармейца. Мартын поднял руку, как бы защищаясь, и ощутил на пальцах прохладное касание чужой ладони.

«Товарищ Зина, ты? Нельзя ли без бабьей нежности?»

Эти слова он произнес беззвучно, но Зина Кудрявцева его услышала.

«Нет, Мартын, без нежности нам нельзя!»

«А без моря можно?»—беззвучно спросил он.

«И без моря нельзя!»—отвечал за Зину Черноголовый, поблескивая из-под очков зелено.

— Вот так штука!—сказал вслух Мартын.

Туляков услышал его.

— Станция!—проговорил он откуда-то издаля.

Мартын поднял тяжелые набухшие веки и в сыром, сумрачном тумане, прямо над собою, поймал чьи-то глаза.

— Мне... встать?—произнес он, но огромные и холодные, чужие глаза глянули на него с презрением.

«Нет, ты полежи... Тебя пускать не велено!..»

— А я все же встану,—прошептал Мартын.

«А я не пущу!»—отвечал голос.—Здесь заседание штаба»...

Тогда, помолчав, с горечью в сердце, Мартын отвернулся к стене. Но стены не было. Была серая сукошная спина, перегретая солнцем. «Отодвинься, пожалуйста!»—попросил Мартын.—«Сам отодвинься!»—отвечала спина.—Здесь заседание штаба!»—«Плевать мне на штаб!»—безгласно закричал Мартын.—Я—Мартын Баймаков!»—«А я—Губарев, предгубпрофсовета, и ты не смеешь...»—«Смею!»—«Не смеешь!»

Кто-то качал Мартына за плечи, он отбивался. Взмешенный, с хрипом в горле, приподнялся на локте и увидел Тулякова, а за (Туляковым—скачущее в сумеречии окно.

— Станция?—спросил он, опуская со скамьи ноги (ноги казались чужими, бескостными).

— Проехали!—вдохнул Туляков и сел на скамью рядом.—Пусть свободен, но город... занят, Мартын!..

Мартын тупо уставился на него.

— Не... не может быть...—проговорил он смятым голосом. Туляков промолчал. Мартын поднялся и, вытянув перед собой руки, направился к окну. Окно было раскрыто. Мартын незряче просунул наружу голову и захлебнулся в упругом, жилистом потоке. Отдышавшись, навалился грудью на подрамье; все его истомленное жаром тело тянулось в свежую сумрачную пустоту. Над степями догорал смуглый, алый воздух; ночь мощным разливом надвигалась с севера; над дальними почерневшими топами, в туманах, поднималась рыжая луна.

Окутанный музыкальным гулом, с терпеливой последовательностью (день и ночь, день и ночь) летел поезд, и оттого, что впереди и позади его была все та же неоглядная мгlistая степь, казалось моментами, что весь этот гулкий мчавшийся вперед караван давно отделился от земли и висит над бездною.

— Туляков!—позвал Мартын, оборачиваясь от окна.—Если город взяли сегодня, то из него... никто не ушел! Никто, кроме нас...

Туляков недвижно сидел на скамье. Его бельмастые северные глаза целились в потолок.

— Туляков! — продолжал Мартын, пошатываясь на ногах. — Революция истекает кровью, а эти... эти женщины прячутся в наших вагонах... Кому они нужны?.. Глаза Тулякова дрогнули.

— Ты бредишь, Мартын!..

— Нет, зачем же! Стань, пожалуйста, к окну, загляни назад, на эти коробки... О-о... Куда мы тащим их?.. В какой край? Кто поджидает нас?..

Он пробрался к своей скамье, лег, и неожиданный смех, разрываемый икотой, забурлил в его глотке. Туляков резко подался к нему.

— Успокойся, пожалуйста... чорт тебя!..

— Я покоен, Туляков! — захлебывался Мартын. — Я гораздо покойней тебя! Я даже рад без памяти... У меня в товарных — бесценная кладь... Выйдем на рынок Востока и Запада... Будем расценивать на вес долларов каждую женскую голову... Вздурим цены на каждого губошлепа... За грудных потребуем вдвое... За девственников — вдесятеро!..

Он уткнулся лицом в пальто, в свое изголовье, огромные его плечи вздрагивали могуче и бурно. Потом он затих, поднял кудлатую голову (щеки его пылали, а светлая копна волос казалась холодной) и нежданно ровно, озабоченно произнес:

— В последнее время Черноголовый... стал сдавать... Ты не замечал?.. Когда я последний раз видел его, он был дряхл, как столетний!..

Туляков ждал. Но Мартын ничего не сказал больше.

— Ложись, прошу тебя! — проворчал Туляков, подымаясь на ноги. — Тебе следует подкрепиться...

— А тебе?

— Э!

Он махнул рукою и направился к двери.

Степь наливалась мраком, холодела. Луна прояснялась. Немытый тяжкий ли ее источал тишину, и в этой стылой прозрачной тишине, как в диковинных паучьих тенетах, беспомощно барахтался поезд.

VI

На рассвете, еще не открывая глаз, Мартын прислушался к себе и почувствовал свое тело попрежнему крепким и сильным.

Армеец, дежуривший у двери, искоса следил за ним и видел удивительную картину его пробуждения. Видел, как по бледному, истомленному лицу пробежала дрожь, как затем легкое озарение, похожее на улыбку, тронуло просторный лоб и густые губы. Еще через мгновение задрожали и распахнулись ресницы: из синевы пахло вчерашним зноем, бредом; белки были мутны и розовы, зрачки темны и огромны. Но вот еще усилие, и—вслед за улыбкой, принявшей выражение радости, вспыхнули в глазах, из-за гари и пепла, прозрачные родники.

— Как дела, товарищ?—сырым голосом проговорил Мартын, обращаясь к армейцу.

— Благополучны!—сказал тот, охотно откликаясь на ту бездумную заражающую радость, которая волною шла к нему от Мартына.

В вагон за ночь лунные степи надышали прохлады. Синеватый рассвет сочился за окном золотом. Отлично, чудесно! Но, обнаженные под первым утрен-

ним светом, холодели на полу, как прах пережитого, окурки, и было в них что-то общее с серым помятым лицом Тулякова. Лежал Туляков на голой скамье, запрокинув на руки голову. Губы его были тонкие и темные, брови белесые и редкие, как всходы на тощем поле. И эти брови порою вздрагивали, и губы морщились, точно какую-то горечь глотал во сне Туляков.

Мартын сел, опустил голову. Город! Город! Первою мыслью была мысль о Михаиле Ивановиче, о Синицыне, о Зине (да, и о Зине!). Не то, чтобы он забыл всех других, близких ему по борьбе... Нет! Мысль о городе была полна ощущения многих человеческих страданий, но эти страдания сливались в единое, близкое, особо чувствуемое: белоснежная голова, внимательный взор из-под очков и рядом с этим теплота смутных женских рук, насмешливая улыбка, глаза серые, в узком разрезе. Невозможно жалеть, мстить, бороться за город (кружок на географической карте), но нельзя не жалеть, не мстить, не бороться, если в этом городе тысячи родных, близких по духу и среди них—особо близкие, особо понятные сердцу!

Мартын взглянул на Тулякова. Почему он спит? Как можно спать теперь? Мартына раздражало это мертвое лицо. Он как бы вовсе забыл, что сам спал всю ночь, что сам только что поднялся на ноги.

— Станция скоро, товарищ? — обратился он к часовому у двери, и тот все так же охотно и весело отозвался. Мартын не решался спросить о городе,

о вчерашнем сообщении Тулякова. Может быть, Туляков еще прятал страшную правду от других.

А вагон подрагивал, стучал и дзинькал, и мимо окон за пыльным, перламутровым стеклом проносилось утро, звонкое, в студеном золотых разливах. Поезд летел упрямо, терпеливо; он был в движении еще в то время, когда Мартын спал, он будет мчаться вперед бесконечно, равнодушный к людям, терпеливый, упрямый, похожий на подъяремного раба со стиснутыми челюстями, с сердцем, не знающим прошлого, с волею, не имеющей собственных глаз.

Мартын швырком спустил у окна раму, опрокинулся грудью, заглянул вперед, назад. Легкие захлебнулись ядреным воздухом; сердце пьянело, мускулы наливались звонким светом, силою. А за паровозом стучали, повизгивали, гнались друг за другом вагоны: два, три, четыре... без конца! И в каждом, наглухо прикрытом, в теплых одеялах, на подушках, на корзинах, узлах, на всякой рухляди, кутаясь в нее, лежали в сладостном, бездумном забытии молодые и старые женщины, дети—у груди матери, подростки—за теплыми надежными спинами: чьи-то жены, сестры, ребята, для кого-то бесценные, единственные, кому-то еще вчера необходимые, как воздух, как хлеб. Они все досыпали последний предутренний час, самый пьяный и сладкий, и едва ли кто-нибудь из них видел страшные сны. А между тем у многих из них жизнь была уже сломана, и к прошлому не было возврата!

Мартына тянуло навстречу утру, близкому солнцу, степному, омытому свежестью раздолью. Ноздри его

жадно всасывали терпкий арбузный воздух, глаза упивались потоками прозрачных красок. Хотелось двигаться, прыгать, кричать песни и ни о чем не думать... или думать о своей прекрасной, большой жизни и о загадочном, не менее прекрасном будущем. Но нельзя было ни двигаться, ни прыгать, ни петь, потому что нельзя было ни на одну минуту забыть о городе, о разгроме, о крови и об этих вагонах, наполненных детьми и женщинами.

Ах, эти женщины, эти сонные чавкающие рты, эти груди, наливающиеся молоком, эти колени, ищущие в полумраке привычной ласки!

Мартын резко повернулся от окна. Он не хотел. не мог терпеть. Он направился к Тулякову. Но Туляков сам открыл глаза. Сначала в глазах его метелицей кружилось лазоревое окно, затем, захолодев, они сузились, наполнились злым белесым огнем. Туляков встал, откашлялся, сплюнул в угол, сказал Мартыну:

— Очень хорошо, что ты на ногах! А я думал, что с тобой придется повозиться...

И вслед он обратился к армейцу:

— Разъезд проехали?

Слушая ответ, он прошел к окну, заглянул, повернулся обратно:

— Что же теперь делать, Баймаков?

И по этому вопросу, произнесенному глухим напряженным голосом, Мартын сразу понял, что вчерашнее сообщение о городе не было бредом.

— А разве можно что-нибудь делать?—воскликнул он с внезапным приливом раздражения.—Разве мы

с тобой можем что-нибудь делать?.. Ведь мы связаны по рукам, по ногам!..

Туляков с тревогой взглянул на него.

— Не мудри, Баймаков... Мои нервы не лучше твоих!..

Мартын отвернулся, стараясь сдержать свое волнение. Он понимал, что Туляков ни в чем тут не виноват, и все же не мог отделаться от странного чувства неприязни к нему, к женщинам, ко всему эшелону. То, что происходило теперь у него на сердце, напомнило Мартыну далекое прошлое. Был в детстве случай, сближавший тогдашнее его настроение с тем мучительным, что переживал он теперь. Ему только что минуло восемь лет. Он с неделю, радостно волнуясь, готовился с отцом к отплытию на рыбалку. И вдруг на рассвете долгожданного дня умерла старая бабушка. Меньше всего в этом происшествии была виновата сама бабушка. Но Мартын весь день не мог преодолеть глухой вражды к покойнице, а затем и к отцу и даже к посторонним людям, соседям.

Заметив, что Туляков уже не обращает на него внимания, Мартын вышел за дверь, пролез наружу, уселся на подножках. Он сидел, сложив на груди руки, стараясь ни о чем не думать. Стремительный полет у самого полотна, хлесткий, свежий ветер, как бы поддерживавший на весу все тело, и сознание, что одно неосторожное движение может опрокинуть его под колеса, постепенно возвратили Мартыну спокойствие.

Перед глазами плыла, кружилась желтая, выжжен-

няя за лето степь. Открывались балки с пухлым туманом над ними. Янгтарем светились соломенные хутора на горизонте. У шпал тяжелела седая от ночной росы трава. Трава сухая. Дорога в пыли, в шматках дегтя: здесь дождя не было ни вчера, ни сегодня.

Поезд подходил к станции. На площадке, за спиной Мартына, показался Туляков.

— Надо собрать здесь точные сведения! — прокричал он. — Сделаешь?..

Деревянные постройки станции тонули в потной суете, а над кровлями, в тонкой сетке старых тополей, пылала крепкая матовая заря.

Из ближних вагонов выползали, кутаясь в шали, женщины. Одна держала на руках ребенка, хмуро поглядывала в небо. Ночной холод положил на ее лицо печать: тусклая тень на щеках, краснота вокруг ноздрей, пуширышки на коже, там, где руки были обнажены. У станционных дверей, под колоколом, стоял начальник станции. В его глазах, круглых, на выкате, крутилась усмешка, и было еще что-то, заставившее Мартына насторожиться.

— Скажите: на Линки путь свободен? — подходя к нему, заговорил Мартин. — Мы у вас стоять не намерены!..

У начальника был двойной подбородок, бритый, холерный, а голос крикливый, порывистый, как у старого фельдфебеля, и голова подрагивала в такт голосу.

— Путь свободен! — отвечал он, разглядывая Мартына. — Пока... свободен, гражданин! — повторил он. —

Но из Липок передавали, что у них там, за бусераками, казачьи разъезды. Вчера к нам с северо-востока доносило пулеметную пальбу...

— Чью, с кем?

— Этого сказать не могу!

И он просунул подбородок в твердый ворот, отчего на челюстях образовались мясистые тугие складки.

Мартын помолчал.

— Какие сведения из города?—спросил он, стараясь глядеть беззаботно.—Нам придется переговорить по прямому...

— Телеграф молчит со вчерашнего дня.

— Что же... попорчены провода?—воскликнул Мартын.—Городу, когда мы его покидали, еще ничто не угрожало!..

— Не могу сказать!—отвечал начальник, выкатывая на Мартына глаза, и вдруг улыбнулся.—Вы очень долго подвигались к нам... Вероятно, стояли в пути?..

— Да, мы стояли! И теперь торопимся... Примите меры!

— Сделайте одолжение! Второй день живем вне расписания...

Поднялось солнце. Тени осинели, стали хрустальными. В небе было тихо, ясно, просторно. В воздухе, свежем и упругом, как вода, носились стрижи. Первая, еще робкая и необыкновенно прозрачная дорожка вылегла на асфальте, и, переходя ее, Мартын ощутил на лице горячее касание солнца.

От вагона шли двое. Один—низкорослый, в измятой темной накидке и широкополой шляпе, другой—

в кожаной тужурке, опоясанной желтым ремнем. Тот, кто был в накидке, слегка отставал, как бы прячась за спину кожаной тужурки.

— Товарищ Баймаков?—остановившись на шаг от Мартына и вздвигая свои отлично вычищенные сапоги, спросил человек в тужурке.

Мартын хмуро, сверху вниз, глядел на него. Человек в тужурке потрогал пальцами свежий, туго скрипывавший пояс.

— Вы удивляетесь!—заговорил он.—Я здесь при поезде на всякий случай. В охране! Имею приказ губкома...

— Письменный?

— Нет, устный...

Мартын усмехнулся.

— Так вы в охране?

— Готов, чем могу!—переступил с ноги на ногу человек в тужурке, и вдруг темное, в черной курчавой бороде, лицо его вспыхнуло.—Вы меня, Баймаков, должны знать... Я из совнархоза... Аристов!

— Не помню что-то!—небрежно откликнулся Мартын и перевел взгляд на накидку.

Маленький человек все время ласково, почти влюбленно поглядывал на него трогательно-голубыми, как у куклы, глазами.

— Наш коммунистический педагог!—отрекомендовал Аристов, с нескрываемым пренебрежением взглянув на товарища.—Вишует политграмоту на красноармейских курсах!..

— Петр Уткин!—поклонился человек в накидке.—Сопутствующий эшелон по нездоровью... Туберкулез во

Но из Липок передавали, что у них там, за буграками, казачьи разъезды. Вчера к нам с северо-востока доносило пулеметную пальбу...

— Чью, с кем?

— Этого сказать не могу!

И он просунул подбородок в твердый ворот, отчего на челюстях образовались мясистые тугие складки.

Мартын помолчал.

— Какие сведения из города?—спросил он, стараясь глядеть беззаботно.—Нам придется переговорить по прямому...

— Телеграф молчит со вчерашнего дня.

— Что же... попорчены провода?—воскликнул Мартын.—Городу, когда мы его покидали, еще ничто не угрожало!..

— Не могу сказать!—отвечал начальник, выкатывая на Мартына глаза, и вдруг улыбнулся.—Вы очень долго подвигались к нам... Вероятно, стояли в пути?..

— Да, мы стояли! И теперь торопимся... Примите меры!

— Сделайте одолжение! Второй день живем вне расписания...

Поднялось солнце. Тени осинели, стали хрустальными. В небе было тихо, ясно, просторно. В воздухе, свежем и упругом, как вода, носились стрижи. Первая, еще робкая и необыкновенно прозрачная дорожка вылегла на асфальте, и, переходя ее, Мартын ощутил на лице горячее касание солнца.

От вагона шли двое. Один—низкорослый, в измятой темной накидке и широкополой шляпе, другой—

в кожаной тужурке, опоясанной желтым ремнем. Тот, кто был в накидке, слегка отставал, как бы прячась за спину кожаной тужурки.

— Товарищ Баймаков?—остановившись на шаг от Мартына и вздвигая свои отлично вычищенные сапоги, спросил человек в тужурке.

Мартын хмуро, сверху вниз, глядел на него. Человек в тужурке потрогал пальцами свежий, туго поскрипывавший пояс.

— Вы удивляетесь!—заговорил он.—Я здесь при поезде на всякий случай. В охране! Имею приказ губкома...

— Письменный?

— Нет, устный...

Мартын усмехнулся.

— Так вы в охране?

— Готов, чем могу!—переступил с ноги на ногу, человек в тужурке, и вдруг темное, в черной курчавой бородке, лицо его вспыхнуло.—Вы меня, Баймаков, должны знать... Я из совнархоза... Аристов!

— Не помню что-то!—небрежно откликнулся Мартын и перевел взгляд на накидку.

Маленький человек все время ласково, почти влюбленно посматривал на него трогательно-голубыми, как у куклы, глазами.

— Наш коммунистический педагог!—отрекомендовал Аристов, с нескрываемым пренебрежением взглянув на товарища.—Внушает политграмоту, на красноармейских курсах!..

— Петр Уткин!—поклонился человек в накидке.—Сопутствую эшелон по нездоровью... Туберкулез во

второй стадии...—Он улыбнулся, ощерив темные гнилые зубы.—Нас в поезде трое: товарищ Аристов, я и изобраз Добрынин... Только товарищ Добрынин в другом вагоне с семьей!

Мартын сложил губы трубочкой (как делал это Черноголовый) и свистнул.

— Э, сколько вас! Куда же вы?..

— То есть как это?—вскинулся Уткин.—Туда же, куда и вы!...

— Уткин—член партии!—заметил Аристов, и в его глазах, больших, медленных, напоминающих коровьи, проступила досада.

— Ах, товарищ Уткин—член партии!—желчно, уже не скрывая насмешки, протянул Мартын.—Ну, если так, то вам обоим можно сказать кое-что неприятное.

— Неужели есть опасность?—воскликнул Уткин, взметнув крыльями своей накидки, и уцепился за руку Мартына своею, холодною и влажною.

— Несомненно!—подтвердил Мартын, испытывая странное удовольствие при виде растерянности этих людей.—Мы катимся, так сказать, в гости к казакам.

— Вы это серьезно?—произнес Аристов, облизывая свои полные смуглые губы.—Я не совсем понимаю...—Он не закончил и беспомощно огляделся по сторонам.

— Мы сами не совсем понимаем, что творится!—подхватил Мартын.—Но у нас нет иного выхода...

Аристов вдруг как-то весь завял. Его военная выправка исчезла, крупные его губы взмокли и распались, в больших и темных, слегка увлажненных глазах проступил страх.

— Нет, нет... Быть не может! — заговорил Уткин и умоляюще уставился на Мартына голубыми светлыми бусами.

Мартын понимал, что скрывалось за этим протестующим «нет, нет». Уткин, несомненно, любил жизнь, любил ее с жадностью полевого крота, все его шуплое тело, издерганное недугом, не хотело и не могло верить, что оно как-то вдруг, ни с того ни с сего, перестанет дышать, двигаться. Подобно нищему цеплялся этот человек за каждый кусок, за каждую крошку радости, и его жизнь, питающаяся жалкими остатками с пышного стола, готова была к самозащите, более отчаянной, чем это могло быть у самого сильного зверя.

Чувство брезгливости охватило Мартына. В то же время он заметил женщин, прислушивающихся издали к их разговору.

— Шучу! — сказал он, направляясь к вагонам. — Я пошутил, товарищи... Путь безопасен!..

— Да?.. — воскликнул Уткин и снова вцепился в руку Мартына. — Я так и знал... Но вы, товарищ Баймаков, напрасно шутите... У меня чрезвычайно плохие нервы... Эту ночь я почти не спал... Мне мерещились всякие ужасы... И не думайте, что я волнуюсь только за себя... Ведь у нас женщины, дети... Это было бы ужасно!..

Он бежал рядом с Мартыном, как стригун подле матки, и говорил, и улыбался, и светился весь голубым обрадованным светом.

— Это было бы ужасно, ужасно!..

Аристов остался на месте. В его тучном, влажном взгляде полыхала злоба.

— Товарищ Уткин! — приостановился Мартын. — Оставьте меня, прошу вас... Можно, а?..

Уткин покорно смолк и побежал назад, размахивая крыльями своей накидки, и на бегу кричал кому-то ущемленным от волнения голосом:

— На водопой! На водопой!

Мартын неторопливо шел в сторону паровоза. Он видел все, что делалось в вагонах. В вагонах было утро. Женщины, озабоченные и заспанные, возились среди корзин и узлов, звенела всюду посуда, слышались детские голоса. Матери готовили завтрак, степенно вытягивая из узлов и узелков хлеб, молоко в бутылках, стаканы и многое другое, что еще день назад украшало домашний буфет хозяек. Кое-где на чемоданах, заменявших теперь столы, белели салфетки. Даже пестрый бухарский ковер красовался, в виде портьера, над одной из раздвинутых дверей. И выплескивались там и сям из полутьмы вскрики и смех. Старуха с белою, как бы выточенной из мела, головою, задыхаясь от усилия, тащила к вагону тяжелый обрубок. Трудно было догадаться, зачем он ей понадобился, но, несомненно, этот добытый ею кусок грязного почерневшего дерева был здесь весьма нужен: несколько пар женских глаз с улыбочивым нетерпением следили из вагона за старухой. А еще через вагон кто-то, повернувшись к двери согнутою спиной, старательно скреб пол охапкою трав, и у самой двери, свесив ноги, обтянутые розовыми чулками, сидела молодая мать, с ребенком у обнаженной

грудь. Она даже не взглянула на Мартына, вся уйдя в свое занятие. И трое подростков гонялись с визгом друг за другом у крайнего вагона. Было шумно, хлопотливо, беззаботно. Люди с удивительной апатичностью, подобно ползучему растению, цеплялись за обломки привычного существования, и вагоны, приютившие этих выброшенных за борт женщин, очень непрочные вагоны на очень зыбком, ненадежном пути, с каждым новым часом обрастали неистребимым бурьяном забот и хлопот.

— Галки...

Мартыну вспомнилась мельничная труба на окраине города. Днем и ночью выбрасывала она дым, удушье, клубы горячей сажи и только в редкие дни больших праздников остывала. Но как ни коротки и ненадежны были эти часы затишья, стая галок с бездумными криками облепляла притихшего каменного великана, и уже к следующей заре охапки гнезд чернели вокруг трубной короны.

Мартын представил себя, себя—одного, среди женской толпы, в окружении казачьего эскадрона... Вот это и впрямь будет сражение! Вот это и впрямь арена для героической борьбы... Сомкнуть на груди руки, запрокинуть гордо голову и... беспомощно умереть. Нечего сказать—завидная доля!..

VII

На станции Мартыну дали неверные сведения. Казаки городом не овладели, но пути к нему были отрезаны, и потому телеграф не работал. Генерал, командовавший казачьим корпусом, не ожидалestre-

тить со стороны города сопротивление, а когда на-
ткнулся на окопы и потерял полдня, чтобы смять
красную пехоту, отдал приказ к отходу. Он сделал
это, стоя у городских ворот, когда один лишь эскад-
рон мог занять окранны. Но генерал опасался борьбы
на улицах, а у него не было времени: он знал, что с
востока надвигается вражеская кавалерия, и ему надо
было спешить на юг, к фронту, чтобы соединиться
с главными силами.

Еще около четырех часов дня, когда поезд Мар-
тына готовился к отходу, кавалерия густыми эскадро-
нами подалась назад и стала обтекать город пере-
лесками. Броневой поезд, отвлекая внимание красного
штаба, продолжал обстрел с линии, из-за разрушен-
ного моста, но в то самое время, когда в здании ис-
полкома готовились к встрече с врагом на улицах,
головные казачьи отряды, перебравшись через реку,
подвигались уже к станции Боровики.

Поезд Мартына проскочил к Боровикам вблизи
вражых разъездов. За разведкою, по пятам ее, сле-
довал весь корпус белых; он подвигался вдоль желез-
нодорожного пути, по обе его стороны, и там, где
еще несколько часов назад пробегал поезд с эвакуи-
руемыми, теперь пылали будки, товарные вагоны,
штабеля шпал.

Около семи вечера по полевым проводам в испол-
ком сообщили, что связь с белыми потеряна, а еще че-
рез два часа весть о бегстве генеральской кавале-
рии облетела весь город.

Рабочие из паровозного депо вышли на улицу с
пением «Интернационала», к ним присоединились ра-

бочие соседних заводов и ружей, час назад прятанннхся в подвалах.

Над городом еще рвалась шрапнель, но теперь никто не обращал на нее внимания, и улицы, набухающие мраком, полны были веселого людского шума.

Когда совсем стемнело, отряд из смельчаков, волоча за собою легкое орудие, зашел во фланг броневому поезду и принялся в упор обстреливать его. Броневой смолк, рванулся назад и скрылся на глазах преследователей. И вот над городом разлилась благодстная тишина, расцвеченная пылающими звездами; ни крики людей, ни грохот полковых кухонь на мостовой не могли нарушить этого радостного покоя вечера.

Люди захмелели, и—было отчего! Ведь всего несколько часов назад они стояли перед неизбежностью кровавой уличной стычки, готовились к смерти и уже переживали то состояние, когда последние зовы жизни отзвучали и все тело охватывает тошнотное спокойствие.

Первый почуял возвращение бывалой радости старый, оставшийся от губернаторского камердинера кот. Он вдруг появился в белом коридоре исполкома и, задрав хвост, тыкался людям под ноги, кричал у закрытых дверей. Молодой армеец, стоявший на часах у кабинета штаба, поймал кота и начал тетешкать его на руках. Адьютант штаба, только что выслушавший последнее донесение с фронта, проходил в эту минуту из штаба в кабинет Черноголового, остановился на пороге, увидел кота.

— Ну?..—сказал он, строго взглянув на армейца,

и когда тот, вытянувшись, уронил кота, адъютант пошел дальше, но кот подкатился к его ногам.

— Ну?...—повторил он, обращаясь на этот раз к коту, нагнулся и подхватил его на руки.

И едва адъютант с котом на руках скрылся в конце коридора, двое вестовых, оглашая стуком тяжелых подошв своих сумеречную тишину, пробежали из вестибюля наверх. Они только что возвратились с другого конца города, сдали свои пакеты и теперь спешили наверх, в столовую. Там встретила их пожилая тетка Степанида Афромеевна. Позванивая ключами, достала она из шкафа коровый хлеб и отрезала по ломтю каждому, и парни, глотая хлеб по-зменному, не прожевывая, принялись толкать Степаниду Афромеевну, с двух сторон, пока она, вдруг по-молодому, раскрасневшись, не убежала прочь.

В залах собирались отряды, усталые, голодные, но жадные до балагурства и веселой матерщины. Винтовки кое-где притыкали люди к стене, распоясывали подсумки и валились на паркет, как на пуховики.

В кабинете штаба, в канцелярии, в отделе снабжения—всюду, где были люди, разгорелся певучий, бездумный шум. И кто хотел спать—укладывался на кушетки, на составленные кресла и прямо на пол; кто хотел есть—бежал на кухню, в столовую, через улицу—в советскую пекарню, и кто хохотать хотел—хохотал до упаду. Казалось, что только теперь почувствовали люди цену жизни и спешили, как угорелые, к ее утехам.

Час назад Черноголовый говорил речь с балкона к рабочим, собравшимся на улице толпою. Штабники

и люди из отряда, и вестовые, и Степанида Афро-меевна, ключница столовой, учтиво ловили каждое слово Михаила Ивановича.

Но—кончил Черноголовый, разошлись рабочие, потемнело, заиграло звездами глубокое, синее небо, и все, кто находился в здании исполкома, обратились к своему будничному, привычному миру, и мир этот был теперь для них самым важным и самым чудесным во всей вселенной. Вспыхнули тайные, несытые желания, поднялись потоками из скрытой глубины сердца. Все вокруг казалось близким, доступным и возможным, и сами люди глядели друг на друга, как на радость, цветущую в садах их жизни.

И, что всего важнее, каждый думал, что он заслужил право на всякое свое желание и что сейчас эти его желания естественны и прекрасны, как крик новорожденного.

Клепиков из совнархоза, член штаба, послушав деловые споры в кабинете Черноголового, заскучал, потянулся всем телом и прошел на балкон. Отсюда, с высоты, звезды казались близкими, а голубая темнота над городом пахучею, как степь в мае. Тугой и теплый ветер доносил из-за реки неясные шумы военного лагеря, а под самыми ногами, в лучистом мареве фонарей, проходили люди, и среди них наметчивый глаз Клепикова еще издали распознавал женщин. И не только распознавал, но и тут же определял, какая из них могла бы доставить ему новое, еще не испытанное наслаждение. Он давно потерял веру в вечную любовь и, окруженный дешевыми женскими ласками, лениво глядел на мир, как капитан с своего

и когда тот, вытянувшись, уронил кота, адъютант пошел дальше, но кот подкатился к его ногам.

— Ну?.. — повторил он, обращаясь на этот раз к коту, нагнулся и подхватил его на руки.

И едва адъютант с котом на руках скрылся в конце коридора, двое вестовых, оглашая стуком тяжелых подошв своих сумеречную тишину, пробежали из вестибюля наверх. Они только что возвратились с другого конца города, сдали свои пакеты и теперь спешили наверх, в столовую. Там встретила их пожилая тетка Степанида Афромеевна. Позванивая ключами, достала она из шкафа коровый хлеб и отрезала по ломтю каждому, и парни, глотая хлеб по-змеинному, не прожевывая, принялись толкать Степаниду, Афромеевну, с двух сторон, пока она, вдруг по-молодому, покрасневшись, не убежала прочь.

В залах собирались отряды, усталые, голодные, но жадные до балагурства и веселой матерщины. Винтовки кое-где притыкали люди к стене, распоясывали подсумки и валились на паркет, как на пуховики.

В кабинете штаба, в канцелярии, в отделе снабжения—всюду, где были люди, разгорелся певучий, бездумный шум. И кто хотел спать—укладывался на кушетки, на составленные кресла и прямо на пол; кто хотел есть—бежал на кухню, в столовую, через улицу—в советскую пекарню, и кто хохотать хотел—хохотал до упаду. Казалось, что только теперь почувствовали люди цену жизни и спешили, как угорелые, к ее утехам.

Час назад Черноголовый говорил речь с балкона к рабочим, собравшимся на улице толпою. Штабники

и люди из отряда, и вестовые, и Степанида Афромеевна, ключница столовой, уттиво ловили каждое слово Михаила Ивановича.

Но—кончил Черноголовый, разошлись рабочие, потемнело, заиграло звездами глубокое, синее небо, и все, кто находился в здании исполкома, обратились к-своему будничному, привычному миру, и мир этот был теперь для них самым важным и самым чудесным во всей вселенной. Вспыхнули тайные, несытые желания, поднялись потоками из скрытой глубины сердца. Все вокруг казалось близким, доступным и возможным, и сами люди глядели друг на друга, как на радость, цветущую в садах их жизни.

И, что всего важнее, каждый думал, что он заслужил право на всякое свое желание и что сейчас эти его желания естественны и прекрасны, как крик новорожденного.

Клепиков из совнархоза, член штаба, послушав деловые споры в кабинете Черноголового, заскучал, потянулся всем телом и прошел на балкон. Отсюда, с высоты, звезды казались близкими, а голубая, темнота над городом пахучею, как степь в мае. Тугой и теплый ветер доносил из-за реки неясные шумы военного лагеря, а под самыми ногами, в лучистом мареве фонарей, проходили люди, и среди них наметчивый глаз Клепикова еще издалека распознавал женщин. И не только распознавал, но и тут же определял, какая из них могла бы доставить ему новое, еще не испытанное наслаждение. Он давно потерял веру в вечную любовь и, окруженный дешевыми женскими ласками, лениво глядел на мир, как капитан с своего

мостика на изъезженную и опротивевшую до-нельзя реку. Он не был умен, этот Клепиков, но не был и глуп настолько, чтобы его глупость замечали другие. А в делах, ему поручаемых, Клепиков обнаруживал особую какую-то смекалистую хватку. И в партии его ценили именно за деловитость. В партии он состоял с прошлого года, но в анкетах писал: «Участвовал в революционном движении с 1913 года». В этот 1913 год Клепиков был раскрыт губернатором как участник майской пирушки, устроенной либеральными земцами, и отведен со службы земского техника. Был Клепиков одинок, но в его трех комнатах, оставшихся ему от отца, железнодорожного чиновника, никогда не было пусто. До революции собиралась сюда конторская молодежь, кассирши и машинистки, и многие из них заночевывали в малиновой спальне, под голубым у потолка шаром; после революции в уютных трех комнатах, вырываясь из бездны хлопот и забот, находили себе приют молодые партийцы, и немало летучей и дымной любви отцветало тут.

Клепиков постоял, поглядел на звезды, наглотался свежего воздуха и пошел коридором. Порою он, подрагивая икрами, останавливался у двери, тихонько открывал ее, заглядывал и направлялся к новой. Наконец скрылся за крайней. То была небольшая комната, служившая когда-то гардеробной, а теперь сплошь уставленная никому ненужной мягкой мебелью. Из единственного окна, распахнутого настежь, вместе со свежестью вливалась сюда голубая пыль уличного фонаря, и в этом неясном сказочном свете

Клепиков с трудом отыскал Кудрявцеву. Зина лежала на плюшевой софе, засунув под голову, руки. При входе Клепикова она подняла голову.

— Можно?—произнес он негромко и, не ожидая ответа, прошел к софе и уселся у ног девушки.—Ух, как я устал...

— Ложись на тот вои диван и вздремни!—посоветовала она.

Голос у Зины был теплый и сонный, напоминал ребячий, еще не вполне сложившийся.

— Зачем же на диван?—отозвался он лениво.—Подвинься... В тесноте, да не в обиде!..

И осторожно, но властно положил руку на ее колено.

Она взяла его руку, отбросила.

— Ловкий какой...

При этом улыбнулась, и в неверном свете, под тонким изгибом ее губ, четко проступили белые, ровные, как на подбор, зубы.

— Пожалуйста, не мешай мне!—сказала она кротко.—Ты знаешь,—в эту ночь я не смыкала глаз...

Он снова, но осторожно, как бы сам того не замечая, коснулся рукою ее колена и почувствовал (а, может быть, ему так показалось) легкую дрожь под своими пальцами. Тогда внезапно опавшим баском он запел:

«Спи, младенец мой прекрасный...»

Затем, помолчав, сказал:

— Я двое суток без сна, но и в эту ночь мне не доведется!..

— Почему же?—откликнулась она еле слышно.

— Потому! Через час я должен быть на восточном секторе... Банды схлынули, но кто поручится, что они не вернутся?..

Она подняла голову.

— Знаешь что, Клепиков! Ложись здесь, а я пойду к нашим и ровно через час растолкаю тебя... Ей-богу!..

— Нет, чего там!—недовольно произнес он и, касаясь руками ее плеча, откинул девушку назад.—Я крепок, как тигр... Я могу держаться еще неделю...

— А я вот не могу! У меня близится мигрень...

— Мигрень? Какая срамота, Зинок!—игриво подхватил он и стал крепко гладить упругое ее колено.—А знаешь, отчего ты такая... невыносливая?..

— Отчего?—снова отстраняя его руку, спросила она сонным голосом.

— Оттого, что ты...

— Знаю!—торопливо, как бы угадывая в его словах что-то дурное, сказала она.—Это оттого, что отец очень меня баловал... Ты знаешь, Клепиков, мой отец уходит на работу с зарею, и так тихо, что я даже не слышу... А вечером, едва я появляюсь, укладывает меня в постель... И сам ее стелет... Ей-богу!..

— Вот пустяки какие!

— Нет, верно! Отец меня очень жалеет... Мне было всего семь лет, когда умерла моя мать... Он заменил мне мать, бабушку, няньку...

Клепиков позевнул, в его больших бархатных глазах, казавшихся на бледном лице особенно глубокими, вспыхнули холодные лучики. Слова Кудрявцевой об

отце, о матери не нравились ему; они как бы связывали его. Он сказал сухо:

— Папа, мама, бабушка... Ты говоришь, как купеческая дочка!..

Зина с недоумением взглянула на него и замолчала, и почти вслед он почувствовал, как близкое к нему бедро девушки опало и ослабело.

— Не хочешь, не слушай... И... иди отсюда!..

Голос ее доносился издалека. Было видно, что у нее не хватало сил, чтобы бороться с дремотою.

Он молча боком прилег на ее ноги, прислонил голову к стене и закрыл глаза. Полуоткрыв свои, Зина увидела в голубом отсвете фонаря иссиня-бледное лицо его. Что-то похожее на жалость к этому много трудившемуся человеку, шевельнулось в ее сердце. В то же время ее удивило, что у него такие необыкновенно черные и тонкие брови. Она невольно подалась ногами к стене, чтобы не мешать ему. И едва сомкнула веки, ласковая дремота охватила ее. И вот слышала милый струнный голос Мартына, но, как ни напрягалась, не могла разобрать слов. Он держал свои руки вдоль ее бедер и говорил нечто такое, что без слов наполняло все ее тело светом. И было жутко и радостно от того неиспытанного, волнующего, что шло к ней вместе с голосом Мартына. А вокруг происходило что-то необычное и было страшно и грустно, как в тот день, когда мать ее лежала на столе, а она, девочка, стоя у ее ног, не могла оторвать глаз от удивительного голубого неба, простертого за окном.

«Мартын, милый! Я же люблю тебя... У тебя блед-

ное, суровое лицо, но я люблю тебя больше себя, больше своей жизни»...

Мартын слышит ее, склоняется к ней. Его глаза сини, как дали в степи, и в них та же, что у степного простора, манящая ласка. И его руки травами обвивают ее. Его дыхание, горячее, как полуденный зной, касается ее щек.

— Нет!—проговорила она, еще не подымая тяжелых век, но уже вся настораживаясь.—Нет, не надо!..

Клепиков дышал ей в лицо порывисто, жарко. Его руки крепко сжимали ее у поясницы. Приходя в себя, она на одно мгновение ощутила острую в груди радость. Но тут же закричала:

— Уйди!

Почувствовав, что его руки, вздрогнув, безвольно отпустили ее, она затихла, уколотая неизъяснимой печалью, и молча, ожидающе глядела в бледное, искаженное испугом лицо его.

— Какой... противный!—прошептала она затем.

И, отстраняя его, все еще покорного и молчаливого, приподнялась, откинулась спиной к стене. Дремота исчезла, но в теле чадила усталость, непереносимо серая, старческая, и слова рассыпались на ее устах, как зола:

— Как тебе не стыдно, Клепиков... Ты, видно, привык к дешевым заработкам... Ну, проваливай, пожалуйста!.. Или у тебя отнялся язык?

Он поднялся, прошел к окну, постоял и, обернувшись, произнес злым хрипатым голосом:

— Ты так завопила... Здесь кругом люди!

Она взглянула на него, отвернулась.

— Фу, какой ты трус, Клепиков!.. Впрочем, все мелкие воришки трусливы...

— Послушай!—перебивая ее, поднял он голос. Ты не имеешь права...

— Ах, брось, пожалуйста!—отмахнулась она и встала на ноги, привычно оправляя платье.—Я же тебя вижу, насквозь...

— (Ничего ты не видишь... Раскричалась, будто посягнули на ее кошельки!..

Эти слова были так глупы и так неожиданны, что она не сразу заговорила.

— До чего ты пошел!—произнесла она наконец, и вдруг, вся вспыхивая, закричала:—Уходи! Сейчас же, слышишь!..

— Не шуми, сделай милость... Иду!..

Подавшись к двери, он еще что-то добавил, но уже про себя.

Оставшись одна, Зина подошла к окну и долго глядела в темное, спокойное небо! У нее начиналась мигрень. И на сердце было противно и жутко, словно, заглянув в пропасть, она никак не могла справиться с какой-то тоскливой, дурманной тошнотой.

— Одно слово!..—проговорил, снова появляясь на пороге, Клепиков.

Рослый, стройный, он казался теперь беспомощным и жалким.

— Можно?..

Она не отвечала, стоя к нему вполоборота. Он продолжал почти шопотом, приближаясь к ней:

— Я прошу простить меня, Зина... У меня не было ничего дурного в помыслах... Но я мужчина... а ты...

не только товарищ!.. Я давно следил за тобою... В тебе есть что-то такое... Кажется, я люблю тебя!..

Она быстро обернулась к нему и вдруг нервно рассмеялась.

— Кажется? А не кажется ли тебе, что ты... негодяй?!

— Товарищ Кудрявцева!—предостерегающе поднял он руку.

— А что, неправда?—голос ее дрожал от гнева.— Я кое-что слышала о тебе, Клепиков, но до сих пор старалась не верить... Теперь же...

— Да что же, наконец, случилось?—перебил он ее резко.—Что случилось, сударыня?..

— Ой, ты еще спрашиваешь?

— Да, спрашиваю... И хочу, сам отвечать... Ты... ты имеешь намерение разыграть со мною сцену невинной барышни... Между тем, кто же поверит твоей невинности?..

Он во-время поймал угрожающий жест ее руки. Схватив за локоть, с силою привлек ее к себе.

— Пусти!—бросила она, задыхаясь.—Я буду кричать...

— Кричи...

Порывистым натиском прижался он к ее рту своим. Она отбивалась, но ему удалось перехватить ее руку, и так, барахтаясь, как враги, в отчаянной схватке, оба они упали на софу. Она уже не кричала, но пальцы ее свободной руки рвали, царапали его щеки, горло. И в последний момент, чувствуя, что мускулы ее опадают и гнутся, как трава под ветром, а из глубины тела жарким ключом бьет буйная и сладостная

хмель, она невятым плачущим голосом простонала:

— Мартыш..

Клепиков отшатнулся, но ее руки, живущие сами по себе, на одну коротенькую минуту, вцепившись, держали его.

Он освободился, шагнул в сторону, едва не наступил на что-то живое и, дико вскрикнув, упал, опершись о паркет руками.

Зина не двигалась. Она не пошевелилась и потом, когда пружинистый и цепкий комок прыгнул ей на грудь и заурчал, опахивая ее лицо пухом. Глаза ее были закрыты. Она страшилась увидеть свои руки, но и невидимые, холодея в темноте, они продолжали наполнять ее всю нестерпимым стыдом.

Клепиков встал с четверенек, огляделся, заметил старого кота и, не произнеся ни слова, направился, пошатываясь, к двери.

В коридоре было пусто, но из-за дальней двери доносился людской гам. Клепиков на цыпочках, утнув в плечи голову, прошел к черной лестнице и по ней торопливо спустился в старый липовый сад. Здесь он стал у черного корявого ствола, лицом к нему, и долго, подергивая плечом, оставался неподвижным.

Первый раз в жизни сгорал он в стыде за себя. Совесть его была чиста. Только что лишний раз он убедился, что ни одна женщина не может устоять перед его мужскою ласкою. Ведь эта девчонка была на грани... Мучило его другое: то безотчетное, нелепое и безобразное, что оторвало его от женщины, и ведь не опасность, не дуло, приставленное к

виску, а всего-навсего старый кот, подвернувшийся под ноги, свалил его на четвереньки... Видела ли она это? Поняла ли, в чем дело? Конечно, видела, конечно, поняла, и, конечно, никогда не простит ему... Он по-своему понимал женщин и теперь был уверен, что не за дерзость, а за этот произгительный заячий крик его, за испуг его, за безумно-смешной испуганный вид его на полу будет он презираем этой девушкой.

Он готов был плакать от злобы на себя, и если не плакал, то лишь потому, что еще более, чем себя, ненавидел Кудрявцеву.

Несколько успокоившись, Клепиков вспомнил о табачке, нащупал в кармане папироску и, попыхивая ею, принялся вышагивать вдоль аллен. Пахло здесь прелым листом, грибною плесенью, и было тихо, как в заброшенном овраге.

Далекое цоканье верхового по булыжнику привело его в себя. Он оправил прическу, опяхнул платком лицо свое (оно еще горело) и неровным ломким шагом направился вверх по черной лестнице.

А через четверть часа, неуклюже пригнувшись и прыгая в седле, как большая кукла, Клепиков мчался рядом с адъютантом штаба к восточным окнам.

И на бегу зычно выкрикивал в темноте:

— Жалко, удрал генерал! Но мы с ним еще почитаемся.

Черноголовый только что отпустил товарищей и одиноко сидел в своем притихшем кабинете, когда к нему вошла Зина. Он мельком взглянул на нее, сказал, улыбаясь:

— Эге-ге! А ты, кажись, хранила?..

И вслед, прихватив ее пальцы и потянув к себе, заговорил:

— Видишь ты эту линию дороги?.. Банды свалились сюда... Связь с Боровиками прервана... По-видимому, генерал ведет свою сволочь на Липки!..

Зина невидящими глазами следила за карандашом Михаила Ивановича. Тонкие ее губы прыгали, нижнюю она прикусывала. И пальцы ее были холодны, как у мертвой.

— Понимаешь, там поезд с семьями... Ну что, если Мартыш не догадается повернуть на восток?

Она стояла подле его кресла, есугулившись, и едва ли понимала, что ей говорили.

Михаил Иванович блеснул в лицо ей стеклами своих очков.

— Ты что это, матушка?

Она скосила глаза.

— Мигрень!..

Черноголовый неожиданно встал, взял со стола фуражку.

— Куда же, Михаил Иванович?..

— В казармы... Ты слышала: эта часть, сколоченная из дезертиров, бузит!..

Зина в тревоге подалась к нему:

— Но как же с Липками, с нашим поездом?

Он махнул рукою.

— Выберутся!..

На столе затрещал аппарат. Михаил Иванович кивнул на него и ждал у порога. Она захватила трубку.

— Слушаю! Кто у телефона?..

Михаил Иванович видел, как дрожала ее рука.

— Сейчас!—Она опустила трубку и умоляюще взглянула на Черноголового.— Это Клепиков, с восточного сектора...

Голос ее шепелявил, губы корчились, как у ребенка, которому поднесли микстуру.

— Чего ему?—не двигаясь, проговорил Михаил Иванович.

И, туго наморщив лоб, она снова подняла трубку.

— Слушаю! Предисполкома занят... Что?.. Так! Отлично! Передам.

Она осторожно опустила трубку, поправила шнур, и пока проделывала это, держала голову низко, а нижнюю губу—прикушенной.

— Клепиков сообщает, что на восточном участке все спокойно... Сторожевая охрана на месте... Что же касается себя, то он считает необходимым направиться в казармы...

— Вот это молодец!—откликнулся Михаил Иванович.— Расторопный, ловкий парень; не без дарований...

У Зины сверкнуло на остриях зрачков, и пальцы ее впились в складки столового сукна.

— Очень может быть...—произнесла она негромко.

Михаил Иванович заторопился.

— Послушай, Кудрявцева! Будет хорошо, если ты останешься здесь. Последи за телефоном. В случае какой-либо неожиданности звони ко мне в старые казармы...

— Молодец, и не без дарований...—повторила вслух Зина, когда за Черноговым стукнула

дверь.—Молодец... и не без дарований... и очень расторопный...

Она подошла к столу, закрыла лицо руками.

И когда вновь затрещал аппарат и она поднесла к уху трубку, голос ее был криклив и холодел:

— Слушаю! Ты, Яглом?.. Отлично... Чего? Хлеб будет доставлен завтра утром. Чего?.. Нет, не раньше! Никак не раньше. Галлит? А пошли ты их... куда подальше! Дело революции в опасности... Терпят старики и дети... Чего? Ах, вот как! Ну, так они понюхают у нас трибунала...

VIII

Поезд остановился среди степи, в двух километрах от Липок.

Была ночь; из черных степных прорех задумало; натываясь на дощатые стены вагонов, ветер жотался вокруг, выискивая дыры, тихонько скулил.

Мартын заглянул в окно. В темноте, среди звезд пылал багровый бычий глаз.

— Семафор на отказе!..

От сального огарка по стенам вагона трепались лохматые тени. Красноармеец, лежавший на скамье, вдруг сорвал шершавый свой хrap и поднял из-под шинели стриженую голову. Другой уныло и недвижно стоял у двери, опершись на винтовку. Штык дырявил темноту, кровавые капли отсвечивали на острых гранях.

— В чем же однако дело?—произнес Туляков скрипучим, настороженным голосом.

Вдруг в затененных глазах Мартына блеснули го-

ряние лучики. Он склонился к щеке Тулякова и зашекотал ее порывистым своим дыханием.

— А что, Туляков, не угодим ли мы...

Не договорил. Ноздри его приметно вздулись. Туляков отвернулся.

— Ну-ка, товарищ!—крикнул он в сторону армейца.—Занять свое место...

И пока, позевывая и покряхтывая, подымался тот со скамьи, Туляков вышел на площадку. Ветер сквозил здесь и присвистывал.

— Идем к паровозу!—кинул Мартын, спускаясь к насыпи.

Едва оба они ступили на землю, ночь и степь навалились на них черным ветренным простором.

— Экая чертовщина!—говорил Туляков, стараясь не отставать от Мартына.—Вечные непорядки...

Паровоз, выставив под ветер горячую грудь, нетерпеливо отфыркивал пламенем в звездную темень.

— Посвистать, что ли?—раздался из будки голос машиниста.

— Нет!—запрокинул голову Туляков.—Нет, не надо!

Машинист молча втянул в окно голову, и тут неожиданно Мартын начал разминать ноги и руки, как делал это когда-то Черноголовый в ссылке, по утрам.

Туляков хмуро вглядывался в темноту.

— Ну?

— Вот тебе и ну!..

Оправив пояс и нащупав в кармане браунинг, Мартын весело сказал:

— Ты, Туляков, побудь-ка здесь, а я смахаю на

станцию... Идет?—и, не ожидая ответа, полез в темноту.

Туляков следил за ним, пока не потерял из виду, взобрался к будке паровоза, сказал тоном приказа:

— Сигналов не надо!..

Затем он направился в сторону вагонов, откуда уже доносились тревожные женские окрики.

Оставшись один среди ветреного простора, Мартын почувствовал во всем теле напряженное волнение. Он огляделся, послушал и сбежал под насыпь. Тотчас же ночь охватила его и скрыла от людских глаз, если только они тут были (чудилось, что были). Он шел целиною размеренным шагом, не глядя по сторонам, но настороженным слухом ловил каждый шорох. На одно мгновение ему представилось, что он в лесах, что за плечами у него двустволка с тяжелым зарядом и что в кустах отсвечивает фосфор волчьих глаз. Он даже привычно зашаркал ногами (как на лыжах) и издал тот воркующий горловой звук, которому научился у крестьян-охотников:

— Ыг-г-э...

Рассмеялся.

Что такое волки в сравнении с казаками, и разве можно измерить теперешнее положение былыми опасностями в тайге на охоте?

Он шел, запрокинув, как всегда, голову, но ноздри его необычайно трепетали и глаза отсвечивали в темноте.

Кругом было немо по-ночному, только бесприютное где-то звенело перекасти-поле, да ветер посвистывал у самого уха. Вскоре из-за голого степного холма

показались далекие огни. Но ни единого звука не доносилось со станции.

Если там были враги, то почему же вокруг все обычно и не слышно даже тех шумов, которые сопровождают военному лагерю?

Внезапно до слуха Мартынова донеслось конское ржанье. Он приостановился. Буйною хмелю застучало сердце. Теперь он крался, стараясь держаться низины. Мускулы его ног напряглись, но грудь дышала вольно, и в голове, притупляя слух, горячо бились мысли... Мысли были о городе, о Черноголовом, о победоносных толпах рабочих и о Зине Кудрявцевой—среди них. И совсем как наяву за спиной своей Мартын слышал ликующие песни освобождения. Незримые нити тянулись от него, Мартына, к друзьям его, от этой вот страшной минуты в степи—к большим годам счастья, к будущему, еще не измеренному, к светлым, еще не исхоженным дорогам.

Что такое жизнь, если она не согревает изумленного сердца? И к чему эти долгие дни размеренного желания, если голова в бурьяне, а кровь в плесени? Если нельзя одним прыжком разорвать стеклянный день, раздуть тихие солнечные угревы в пожарище, сложить из обычных и терпеливых слов труда безумный призыв к подвигу?

Мартын давно уже, с самых юных лет, втайне думал, что пришел он на землю не за тем только, чтобы взять свою скромную дань от жизни. Он знал, что, рано или поздно, час его пробьет, и—все вокруг поймут, наконец, какая необычайная жизнь сгорела

на их глазах... Он не представлял себе иного конца: жизнь его должна стореть! Он начал сознавать себя на гребне каких-то прекрасных и мрачных событий, еще когда томился ребенком в огромных барских залах, под кровом загадочного человека, того, чья голова походила на голову медведя. Еще тогда вся эта толпа слуг и служанок следила за ним, ребенком, по особому, со стороны, как за необычайным для них, ни на что не похожим явлением. И там, в рыбацьем поселке, окруженный тайною матери, он был как в гостях...

Мартын не представлял себе, что и как сделает он, если и впрямь на станции окажутся враги. Но он уже не колебался. Он знал, что сделает многое, и не напрасно. И он рисовал себе, какой восторг охватит его друзей при первой о нем вести. Нет, эти банды не унесут ног; кровь, ими пролитая, окажется динамитом в его, Мартына, руках.

Обрывки горячего, захлебывающегося бреда томили Мартына.

Вот он подкрадывается к вражьему пулемету, набрасывается на стража и обращает смертоносный огонь против сонного царства казачества. Вот он, неузнанный, входит в штаб, отводит в сторону генерала, всаживает в него пулю, выбегает на платформу, стреляет в воздух и кричит: «Спасайся, кто может!» Вот он... Но нет! Все это—риск, действовать же не изверняка он, Мартын, не может.

Голова его болит, ночь укладывается у ног послушным чернобурым котенком, ветер гудит по степи сигнальными трубами.

показались далекие огни. Но ни единого звука не доносилось со станции.

Если там были враги, то почему же вокруг все обычно и не слышно даже тех шумов, которые сопутствуют военному лагерю?

Внезапно до слуха Мартынова донеслось конское ржанье. Он приостановился. Буйною хмелю застучало сердце. Теперь он крался, стараясь держаться низины. Мускулы его ног напряглись, но грудь дышала вольно, и в голове, притупляя слух, горячо бились мысли... Мысли были о городе, о Черноголовом, о победоносных толпах рабочих и о Зпне Кудрявцевой—среди них. И совсем как наяву за спиной своей Мартын слышал ликующие песни освобождения. Незримые нити тянулись от него, Мартына, к друзьям его, от этой вот страшной минуты в степи—к большим годам счастья, к будущему, еще не измеренному, к светлым, еще не исхоженным дорогам.

Что такое жизнь, если она не согревает изумленного сердца? И к чему эти долгие дни размеренного желания, если голова в бурьяне, а кровь в плесени? Если нельзя одним прыжком разорвать стеклянный день, раздуть тихие солнечные угревы в пожарище, сложить из обычных и терпеливых слов труда безумный призыв к подвигу?

Мартын давно уже, с самых юных лет, втайне думал, что пришел он на землю не за тем только, чтобы взять свою скромную дань от жизни. Он знал, что, рано или поздно, час его пробьет, и—все вокруг поймут, наконец, какая необычайная жизнь сгорела

на их глазах... Он не представлял себе иного конца: жизнь его должна сгореть! Он начал сознавать себя на гребне каких-то прекрасных и мрачных событий. еще когда томился ребенком в огромных барских залах, под кровом загадочного человека, того, чья голова походила на голову медведя. Еще тогда вся эта толпа слуг и служанок следила за ним, ребенком, по особому, со стороны, как за необычайным для них, ни на что не похожим явлением. И там, в рыбацком поселке, окруженный тайною матери, он был как в гостях...

Мартын не представлял себе, что и как сделает он, если и впрямь на станции окажутся враги. Но он уже не колебался. Он знал, что сделает многое, и не напрасно. И он рисовал себе, какой восторг охватит его друзей при первой о нем вести. Нет, эти банды не унесут ног; кровь, ими пролитая, окажется динамитом в его, Мартына, руках.

Обрывки горячего, захлебывающегося бреда томил Мартына.

Вот он подкрадывается к вражьему пулемету, забрасывается на стража и обращает смертоносный огонь против сонного царства казачества. Вот он, неузнанный, входит в штаб, отводит в сторону генерала, всаживает в него пулю, выбегает на платформу, стреляет в воздух и кричит: «Спасайся, кто может!» Вот он... Но нет! Все это—риск, действовать же не наверняка он, Мартын, не может.

Голова его болит, ночь укладывается у ног послушным чернобурым котенком, ветер гудит по степи сигнальными трубами.

Да, он знает, что ему делать! Он пройдет, как тень, к эшелонам врага, отыщет там горячий, под парами, паровоз (утром банды двинулись на юг, к фронту). Проникнет на паровоз, в будку машиниста, пробудит, зажжет сознание старого рабочего и на утро, в пути, вместе с ним взлетит на воздух. Но вместе с паровозом разлетится прахом и весь вражий эшелон,—люди, артиллерия, снаряды...

Так, околдованный жаркими видениями, Мартын незаметно для себя оказался у самой станции, перед стенами длинного бревенчатого барака. Отсюда он слышал погромыхивание вагонных цепей, чьи-то выкрики и тот ровный, глухой шум, который обычно наполняет людные вокзалы. Пахло жженым углем, маслом, ржавым железом. У ног своих Мартын нащупал в беспорядке сваленные рельсы и какие-то полуразрушенные части паровоза; все это заросло бурьяном, стыло в ночи и наполняло воздух острою гнилью давно заброшенного железа.

И вдруг прозвучал высокий, зычный голос:

— Эй, бисова твоя душа, куда захилился? Товарищ Шеповалов кличит...

В ответ, совсем близко, рассыпался молодой смех.

— А лях его возьми, твоего Шеповалова! Нешто не видишь—с кралей я...

Люди некоторое время переругивались; их голоса постепенно утасли за углом барака.

Мартын вышел из своей засады. Переход от напряженного ожидания к полному покою разрядился у

него нервным смехом. Он увидел за вагоном человека и закричал ему:

— Эй, э-эй!..

Человек, справлявший свою нужду, неторопливо одернул рубаху, сделал шаг вперед, спросил:

— Чего орешь?..

...Туляков стоял у своего вагона, под ветром. Вокруг было попрежнему глухо. Из вагонов никто не решался вылезть, так как был страх, что паровоз может двинуться каждую минуту. Но минуты текли, а семафор оставался закрытым. Один за другим вспыхивали вдали огни. Доносился рваный собачий лай. Степь темнела, дичала. Женщинам, выглядывавшим из вагонов, чудилось, что из темноты вот-вот откроют стрельбу. А тут еще это ничем необъяснимое поведение коменданта: Баймаков пошел вперед, на разведку, и не подавал о себе вести.

— Свинство!—говорил Уткин Аристову, прохаживаясь с ним вдоль вагонов.—Ушел и—никаких!..

— Мальчишка!—откликнулся утрюмо Аристов.—Залез в буфет и попивает чаишко! Очень мы ему нужны...

Из вагонов слышались тревожные голоса:

— Скоро, товарищи, едем?..

В небе пылал звездный костер, на земле становилось чернее, а ветер—крепче, назойливее. Подростки, выпрыгнув на насыпь, присаживались на карачки и боязливо поглядывали то в сторону черной степи, то на свой вагон—не тронулся бы.

Наконец Уткин потерял терпение.

— Безобразие! — произнес он громко и жалобно, тиская в руках полы своей накидки.

Его услышали и поддержали женщины. Они ненавидели Уткина всю дорогу, видя в нем существо более слабое и еще более напуганное, чем они сами. Но тут, волнуясь, они готовы были итти рука об руку с кем угодно, лишь бы не молчать, не томиться в одиночку страхами.

Добрынин, заведующий наробразом, человек тяжелый, грузный, оплывающий, прошел в степь, огляделся, послушал и решил, что поезду ничего не грозит. Он постоял, достал портсигар, но закурить не решился. Скомкав папиросу, пошел к своему вагону. Его жена, Любочка, стояла под насыпью, с грудным ребенком на руках. Она была много моложе Добрынина. Сошлась с ним по влечению к иному, загадочному для нее миру, и до сих пор каждое мужнино слово, слово старого революционера, было для нее откровением (ведь она всего лишь народная учительница).

— Ну, чего вытаращилась? — проворчал Добрынин, подходя к молодой женщине вплотную. — С вашей особой ровно ничего не случится... Все в порядке!..

Недвижные ресницы Любочки взмокли.

— Еня! — произнесла она едва слышно. — Еня, если ты... если я... если я тебя компрометирую, перебирысь в другой вагон!..

— А поумнее чего-нибудь не скажешь?..

Он полез за новой папиросой.

Пожилая женщина Анфиса Семеновна, подруга губпродкома Синицына, высунув из вагона тяжелый,

круглый живот (она ходила беременной чуть не ежегодно), с нетерпением поглядывала на Добрыниных.

Добрынин заметил, махнув ей рукой:

— Все благополучно...

Анфиса Семеновна показала ему язык и отвернулась в вагон:

— Милые! Все благополучно...

В сумрачном вагоне, освещенном копилкою, исполошенно возились пассажиры. Одна натягивала на белобрысую и бледную девочку пальтецо, та рвалась к выходу, мать шлепала ее в спину. Старуха в ярком пестром сарафане стояла на коленях и рывками укладывала на простыню юбки, кофточки, платки, корбочки из-под чая и еще что-то, что непослушно сползало на пол. Она всхлипывала. Чей-то встревоженный голос метался по вагону:

— Марья Петровна! Симочка! Где же мои башмаки? Груня! Ты не видала моих башмаков?..

Услышав спокойный басовитый голос Анфисы Семеновны, женщины побросали свое тряпье.

— Благополучно?.. Так что же они среди поля стали, людей беспокоят?..

Анфиса Семеновна дернула за рукав старуху, уклонившуюся в узел.

— Брось, бабушка! Ничего такого...

Старуха вслушалась, закрестилась, но всхлипывать не перестала.

— Милуются!— сказала Анфиса Семеновна и мотнула наружу черноволосою, приглаженною и прималенной головой.— Голубочки!..

Та, которая искала свои башмаки, высунулась за

дверь, взгляделась в темноту, горько фыркнула и, шлепая босыми ногами, пошла в угол.

— Это что же такое?—заговорила она высоким крученым голосом.—Нашим мужикам в огне-полыме кипеть, а этому борову с молодницей кататься? Да пусть он к нам на глаза не показывается... со шлюхой со своей! Да я ему всю рожу расцарапаю... Да я и кутенка их отсюда выброшу!..

— Потише, потише, товарищ!—подавал кто-то с нар голос.—Нельзя этак... Ему же разрешили!..

— Кто ему разрешил?..

— Кому полагается, тот и разрешил! Видите сами, не молоденький... И заслуги у него... Школами управляет... А жена его вовсе даже не при чем!..

— Да ты почто в заступницы-то лезешь?—вскинулась к нарам старуха.—Ай кумою доводишься?..

Голова у нее дрожала, ревматические, в шишках, пальцы беспомощно цеплялись за нары.

В вагоне стало шумно. Неожиданно снаружи послышался охрипший, но ярый голос Уткина:

— Спокойствие! Сейчас двинемся...

И почти вслед паровоз рывкнул, буфера залязгали. Поезд тихонько, ошупью, то и дело спотыкаясь и дергая, двинулся к станции.

Станция оказалась огромною. Она вся была загромождена вагонами. Одни из них были полны пеньки и хлеба, в других копошились люди. Одинокий паровоз маневрировал где-то в темноте, толкал вагоны; буфера лязгали, звенели цепи.

Двери станционного здания то и дело поеизгивали и шлепали со звоном. Стекла в просторных окнах

были потны, незрячи. Тени, ломаясь, осеняли изнутри матовые квадраты окон. Под длинным и узким навесом, идущим вдоль всего перрона, тускло светили три лампочки.

На вновь прибывший эшелон никто не обратил внимания. Женщины, выглядывавшие из вагонов, не знали, что с собою делать.

Наконец к паровозу прошел человек, судя по осанке, начальник станции. Его сопровождали двое путевых рабочих и еще кто-то, ростом на целую голову выше других. Аристов, стоявший у двери своего вагона, узнал Баймакова.

Все четверо там, у паровоза, спорили, переругивались. Вокруг собралась куча людей. Вдруг паровоз, отделившись от вагонов, поплыл вперед.

— Нас в тупик!—кричал Уткин, пробегая вдоль вагонов.—Не вылезайте! Нас в тупик.

Мартын и Туляков прошли вслед за комендантом станции в дежурную.

Здесь пахло густым людским потом, но людей не было.

— Полчаса назад на Острожок... путь был свободен!—заговорил комендант, становясь у стола.—Однако ручаться нельзя!

У него было бритое оранжеее лицо с забухшими от бессонницы глазами.

— А в городе, товарищ, как?..

— С городом никак! Никакой связи...

— Провианту мы здесь найдем?—спросил Мартын, отступая от стола.

— Кое-что в селении!..—отвечал комендант, уста-

лым, привычным жестом руки делая под козырек.—А что новенького слышно из Москвы?

— Да мы, товарищ, сами ничего не знаем!..—проговорил Туляков и подался к столу.—Еще вопрос!—сказал он, склонившись к коменданту.—Можем мы повернуть наш паровоз и держать его на магистрали?..

— Паровоз, или весь состав?..

— Хотя бы паровоз... со служебным при нем вагоном?..

— Можно... Да вы не беспокойтесь... Пока все тихо... Во всяком случае, до утра ничего особого ожидать нельзя!..

— Охрана на станции есть?—поинтересовался Мартын.

Комендант махнул рукой.

— Я просил бы повернуть паровоз теперь же...—снова, но уже решительно сказал Туляков.—У нас там, понимаете ли, ценности!..

— Как угодно... Повернем!..

Тут комендант, прикрыв ладошкой рот, шумно позевнул.

— Вторую ночь без сна...—проговорил он сипло.—Придется, как-никак, прилечь!..

— Для чего тебе паровоз?—заговорил Мартын, выйдя с Туляковым на перрон.

Туляков сухо откликнулся:

— Я отвечаю за вверенную мне казну и должен принять меры!..

Они шли по перрону. Ночь катилась над станцией звездными волнами. Свежело.

— Значит, будешь стоять под парами?—спросил Мартын с нескрываемым пренебрежением в голосе.

— Мартын!—Туляков остановился.—Ты это, пожалуйста, брось! Понял?—Помолчав, он, как бы про себя, сказал:—Есть ли тут исполком и прочее?.. Надо бы сходить в поселок...

Мартын махнул рукою и пошел отыскивать свой эшелон. У вагонов кое-где светились костры. Под их багровым пламенем женщины устраивались на ночь, готовили ужин. Мартын подошел к одному из костров. Тут разместилась целая семья. Древний старик с лысиной, отсвечивающей кровью, стоял у огня и железным прутом помешивал угли. Полная женщина в пестром капоте, придерживая рукой груди, держала над огнем с помощью рогачика большую сковородку. На сковородке урчало и потрескивало. Вокруг устроились подростки с накинутыми на плечи жакетами. Крошечная девочка, с черными провалившимися щеками, жадно поглядывала на сковородку, всасывала губами слюну, говорила:

— Маруся, смотри, подгорит! Да подгорит же тебе говорят...

Заметив Баймакова, все повернули к нему головы.

— Ну как, товарищ комендант?—спросил старик.

— Ничего!—ответил Мартын, готовясь идти дальше.—Все в порядке!..

У следующего костра он застал Уткина. Сняв свою крылатку, Уткин накидывал ее на плечи Любочки Добрыниной, та не хотела принять. В руке она держала столовую ложку; капли коричневой жижи стекали с ложки в чайник.

— Ах, да оставьте вы, пожалуйста! Мне и так жарко...

Добрынина не было. Зато были тут все остальные: и жена губпродкома Анфиса Семеновна, и ее подруга в кацавейке, и та самая старуха, которая при остановке среди степи поезда так зло говорила о заведующем наробразом.

На лицах женщин теплилось довольство, будто после грозовой бури добрались они наконец в тихие, укромные и безопасные места.

Мартын шел дальше. Эти люди, с их птичьей успокоенностью, шуточками и смехом, снова начали раздражать его. Он круто свернул со шпал и направился в сторону светящихся вдаль огней. За луговиной лежал поселок. Его единственная улица погружена была в сон, но кое-где еще мерцали окна, а у ворот большого кирпичного дома торчала человеческая фигура. При приближении Мартына фигура скользнула в калитку, щеколда звякнула, в глубине двора залаяли собаки.

— Эй, кто там?—крикнул Мартын, подходя ближе.

— А чего надо?—откликнулся за калиткой мужской голос.

Голос этот поразил Мартына: в нем слышались страх и злоба, и в то же время был он необыкновенно певуч и светел.

— Далеко ли до совета?—спросил возможно мягче Мартын.

— А ты кто такой будешь?—снова пропели за калиткой.

Мартын помолчал, не зная, что отвечать. Калитка

полуоткрылась, в нее боком пролез человек. Огромные глаза его даже в потемках поблескивали. Человек был в исподнем, с его плеч до самой земли спускалась овчинная шуба.

— Ты кто такой?—переспросил он, держась одной рукой за калитку.

— Я, дядя, проезжий! А до совета у меня дело.

— Какое?

Этот неожиданный вопрос озадачил Мартына.

— А ты укажи-ка лучше, где он, совет ваш!—откликнулся Мартын.—Болтать мне некогда!..

Человек закашлял, сплюнул, отер рукавом бороду.

— Чудак!—пропел он.—Кто же в ночь-полночь по делам шатается?—И, помолчав, добавил:—Никого нету тепереча в совете... Да ты кто сам-то?..

Мартын объяснил. Человек покачал головою.

— Так, так... Зря подались сюда!—сказал он, на этот раз без страха и злости.

— Почему же?

— Потому!..

И приблизившись к самой груди Мартына, человек негромко заговорил:

— С часу на час казака ждем... У нас молодые ребята, какие были, в степя с отрядом подались. Отряд тут стоял товарища Беспалова! Стышал, может? Из матросов сам, с Невы-реки...

— А ты кто же будешь, товарищ?

— Я-то?—Человек снова взялся за калитку.—Я из простых, по мужичьему делу сижу... А что до моей должности, то она на меня вроде как по обязательству наложена... всем миром!..

Мартын не понял, но человек сунулся в калитку, калитка скрипнула, загремел засов.

Мартын постоял, послушал и пошел назад к станции. Но, пройдя за околицу, он неожиданно для себя повернул в сторону, попал к обрыву с шумящей на дне речонкой, обогнул овраг и вышел в степь. Впереди, между небом и степью, на много верст залегла черная немота. И само небо, трепетавшее холодным синим жаром, было немо, угрюмо и загадочно. Мартын шел осторожно, цепко вглядываясь перед собою. Кругом ни души, ни звука, ни шороха. Лишь в одном месте, при повороте от холмика к перелеску, Мартыну почудился глухой шум, похожий на шум обвала. Горячая волна возбуждения охватила его, он поник на колени и напряг слух. Но в следующий момент рассмеялся.

«Быть бы тебе, Мартын, следопытом!»

И, взглянув на себя со стороны, с изумлением узнал в себе в эту минуту волжского отрока, крадущегося ночью кустарником, к страшной молебне старца-удавленника: было такое.

За поселком, у самых жигулевских лесов, стояла древняя часовенка староверья. Она была заброшена. Кто-то из стариков, будучи разбит на всенародном споре о вере, просидел у кивотов до ночи, а ночью повесился. С тех пор не только в поздний вечерний час, но и при ярком солнце обходили молебню за версту. Во вторую летнюю побывку Мартына у отца (он тогда учился в городе) парни, чествуя за околицей перед красавицами, порешили биться на смелость: кто проберется ночью в молебню и засветит свечу

там. Вызвался Мартын, и не из-за девичьих ласковых глаз, а единственно потому, что, представив себя ночью в молельне, сжался весь от жути и разошелся на себя за это.

Он в ту пору уже много перечитал запретного, охладел к старым священным книгам деда и ни в бога, ни в чорта не верил. Но вот когда, в положенный час, отделившись от толпы молодежи, зашагал он в темноту, навстречу стародавним тайнам, сердце его немо запрыгало. Он шел в корявом уша-стом кустарнике, старался не оглядываться и думал о том, что человек—господин среди мертвых вещей. Но подстерегающая темнота, молчание леса и множество переслушанных в детстве страшных рассказ-ней, вдруг теперь зазвучавших в мозгу, связывали невидимыми нитями волю. Хотелось беззаботно за-кричать, а сил не было. Ухо ловило каждый шлепок ветки. Роса на листьях была студена и обжигала руки. Травы упруго, как живые, ворочались под по-дошвою. На прогалине стало легче, но, сделав не-сколько шагов, Мартын почувал себя тут, на открытом месте, совсем беззащитным: весь на виду, один на один с враждебно затаившейся ночью. Чтобы под-бодрить себя, Мартын начал смеяться над своим страхом, но от этого голого смеха стало еще хуже; тогда, обозлившись на себя и людей (стояли теперь оравой за околицей и жадно ожидали), он закусил губы и в несколько прыжков достиг лесной опушки. Участь молельни была решена.

В поселке ударили в набат. Но, разглядев в по-лыме старую, всем опротивевшую часовню, оставили

колокол в покое. А наутро, завтракая, отец, плечистый, желтобородый, с глубокими бороздами в темном лице, но все еще удивительный своей особой дикой красотой, долго и мрачно глядел на Мартына. Наглядевшись, сказал:

— В затеях ты—мать, а вершишь—по-мому!

Это походило на одобрение, кажется, единственное, когда-либо слышанное Мартыном от отца.

С тех пор прошла целая жизнь, а он, Мартын, все тот же.

Как будто между черною ночью в Жигулях и этой не было многих лет, не было Маркса, над которым просиживал Мартын долгие дни, не было революции. И как тогда, столкнувшись с мрачною ночью Жигулей, готов был Мартын одним безумным напряжением воли смять все препятствия, так и теперь вдруг захолодел он весь от ненависти к тайне этой степи.

Поискав глазами огней и не найдя их, он пошел наобум, скорым шагом, путаясь в травах, к станции.

Он почти бежал, не стоня с губ едкой улыбки. Он улыбался над собою, над пустячными своими затеями и думал, что лучшею наградою ему за эти его затеи могла бы оказаться какая-нибудь неожиданная беда.

Наконец прямо перед ним всплыли из пустой темноты и смутно вычертились в остуженном и ярком от звезд небе силуэты станционных зданий. Поблещивший, тонкий свет фонаря мелькнул где-то за осмуглевшими вагонами.

Обогнув главное здание, Мартын ступил на ас-



фалат и недалеко от себя увидев паровое и вагон при нем. Паровое стояло лицом к далекому городу и бесшумно дымил.

«А Туляков не зевает!» — подумал Мартын и тут же решил: завтра с утра он подымает на ноги все живые силы, какие найдутся на станции. Надо организовать охрану, а если возможно то и разведку. Нельзя же, в самом деле, сидеть тут, сложа руки!

Чьи-то торопливые шаги по перрону привлекли внимание Мартына. Он оглянулся. Вдали послышались звоны дверей, грохот падающего железа и шаркающий топот ног. Вслед за тем все это смолкло и кто-то на-за амбаров хлестко закричал:

— Шеповалов!..

Мартын оказался лицом к лицу с Туляковым.

По тому, как прерывисто дышал Туляков, и по осунувшемуся его голосу Мартын почувствовал тревогу.

— Где ты, чорт воьми, пропадал? — заговорил Туляков, подхватывая Мартына под руку и таща его за собою. — В телеграфной только что сообщили... На нас идут казаки!... Если мы...

Он не закончил, замер на месте, крепко сжав локоть Мартына.

— Вот!.. Мы опоздали...

И тут Мартын услышал гул, похожий на тяжкий железный стон приближающегося поезда.

Туляков бросился к паровозу.

IX

В этих местах, по черноземью, осень подкрадывается незаметно. Вдруг как бы что-то сдвинется

фальт и невдалеке от себя увидел паровоз и пагон при нем. Паровоз стоял лицом к далекому городу и бесшумно дымил.

«А Туляков не зевает!»—подумал Мартын и тут же решил: завтра с утра он подымает на ноги все живые силы, какие найдутся на станции. Надо организовать охрану, а если возможно, то и разведку. Нельзя же, в самом деле, сидеть тут, сложа руки!

Чьи-то торопливые шаги по перрону привлекли внимание Мартына. Он оглянулся. Вдали послышались звоны дверей, грохот падающего железа и шаркающий топот ног. Вслед за тем все это смолкло, и кто-то из-за амбаров хлестко закричал:

— Шеповалов!..

Мартын оказался лицом к лицу с Туляковым.

По тому, как прерывисто дышал Туляков, и по осунувшемуся его голосу Мартын почувствовал тревогу.

— Где ты, чорт возьми, пропадал?—заговорил Туляков, подхватывая Мартына под руку и таща его за собою.—В телеграфной только что сообщили... На нас идут казаки!... Если мы...

Он не закончил, замер на месте, крепко сжав локоть Мартына.

— Вот!.. Мы опоздали...

И тут Мартын услышал гул, похожий на тяжкий железный стон приближающегося поезда.

Туляков бросился к паровозу.

IX

В этих местах, по черноземью, осень подкрадывается незаметно. Вдруг как бы что-то сдвинется

в природе, и тогда воздух над городом становится прохладным и ясным, а за полями с утра до сумерек тревожно мерцают дали. До слякоти и дождей еще далеко, но по ночам в лунных просторах уже бродят сырые, хмурые тучи, и там, где долголетние липы свисают грузными ветвями к воротам, всю ночь слышатся тоскливые старушечьи стоны.

С тех пор как поезд с эвакуируемыми выбрался из города, прошло не более недели, и еще не все семьи возвратились домой, и не было самого Мартына, а над городом уже заосенело, в студеных розах расцвели утренние зори, заречные степи дышали на закатах сизыми туманами.

Уныл и печален был в эти дни монастырский звон. Он навевал думы о долгих осенних вечерах, о душных залах с наглухо закрытыми окнами, о вонючих коридорах, о тараканьем запечье. И, возвращаясь к себе в сумерках с работы, Зина Кудрявцева всякий раз с раздражением думала о том, как темна старая Россия, верующая в колокола и молитвы.

Только она, Зина, в свои девятнадцать лет успевала замечать перемены в природе: и то, что делается за городом в степях, и то, каким стало над городом небо. Другие же все, от исполкомского курьера до Черноголового, не интересовались вовсе, идет ли на улицах дождь, или светит солнце. Они все жили под властью особой стихии, и у этой стихии было свое солнце и свои времена года. Только-что в исполкоме праздновали освобождение от генеральских банд, и эти дни были более прекрасными, чем цветущий май в степях. Но вот донесения с фронта опять

стали тревожными, и уже не было мая, задувало в сердце сквозняком, и мысли жалили остро и зло, как осы по осени.

Больше всего хлопот и забот было у губпродкомиссара Синицына. Городские закрома стояли пустыми, в деревнях продолжалась бестолочь, хлеб собирался туго, нехватало сил, чтобы подтолкнуть по-настоящему дело продовольственной разверстки. Синицын почти не показывался дома; жена его, Анфиса Семеновна, возвратившись из Липок, готовилась к родам; старший, Сергунька, хворал скарлатиной,—Синицын думал, что Анфиса Семеновна сумеет родить и без него, губпродкомиссара, а Сергуньке он, все равно, ничем не мог помочь, даже если бы и имел для того время.

Синицын дни и ночи просиживал в губпродкоме, и все, кто видел его там, понимали, что не было такой силы, которая оторвала бы его от этого бурного потока хлопот. Вылезал он из своего учреждения только за тем, чтобы навеститься к Черногловому. И чем труднее становилось с разверсткой, тем чаще посещал он кабинет предисполкома. Окружающие начали выражать неудовольствие—и Жданов из комхоза, и Губарев из профсовета, и Добрынин из наробраза, и сам предчека Лузгин—все они понемножку ворчали на Синицына: когда ни явишься к Михаилу Ивановичу, Синицын тут как тут со своими ведомостями, сводками, эстафетами. Только одна Зина Кудрявцева, самая молодая из молодых и оттого самая терпеливая, без воркотни ожидала своей очереди и в кабинете предисполкома, даже уступала ее губпродко-

миссару, и тут обнаруживала она мудрость не по летам.

В тот день, около четырех пополудни, зашла она к Михайлу Иванычу по делу, о мобилизации на продфронт. И, как почти всегда за последнюю неделю, застала здесь продкомиссара. Он стоял у кресла Черноголового, развернув на столе карту губернии, и с жаром рассказывал о маршрутах, только что им намеченных для отрядов. Зина присела в конце стола и, ожидая, любовалась Синицыным. Обычно корявое, невзрачное лицо его разгорелось буйною юностью, мышцы глаза его сверкали.

И—в самый ответственный момент, когда принялся Синицын доказывать необходимость широчайшей на этот раз мобилизации, у порога показался Мартын Баймаков.

— Можно?

Зина взглянула и, вспыхнув (вспыхнули у нее уши), приподнялась у стола. Михаил Иваныч закивал головой, и только Синицын, прерванный на полслове, горячими невидящими глазами смотрел на дверь, и пальцы его нетерпеливо прыгали по карте.

— Входи, Баймаков, входи!—говорил Михаил Иваныч, почему-то снимая очки и близоруко-туманно щурясь на Мартына.—Ну, как, что? Здоров?.. А тут всякие слухи были...

Он прервал себя, смешался.

— Будто бы болел ты и прочее...

Мартын неуклюже, точно связанный по рукам, опустился на стул, пробормотал что-то, захватил паль-

цами карандаш и, повертев им, снова встал на ноги. Голову—широкий чистый лоб с охапкою льняных волос над ним—он привычно откинул назад. Но теперь в этой манере не было и тени самоуверенности. И краска, залившая ему лицо до самых корней волос (как это знакомо Михаилу Ивановичу!), медленно сошла, сменившись бледно-землистым тоном. У Зины замерло сердце. Перед нею, не глядя на нее, стоял самый близкий, самый родной и... самый чужой ей сейчас человек.

— Здравствуй, Мартын!—не выдержав произнесла она.

— Здравствуйте, товарищи!—обращаясь к ним обоим—и к Зине, и к Сеницыну, откликнулся Баймаков негромко.

— Ты что—прямо с дороги?—спросил Черноголовый, поглядывая то на него, то на Сеницына.—Отдохнул бы... Впрочем, как хочешь... Я сейчас закончу!

— Мы уже закончили!—стараясь не глядеть на Мартына, откликнулся Сеницын.—То есть, мне кажется, что закончили... Ты ведь, Михаил Иванович, не возражаешь?.. Тут дело такое, что если фронт продвинется...

— Нет, не возражаю!—проговорил Черноголовый, вооружаясь снова очками.—Вот у Кудрявцевой и проект готов, наш, губкомовский! Мы тебя, Сеницын, опередили...

— О! Я не в обиде!—улыбнулся Сеницын, все еще ни разу не взглянув на Мартына.

— Еще бы тебе быть в обиде...

Зине казалось, что Михаил Иванович цепляется за

слова, за Синицына, медлит, как бы чего-то выжидая.

Мартын нетерпеливо заговорил:

— Я к вам с докладом о событиях в Липках... И попросил бы товарища Синицына задержаться на минутку... Мне очень важно, чтобы все вы слышали меня!..

Михаил Иванович пристально взглянул на него и медленно опустил голову, белую и радужную под солнечным лучом.

— Кое-что мы уже слышали... Может быть, ты отложил бы?...—неожиданно попросил он.

— Нет!—с испугом вскинулся Мартын.—Прошу вас всех! Это так для меня важно... Я так много пережил за это время!..

Он говорил о своем тяжелом настроении, о чести партийца, о необходимости высказать все, все... Но—заметно медлил приступить к делу. Он как бы со-бирался с мыслями. Глаза его, оттененные коричневыми кругами, разглядывали что-то над головою Синицына. Пальцы продолжали тянуться к карандашу: овладевали им, отбрасывали и снова овладевали.

Михаил Иванович взглянул на Синицына, потом на Зину. Мартын перенял этот взгляд, разгадал его.

— Да нет же, нет, Иванович!—воскликнул он, вдруг переходя на давно знакомое отчество Черноголового.—Товарищи должны остаться... У меня нет секретов ни от кого!..

Михаил Иванович остро улыбнулся.

— Только не волнуйся, Мартын! Когда человек волнуется, он не может быть справедливым ни к себе, ни к людям.

Ах, этот Черноголовый! Он так любит изрекать стереотипные фразы! Зина облегченно, коротко и скрыто, по-ребячьи, вздохнула: когда Черноголовый не в духе, он не говорит афоризмами.

— Я не волнуюсь! — откликнулся Мартын несколько раздраженно. — Я уже переволновался... до конца!

— Позволь не поверить тебе! — сказал Михаил Иванович, отнимая у Мартына карандаш и откладывая его в сторону. — Вижу! Садись и рассказывай.

Мартын заговорил, но все время останавливался на отдельных мелких фактах, казавшихся ему, очевидно, чрезвычайно важными. Михаил Иванович слушал, изредка поглядывая на Мартына из-под стекол. Синицын слушал исподтишка, погрузив глаза в карту, которую он совсем было свернул, но затем снова расправил на столе. А у Зины лицо было перепуганное и сконфуженное, брови ее то хмурились, то избирались вверх дугами. Она понимала, что слишком молода и партстажем, и жизненным опытом, чтобы иметь право оставаться тут строгою и холодною — в роли одного из судей. А кроме того, ей было нехорошо потому, что Мартын имел растерянный вид (она привыкла представлять его другим, невозмутимым, мужественным). И еще ей не нравилось, что Синицын возится со своей картой, а Черноголовый поглядывает на Мартына как-то со стороны. Зина отдала бы многое, чтобы видеть Мартына впервые после разлуки с глазу на глаз. Ей казалось, что после свидания с нею ему не пришлось бы так волноваться... сбиваться в расказе... унижать себя перед товарищами!

Михаил Иванович перебил Мартына:

— Лучше, если ты будешь кратким!.. Итак, когда вы с Туляковым слышали оружейные выстрелы...

— Нет!—в свою очередь перебил его Мартын.— Вначале это не походило на выстрелы... В том-то и штука. Если бы я сразу понял значение странного гула... Если бы я мог подумать...

Черноголовый снова перебил его.—Товарищ Баймаков должен отказаться от деталей и, особенно, от описания того, что и как он думал. Не надо терять времени!.. Ближе к делу, к самым событиям...

Мартын опустил голову. Речь идет о чести партияца, о всей вообще его судьбе, о всем будущем... Можно ли в таком случае требовать от него, чтобы он считался с временем? И что такое эти события? По существу говоря, не было никаких событий! Были мучительные моменты, нечто такое, что крепко-накрепко связано с глубокими внутренними переживаниями, может быть, с болезнью, с кошмарами... Нет, он не может оставаться бесстрастным протоколистом! Если только это необходимо, то пусть Михаил Иванович допросит Тулякова, красноармейцев, женщин, бывших свидетелями этого случая.

— Поверьте мне,—говорил Мартын,—здесь только отвратительное стечение обстоятельств!

За всеми этими сбивчивыми фразами Мартына начинало проступать что-то более скандальное, чем Черноголовый предполагал. Неужели,—думал он,—эти настойчивые разговоры, эти слухи, доходившие до него в последние дни, имеют под собою почву?

«В ту минуту,—писал Михаил Иванович несколькими часами позже в старой своей потрепанной тетради,—я

Начал понимать, что бедняга запутался безнадежно. Слушая его, я не жалел времени, но меня, как это ни странно, обескураживало присутствие двух товарищей. Они не были чужими, но тут такая история, о которой, по-человечески говоря, нельзя было слушать сразу же в официальной обстановке, да еще втроем! Я пытался отпустить свидетелей, но Мартын решительно противился. Он как бы даже считал за оскорбление возможность какой-либо с моей стороны потачки».

Привычку излагать на бумаге о пережитом Михаил Иванович приобрел в годы одиночества, тюрем, ссылок. Но почти всегда в записках своих он был лаконичен, и только особым его отношением к Мартыну объяснялась эта многоречивая запись. Он писал:

«Рассказывая нам о происшествии в Липках, Мартын, повидимому, пытался прежде всего раскрыть психологическую подоплеку своего поступка, но это ему не удавалось. И этому мешал я. Я не хотел и не мог допустить, чтобы его излияния тогда, в присутствии партийных работников, приняли характер истерики... Я знал, что он сам станет потом расканиваться. Кроме того, это не только не облегчило бы ему его состояния и не только не разъяснило бы самого дела, но окончательно сбilo бы с толку и его, и нас».

Обращаясь к Кудрявцевой, Черноголовый с учтивой улыбкой указал на Мартына:

— Ты понимаешь что-нибудь у этого хлопца?..

При обращении к ней, именно к ней, а не к Синицыну, сидевшему ближе, Зина смутилась. Ей вообще было не по себе. Она решительно не могла пе-

реносить жалкого вида у этого плечистого, рослого волжского богатыря.

Она сказала негромко, запинаясь:

— Мне кажется, что товарищу Баймакову надо сложить свой доклад хотя бы... до завтра!..

Мартын с хмурым упреком взглянул на нее, но Михаил Иванович, продолжая непринужденно улыбаться, поднял руку:

— Кудрявцева права! Молодость всегда права, а порою и более мудра, чем...

Он не подобрал конца для своего изречения. У Мартына в глазах выступили слезы, и все поняли, что это—от крайней горечи.

— Ты, пожалуйста, не подозревай чего-нибудь такого!—поспешил оправдаться Михаил Иванович.—У нас, видишь ты, неотложные дела... А твое дело уже пережито, и оно обождет до завтра... Иди, голубь, отдохни, сосни и прочее...

Мартын помолчал.

— Отлично!—воскликнул он.—Ты прав! Мое дело не настолько важно, чтобы в нем разбираться немедленно! Пока, товарищи...

И, не оглядываясь, вышел. На губах Михаила Ивановича стыла улыбка. Зина украдкой следила за дюжей спиной Мартына, пока тот не скрылся.

— На чем мы остановились, Синицын?..

Синицын сказал: «Мы кончили», и попробовал заговорить о Мартыне, начав с того, что жена, Анифиса Семеновна, недавно возвратившаяся из Липок, передавала ему об этом человеке такие вещи, что... Черноголовый резко прервал его:

— Оставь, Синицын! Мы имеем возможность слышать об этой истории из первых уст...

Выбежав из исполкома, Мартын крупным шагом направился вдоль улицы. Голова его, как всегда, была слегка запрокинута. Губы крепко сжаты. Глаза холодно и пристально вглядывались вдаль. Светило солнце в белесом сентябрьском небе, улицы были сухи и звонки, армейские кухни, проезжавшие стороной, слышны были на весь город.

Когда вслед за Мартыном ушел Синицын и наступила очередь Зины, Михаил Иванович пытливо заглянул ей в глаза, но ничего не сказал. Слушал он рассеянно и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Вдруг, прерывая беседу, взял он телефонную трубку.

— Может быть, окончим? — подымаясь, предложила Зина.

И он поспешил согласиться:

— Да, родненькая! Дело твое яснее ясного.

Зина направилась к выходу. Она шла сутуло, что было у нее всегда, когда чувствовала себя неловко. В коридорах, через которые только что прошагал Мартын, она встретила на себе глаза многих людей. Баймаков с холодным вызовом принял эти глаза, а Зина, неведомо почему, потупилась. И один из толкавшихся здесь пошел следом за нею. Она слышала позади себя шаги, но не оглядывалась, пока, наконец, ее не окликнули:

— Товарищ Кудрявцева! На одну минутку.

Она сразу узнала голос Клепикова и торопливо отпихнула дверь. Он настиг ее за порогом.

— Мне надо кое-что сказать тебе, Кудрявцева...

Она подняла голову и с нескрываемою брезгливостью взглянула на него.

— Отваливай, Клепиков... Но?!

Глядела на него, ожидая исполнения своего приказа, и медленно, от шен к подбородку и дальше—по смуглым овальным щекам ее—разливался жар. Вспыхнули, нахмурились серые ее глаза, и губы распались, показывая зло настороженные зубы. Клепиков решительно подался к ней.

— Какая ты... красавица, Зина!—проговорил он с неподдельным изумлением.

Как все, не владеющие собою, привыкшие удовлетворять свои желания во что бы то ни стало, он и тут готов был сделать все, чтобы еще раз попытаться завоевать расположение девушки. Он готов был пойти на любую уступку и даже унижение, лишь бы задержать ее подле, лишь бы пойти с нею, взять ее под руку, увести за город, в степь... теперь же, немедленно!

— Идем, Кудрявцева, у меня дело!

Он стоял на пути, как цепкий куст бурьяна: его надо было оттолкнуть, пригнуть к земле подошвою, или—обойти. И, не произнося ни слова, Зина повернула на мостовую, на ту сторону улицы. Клепиков колебался, но не выдержал, двинулся вслед. Он догнал ее у решетки сквера. Под ногами, на панели, шуршали пожелкнувшие листья клена; ветер, высвобождаясь из-под тенет все еще жаркого и нелегкого солнца, подхватывал листья, гнал их к чугунной решетке, укладывал вокруг стопками.

Слыша за собою Клепикова, Зина круто обернулась.

— Если ты не оставишь меня в покое...—начала она и запрокинула голову.

Кепка съехала у нее на затылок; волосы пушистыми прядями падали на круглый лоб; около рта образовались складочки. Как бы защищаясь, она подняла перед собою затасканный холщевый портфель.

— Ну, что тебе?

Клепиков сделал шаг дальше.

— Идем, Кудрявцева, у меня дело!

И когда, повинувшись безотчетной тревоге матери, у которой не все благополучно в семье, Зина пошла с ним рядом, он, не глядя на нее, заговорил воркующим и почти печальным голосом:

— Я хотел поделиться с тобою некоторыми своими впечатлениями... Только что встретил Баймакова. Этот товарищ внушал мне всегда глубокое чувство! Мне всегда казалось, что Баймаков—большой, незаурядный человек! Он еще очень молод, но его ум, искренность, воля уже теперь говорят о себе...

Голос Клепикова креп; на бледной его щеке, обращенной к Зине, заиграл румянец; в глазах, когда он заглядывал ей в лицо, светилось восхищение. Он продолжал:

— И этому человеку, Кудрявцева, сейчас, несомненно, грозит беда! Ты еще не знаешь всего, что стряслось с ним, но ты только послушай, о чем болтают вокруг его доброго имени... Ты только послушай!..

Она резко, не поднимая головы, откликнулась:

— Не слушала и слушать не буду!

— Ну да! Ну да!—подхватил Клепиков.—Я сам не придаю значения... Тем не менее, всяким сплетням имеется предел, а тут говорят старики, женщины, дети... все, кто был с ним тогда в злосчастном поезде!..

— И больше всех, конечно, товарищ Уткин и товарищ Аристов?.. Это я слышала...

— Да, и Аристов, и Уткин! Может быть, они—особенно усердно.

— Но ведь этот Уткин... Он же такой жалкий!..—не выдержав, заволновалась Зина.

— Больной и жалкий!—подтвердил он, незаметно усмехаясь.—Но его болезнь нисколько не мешает ему говорить о вещах самых ужасных...

Он замолчал, ожидая, косясь на нее.

— Мне кажется,—произнесла она негромко,—почему-то мне кажется, что в действительности ничего ужасного не было!..

Теперь она взглянула на него просто, но чуть-чуть с тревогой, готовая принять всякое новое его замечание, но не замечая его самого, как бы вовсе забыв о нем.

И по этому ее взгляду, безразличному и холодному, Клепиков понял, что не существует для нее, и что если она и говорит с ним, то вовсе не ради него.

Он потрогал языком изнутри щеку и поднял глаза.

— Понятие ужасного относительно для нас, марксистов! Что такое две-три раненых женщины? Од-

нако понятие чести, классовой, партийной, близко нам всем!..

Она насторожилась.

— То-есть?..

Он придержал свой шаг, заставил ее сделать то же и слегка склонился к ней. Теперь его бархатные глаза, казалось, отливали ворсом, зубы были в оскале.

— О, я не так глуп, товарищ Кудрявцева, как вы полагаете... Может быть, я даже умнее многих! Поняли?.. И все! И точка... Желаю наилучшего!..

Он приподнял фуражку, повернул назад. И только отойдя на некоторое расстояние, оглянулся, охватил фигуру девушки с ног до головы, замедлил шаг, еще оглянулся и выругался, щелкнув с досадой пальцами.

Зина почти бежала, раскрасневшаяся дотемна, с глазами более злыми, чем у Анфисы Семеновны, супруги губпродкомиссара, вечно недовольной жизнью.

Этот Клепиков, этот удивительный человек второй раз, безнаказанно для себя, коснулся ее и—как!..

Что же такое, в конце концов, представляет собой она? Этот вечер в исполкоме, на софе, когда Клепиков навсегда перестал быть для нее товарищем,— разве можно забыть это? Почему же теперь, после всего, что тогда позволил себе Клепиков, она слушала его, вникала в его слова, готова была верить ему! Правда, речь касалась Мартына (для Мартына она готова была терпеть). Но где же ее рассудок, где ее чутье, то самое, которое позволяет людям по одному самому легкому запаху отличать искренность от лицемерия... А ведь в этом Клепикове все

человеческое смердит! И она его слушала... Грубым, фальшивым напевом он подманул ее к себе, как глупую перепелку! Нет, ей следует решительно заняться собою. Такая, она не достойна ни партии, ни... его, Мартына!..

Но что же такое случилось с Мартыном? О чем говорил, на что намекал Клепиков? О какой чести разглагольствовал он (это он-то о чести!), и что вообще надо людям от Мартына? Почему, с какой стати перешептываются в коридорах? Неужели в том, что она слышала через третьих лиц, есть хоть какая-нибудь доля правды?

Она торопливо шла бульваром, не замечая окружающего и уже не думая о Клепикове. Все в ней сосредоточено было на Мартыне, и совсем маленькими, ничтожными казались ей личные ее горести.

Х

О наших героических годах расскажут в будущем, несомненно, много торжественного и чудесного. Но старики, участники этих лет, не узнают себя в песнях молодежи. Только немногие строфы, не удавшиеся поэтам, дойдут до старого сердца. И по этим незадачливым, серым строфам, зараженным воробыиной жадностью, только по ним припомнят старики давнюю свою явь. Припомнят свое маленькое человеческое горе и свои незабываемые надежды на счастье—простое, как праздничный ситец на плечах ребенка.

И не узнают, не узнают они себя на затейливых страницах истории. Разведут руками, как над неудав-

нимся насмешком, и обида смочит глаза их: отнята у старой памяти последняя вешка, принижено гордое сознание, обесчеловечено высокое терпение!

Ну, диво ли драться на баррикадах, если с парадною песнею? Если нет никаких сомнений, если зовы жизни перегорели? Если—вышел, как богатырь, решил, как математик, взглянул в глаза смерти, отдался ей и—победил?..

Земля безгрешная, населенная неподкупными рыцарями! Не ты ли поворачиваешь бока свои то на восток, к юному лицу, то на запад, во мрак вечерний? И не из миллиона ли семян, развеянных по тебе ветрами, только одно всходит и защищает себя до полной зрелости?.. Почему же не видят тебя, земля, какая ты есть? И почему вырывают тебя из-под ног героя? И почему украшают его, героя, бумажными розами, в руки ему вкладывают бестрепетный меч и сердце его, человеческое, подменивают львиным?..

Ах, эти поэты, питающиеся героями! Они не видят маленьких людей на большом деле и принижают это дело до своих многосильных героев. А между тем, юттого мы и богатыри, что—малые, что тянулись за нами проклятья прошлого, опутывали нас дурманом седые века, падали мы и—поднимались: за пятьсот лет жили одним днем и из всех смертных грехов не знали только одного—не оглядывались назад, как жена Лота.

Так, или почти так, думал Черноголовый, возвращаясь во втором часу ночи с заседания губкома. И почти так в потрепанную свою тетрадь записал

он, посмеиваясь над собою и ворочая в мозгу весь этот минувший день: фронтовая пехота, чекисты, люди от станка, люди от сохи и многие другие, большие и малые, босоногие, завистливые и жадные, как шакалы, более страшные, чем древние праведники.

Мобилизация на продфронт, осенняя, вторая в этом году, была решена.

Черноголовый еще спал (заснул он на заре), а Зина Кудрявцева уже металась в губкоме от телефона к телефону. И только к полудню, покончив с оповещением, вспомнила, что голодна 'до чорта, достала припрятанный кусок овсяного хлеба и опустилась в огромное мягкое кресло. Она проворно, 'до боли в челюстях, пережевывала этот кусок и не могла оторвать глаз от старого липового сада за открытыми дверями балкона. Пустая аллея, опрысканная яркими осенними листьями, походила на старую деву в румянах, в пудре, но над полуоголенными ветвями голубело молодое небо. Было что-то загадочное и тревожное в этой умирающей пестрой аллее и в этом беззаботном, неувядаемом небе. Зина подобрала с колен последние крошки, встала и еще раз начала проверять список мобилизованных. Кажется, никого не пропустила, позвонила всем. Но что делается с Мартыном, почему второй день не показывается он на люди, и почему Михаил Иванович вычеркнул его имя из списка?..

В дальних залах затянули «Дубинушку». Зина встала, прикрыла плотнее дверь, взялась снова за трубку телефона, чтобы позвонить к Черноголовому,

но вспомнила, что Михаил Иванович должен был по срочному делу выехать в уезд. Отложив трубку и не зная, что делать с собою в этот пустой, безлюдный час, она подошла к зеркалу. В холодном и сумрачном просторе встала высокая темная фигура девушки, с плечами, несмело округленными. Зина видела круглый и выпуклый свой лоб (он ей нравился) и глаза свои, наполненные стыдливостью (глаза ей не нравились: ей хотелось бы иметь суровые, пронзительные глаза). Отойдя к столу, к бумагам, она опять, помимо желания, принялась думать о Мартыне. Томительная тревога обволокла ее сердце и мысли липли, подобно кусачим осенним мухам. Как всегда, когда в чем-нибудь упрекала себя, она поднесла палец ко рту и прихватила его зубами. Но—палец занял, а сердце продолжало биться тревожно и часто. И она обрадовалась, когда в комнату вошел первый из мобилизованных. Он явился 'прежде всех, этот Упит, по-обычному хмурый, но вежливый в каждом своем движении. Он был белокур, его вьющиеся кудри опутывали широкий лоб, как спелый хмель белую стену. Молча присел человек этот у стола и вопросительно поднял свои необыкновенно свежие голубые глаза. И почему-то не сразу заговорила приготовившаяся к сухой и краткой беседе Кудрявцева.

— У меня в совнархозе дела!—произнес Упит.—
Зачем звала?..

Говорил он с акцентом, слегка картавя, и оттого казался большим ребенком.

Зина, взглядываясь в него, объяснила.

Упит опустил глаза, на бритых его щеках вспыхнул рваный, цвета клюквы, румянец. Зина знала, что за спиной Упита—жена, двое ребят, подросток-сестренка, а там, в уезде, его ожидают деревенские сполохи, бандитизм, быть может смерть.

— Сколько забрали?—спросил он, не подымая глаз.

— Пока—семнадцать!

Он помолчал.

— А губком о моем семействе информацию имеет?

— Да, Упит! Но что ты хочешь сказать?..

Он поднял голову и одно мгновение глядел на Кудрявцеву глазами подстреленного волка. Потом, поправив сползавшую на затылок фуражку, равнодушно спросил:

— Кому я должен сдать дела?

— По усмотрению вашей коллегии, товарищ!

— М-да... Придется сдать Клепикову.

У Зины холодно дрогнули глаза.

— Клепиков в числе мобилизованных!

Вдруг по истомленному лицу Упита разлилась улыбка, и Зина поняла, какими чудесными были когда-то у этого человека глаза.

— Хорошо, я еду!—проговорил он, протягивая Зине руку.—Упит всегда знал свои обязанности... Прощай!..

Едва он успел выйти, в кабинет влетел, хлопнув за собою дверь, Повалишин—из губздравотдела, тщедушный и-вертлявый, как белка, с очень высоким, покатым, как бы срезанным лбом и очень маленькими, девическими руками.

Он присел на кончик кресла и заговорил, поглядывая умными смеющимися глазками на сторону.

— Товарищи! Это же невозможно! На мне половина отдела! И мы только что начали разворачивать работу... Наконец еще не прошло и полгода, как я выбрался из уезда... Несправедливо, нецелесообразно, глупо!..

У Зиңы сузились глаза, и острые усмешливые завитушки ее губ распрямились, отчего рот ее вдруг состарился.

— Повалишин! В чем дело? Я еще ничего не сказала тебе...

— Знаю!—махнул он всюю розовою ручкой.—Все знаю, палач мой! Но надо же разбираться, товарищи! Ведь есть же у нас люди... совсем без дела?!..

— Повалишин!—остановила она его.—Губокому лучше знать, кто и что делает...

— Ой, знает ли?—вскочил он с кресла.—Если бы знал, то не отважился бы беспокоить занятых по горло... Да, да! Ты, пожалуйста, не гримасничай... Мы ведь тоже не лыком шиты и кое-что видим!..

— Товарищ!.. снова подняла она голос.—Брось ты свои разглагольствования... Это же в конце концов недостойно партийца...

Он взглянул на нее острыми, умными глазками и внезапно рассмеялся. И, не переставая смеяться, подбежал к креслу, присел, потер пальцами переносицу, сказал хлипким от смеха голосом:

— Значит, ехать? Ехать, ехать... Поехали—сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки...

— Над кем смеешься?—еще раз спросила его Зина.—Над собой?

— Над собой, Кудрявцева... Только над собой!..

И он выпрыгнул из кресла, забежал с друпой стороны стола, встал на цыпочки.

— Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду отцом... И, кажется, готов сбеситься от вашей затеи выкурить меня в столь критический для меня момент! Слушай, друг!—Он взобрался, присел на стол.—А нельзя ли, в самом деле, кем-нибудь подменить...а?.. Ты понимаешь, такие обстоятельства, такие необычные дела: здравотдел, жена, будущий ребенок!..

Он опять залился смешком, проворным и едким.

— Не ломай шута, Повалишин!—вышла из себя Зина.

— Я? Шута? Нисколько! У меня душа болит, Кудрявцева, и... трещит шкура!.. Я ведь шкурник, Кудрявцева! Этого-то вы, губкомовцы, не досмотрели... Хе-хе-хе... Что?..

— Довольно...

— Не желаете... терять... времени?..

— Не желаю терять... тебя!..

— Врешь! Если бы ты не желала, то сочувствовала бы... Ты что думаешь? Я ведь обязательно пропаду в этот раз! Я это очень хорошо знаю... И я зол, как бес... Зол на себя прежде всего! О, если бы в свое время Повалишин не покинул медицинского факультета, Кудрявцева не видела бы его теперь и—не командовала бы им! Понимаешь?—Он потряс рукою.—Жена моя тоже медичка... Жаль, что ты, Кудрявцева, не знаешь ее... Она беспартийная...

Но на меня, представь, совсем не похожа... Рвалась все время на фронт, в бой, в лазареты... Влюблена в красную звезду, и в меня, революционера... А я вот возьму и брошу, назло всем, вам, революцию... Заявлю кратко: «Не желаю быть мобилизованным!» И—капут... А рожу-то все же не корчь, Кудрявцева!..

— Опротивело слушать!

— А ты все же не корчь! Наберись терпения... Впрочем, чорт и леший с тобою!.. Когда выезжать, гражданка?..

— Послезавтра, Повалишин!

— О, еще целый день—целая вечность! Значит, беспрекословно, а?

Зина молча покусывала губы.

— А если наша коллегия всем сонмом, всем синклитом возбудит ходатайство?

— Что ж! Коллегия получит выговор, а ты все же поедешь.

— Кудрявцева! Когда ты успела научиться такому тону?..

— Повалишин! Когда ты отучишься от своего?..

Вдруг он сполз со стола и начал бегать от угла к углу, постепенно замедляя шаг. И совсем медленно подошел в последний раз к столу, протянул руку:

— Прощай, Марат в юбке!..

В глазах его светилась прозрачная детская печаль.

— Не сердись! Противился и буду противиться всякому заговору против моей божественной личности... Ибо я—потомственный почетный интеллигент... Существо высшее, сложное, лишенное слепых

инстинктов классового самосохранения... Запиши это у себя в альбоме!.. *Verba volant, scripta manent*...

Зина проводила его глазами до самого порога, и, как только скрылся он, чувство нестерпимой тревоги охватило ее.

Она склонилась, облокотившись на стол, к аппарату.

— Дайте чека! Дайте кабинет председателя. Лузгин, ты? Прости за беспокойство... Что слышно из уездов?..

Двос, ввалившись в кабинет, молчаливые, но шумные (гремели сапоги, хрипел кашель, скрипели кожаные) прервали ее беседу по телефону.

Оба, по очереди, протянули ей негнувшиеся наждачные руки, сняли, как по команде, фуражки и сели у стола, один против другого.

Были они в ветхих заржавленных кожухах; лица их, обветренные угольным жаром, казались тяжелыми и неповоротливыми. И неповоротливой была их улыбка.

— Ну, девка, излагай!—сказал один и подмигнул другому.—Зачем кликала?

Она начала объяснять, а они все улыбались, и улыбка их наливалась бесслезной растерянностью, застывала на лицах толчками, грядками.

Один был бритый, другой—в сивых космах, стремившихся потоками на грудь. Бритый, с непривычки к голому своему подбородку, гладил дрожащими пальцами кончик хрящеватого носа.

— Так!—сказал волосатый, вспотел и отвернулся.

— Такие-то дела!—проговорил бритый, роняя руку на край стола.

Зине стало тягостно. Странное ощущение неловкости заволокло ей язык. Преодолев себя, она сказала:

— Ничего, товарищи! Это — не надолго... Самое большое на полтора-два месяца!

Волосатый с недоумением вскинул на нее глаза, желтые, в темных крапинках.

— Чего? Вот чудачка! Да нам хоть на год... абы баб наших кормили бы!..

— А при бабах — ребят! — досказал бритый.

Зина облегченно улыбнулась.

— А как же иначе? — воскликнула она. — Ваши пайки останутся семьям... Обязательно!

Волосатый кивнул головою.

— Что полагается, то полагается! — сказал бритый и поднес к подбородку дрожащие пальцы. — Это мы знаем... — Он встал и опустил руку на стол. — Тут дело не в пайках... Жалованье как?

Зина обиделась.

— Товарищи! Это же язык торговли... Совестно!..

— Кому совестно, тот отвернись! — произнес бородач спокойно. — Заявку-то куда подавать?..

— О чем?

— Насчет жалованья!

Зина вспыхнула.

— Пора бы знать, что никаких заявок не требуется... Содержание во всех таких случаях остается за вами!..

— А ты не распадайся! — заметил бритый. — Мы — люди простые... Опять же долгов у нас за республикой много... Весною-то кто с Баймаковым по де-

рециям рыскал? Мы! Иван Байдученко да Петр Пятчиков... Забыла?..

— Позвольте, товарищи!—вскликнула Зина.—Да разве вы уже ходили по мобилизации?..

— И ходили, и сзидили, и на животях ползали!— Бритый снова подмигнул бородачу. — Все было... А как явились обратно, бабы нас—за это место: «Что ж вы, сукины сыны, обманывали? Мы тут за два месяца ни единой полушки не получили».

Бородач ухмыльнулся.

— Ну, это зря, Ваня... Не получили-то из-за фронта: подвоза кредиток не было!..

— Да вить и посейчас не получили!—огрызнулся бритый.

— Стой-постой! А намердись кто у кассы стоял?

— Так вить то за текущий месяц!..

— А не все ли едино за какой?..

— Позвольте, позвольте!—перебила их Зина.—Тут какое-то недоразумение... Раз вы подвергались мобилизации, можно было бы поискать...

Бритый сощурился.

— Ищи, не ищи—лучше не найдешь!—совсем весело сказал он.—Список-то кто составлял?..

— С утверждения губкома!

— Знаю, что губкома... А Михайло Иваныч при этом деле был?

— Был.

— То-то и есть! А Михайло Иваныч нас обоих, как облупленных знает... И никакого тебе недоразумения тут нету!

Бородач махнул рукой.

— Недоразумение! — проткнул он. — Михайло Иванович нам по имени отцу родня... Доверяет, вот и вписал!.. Поняла?..

— Губком, товарищи, всем партизанам доверяет...

— Всем-то всем, а кому на *особицу*! — наставительно заметил бритый. — А насчет жалования, так ты похрю-то не дери... Для порядку сказано... На *своих* на двоих отправимся, али конными?..

Зина не знала.

— Об этом, товарищи, в губпродкоме *сговоритесь*...

— С Синициным? — Бородач махнул рукою. — Значит, пешими!..

— Э, брось ты! — одернул его бритый. — Нашел о чем толковать... Нам только бы до первого селения довалиться...

— И то верно! Мужичок, товарищ Кудрявцева, как завидит нас, так в тую же минуту лошадей в упряжь: «Садись да кати с глаз долой!..»

Они переглянулись и захихикали, причем бритый закрыл пригоршней рот.

— Нас, товарищ, на трех тройках тыщу верст мчать будут, только бы по закромам не шарили...

— Это вот и есть... Ну, пошли, что ли?

— Пошли, Пятачок! Прощай, товарищ Кудрявцев! Гляди — насчет семей без обману чтобы...

— Космы повыдерем, ежели опять надуете...

И, туго улыбаясь, погромыхаявая тяжелыми подошвами, тронулись оба к выходу.

Но тот, кто никак не мог привыкнуть к голому своему подбородку и все ощупывал его пальцами, остановился.

— Кого во главе-то шлете?—придерживая за полу товарища, обернулся он к Зине.—Баймакова опять, али другого кого?..

Вопрос был задан деловым спокойным тоном, но Зина неожиданно для себя взволновалась.

— Не знаю, право!—проговорила она, кося глазами и краснея.—Кажется, Баймаков... болен, товарищи!..

— Да что ты!—подался вперед бородач.—Ай где «голодный» схватил?..

— Вот это худо!—откликнулся бритый.—С Баймаковым мы о ту пору шибко сладились... Парень такой: вроде как у огня стоишь—знай, с боку на бок поворачивайся!..

— Найдутся люди!—неопределенно заметила Зина.—Постарше сыщем... Ис опытом!..

— Хы!—ухмыльнулся бородатый.—Тут, товарищ, опыт короткий... Тут, главное, установка нужна... Чтобы человек двумя ногами на грунте держался, а не то чтобы—вкось... Мы вот с Ванюшкою на сорок лет от мамкиной титьки ушли, а не будь тогда с нами в отряде Баймакова, не миновать бы нам кулацких вил... Верно, Иван?..

— Э, что говорить!—махнул, отнимая от подбородка руку, бритый.—Я тебе, товарищ Кудрявцева, такой случай передам... Помнишь, Пятак, как мы с матросом в Нижней Ведуге по яичному делу крутились? Эге-ге! Такая могла быть нам спираль в задницу, что и ног своих не унесли бы... Только и спаслись, что через ухватку Баймакова!..

— Ладно, идем!—перебил его Петр Пятачок, бородатый.—У ней окромя нас дела есть.

— Нет, ничего! торопливо откликнулась Зина.— Всех дел не переделаешь! А Баймаков действительно хороший товарищ!

— Хороший?—опять ухмыльнулся бритый.—Не то что хороший, а если по-настоящему говорить, правильный человек!.. Об том, к примеру, случае... Матрос Пашка—балтийского флота кавалер, а ума в нем на куренка! Собрали это мы в Ведуге среди кулачья зерна из запасов, а ему—яиц подай... Яичное, конечно, место, и для лазарета яйцо—первое дело... Ну, он и пошел в обход!.. А об том, дьявол, не подумал, что нам с яичным делом и возиться-то не пристало... Вот ладно!.. Сидим это мы поздно вечером в избе предсельсовета и в ус не дуем... Только вдруг слышим—крик... Такой крик, вроде как свинью режут!.. Выскочили мы, а на улице—бабья метелица, а середь той метелицы наш балтийский кавалер вертится, орет, миноноскою в сутробы норовит... Мы, конечно, на помощь!.. Отбили дурака, а тут, глядь-поглядь, мужики летят... И откуда только взялись: видимо-невидимо и при вооружении обиходном... Ну, думаем, капут! Двенадцать нас душ и при винтовках, а как глянули—поджилки занули: избу нашу вроде как тучей охватило... Тут вот, понимаешь, Баймаков себя и оказал! «Эй,—кричит,—живо во двор, со двора в огороды!..—Это он нам.—Ждать меня у перелесья!..» Ну, мы, конечно, кувырком! Об нем у нас даже и мысли не было... А он, понимаешь, на улицу к мужикам и—пошел глотку драть, обхаживать... Он с ними поперек да вдоль, в прятки со смертью играет, а мы тем временем один за другим в огороды, с огородов—

в поле... Собрались у перелеска, ждем... А ночь на дворе!.. Пять минут прошло—нет Баймакова. Десять прошло—нет... Забрала тут нас совесть!..

— Тринадцать душ нас, а он как перст!—заметил Пятачок.—И ружьишко его в переполоте матросня стащил... В мирное-то время матрос, вишь ты, с бомбою хаживал!..

— Забрала нас совесть!..—продолжал бритый Иван.—И страшно, конечно, а совесть грызет... Друг на друга глядеть тошно... Об себе скажу: не рад был, что от мужиков спасся!..

— Совесть, она кусачая!—вставил Пятачок.

— Стоим мы, на манер овец у перелеска...—продолжал Иван бритый.—И уж промеж себя раздор заводим... Один на другого спирает, один другого попрекает... -

— Это всегда так!—снова не утерпел бородатый.—Семеро повинных одного безвинно-виноватого ищут... Волчья правда!..

— И уж совсем было тронулись мы к деревне, а тут глядь-поглядь... ах, ты... матери твоей красное яблочко! Сам наш Мартын Палыч, собственной своей персоной, шествует... Тут мы его и полюбили!..

— Правда, что ли, болен-то?—круто оборвав себя, спросил бритый.—В больнице лежит, али на дому?

У Зины влажные посверкивали глаза, и уж не было румянца на ее щеках. Бледная стояла перед Петром и Иваном, закинув за спину руки, полуоткрыв насторожившийся рот, готовая слушать рассказ, как самую удивительную песню. И вопрос бритого о болезни Мартына, о больнице не сразу дошел к ней.

— Нет, товарищи, не в больнице он...

Оба, бородатый и бритый, подозрительно взглянули на нее. Потом Петр Пятачок, как бы не замечая смущения Кудрявцевой, тронул свою сосулистую бороду, сказал:

— Ну-к что ж... Будем живы—увидимся!.. А бороду свою, Ванюшка, я того.. Ну, ее к идолу! Одно неудобство, особенно когда в отряде, при боевом положении...

— Да и бабе не за что будет уцепиться! Моя, вон, ручкою-то цап-царап, а мне хоть бы что: не то по лицу, не то по этому месту...

— Нет ей, значит, настоящего прикладу!..

И, переглянувшись, повернули, туго ступая к выходу...

— Прощай, товарищ Кудрявцева! Жди от нас подарку... калачом сдобным!..

Зина помахала им вслед рукою, и в эту минуту (еще погромыхивали на пороге тяжелые подошвы) требовательно и резко зазвонил телефон.

Думая о своем, устремив невидящий взор в окно, к старому саду, взяла она трубку.

— Слушаю...

Глаза ее мгновенно охолодели и сузились, и в смутности щек, словно из щипка, проступили алые пятна.

— Да—Кудрявцева... Что такое?..

Далекий голос, настроенный на низком и капризном тембре, бурлил в трубке.

Говорил Клепников.

Он не может, к сожалению, явиться лично, да в этом и нет особой надобности. Чрезвычайно серьез-

ные обстоятельства не позволяют ему отправиться в уезд по продовольственному делу... Он не отлынивает... О, нет! Это ему несвойственно, это не в его вообще характере, но... коллегия совнархоза единогласно против! Дело в том, что губвоенкомат, имея в виду приближающуюся зону военных действий, поручил губсовнархозу...

Зина не дослушала: впившись зубами в нижнюю губу и брезгливо подрагивая мускулами щек, она медленно, но крепко, — так когда-то в детстве душила пауков-крестовиков, — опустила, втиснула в рогатки телефонную трубку.

Дверь открылась.

— Прищепчик! Тебя-то мы и ждали...

Она говорила более непринужденно, чем обычно, но ресницы ее были влажны, и руки, как слепые, цеплялись за бумаги.

Тот, к кому она обратилась, подошел к самому столу, спокойный, тонко, одними глазами, улыбающийся, и во всем его обличи, в гордо поставленной голове, в невысоком, но круглом лбу, с выпуклостями повыше бровей, и в самом крепком размахе черных его бровей было что-то сильное, покоряющее бессловно.

— Готов, Кудрявцева! Но гляди, чтобы мы с тобой не суетились из-за маршрута...

Говорил он грубовато, упирая на «г», с какой-то простодушной насмешливостью.

— Я уж и от мастерских своих отхилился, но на север, к кацапам, не хочу!..

— Что за выражения, Прищепчик! Делаю тебе

предупреждение... А маршрут, сам знаешь, не от нас зависит...

— Ладно, дивчина! Я к слову. Сколько же пудов положено по этой разверстке?.. Не знаешь?.. Ой-ой, как не стыдно не знать этого! А еще секретарь губкома... Да после такого конфуза ты, просто-напросто, техсекретарь... Пятая спица в колеснице Черноголового! А где сам батько?..

Слушая его, Зина светлела, возвращалась к своим дневным заботам, к своему счастливому, обремененному тревогами, сердцу.

XI

Кудрявцева еще не знала толком истории в Липках, но уже угадывала, что над Мартыном стряслась там большая беда. Однако она не верила, не хотела верить, чтобы этот честный, мужественный человек так вот, без всяких к тому причин, оступился, пал. Она могла допустить это по отношению к другим... Но... Мартын, ее Мартын!..

Зина не могла забыть одного вечера, проведенного с Баймаковым в конце лета, перед отъездом его в уезды. Возвращались оба с общегородского партсобрания. Шли главной улицей, среди притихших тополей. Он заглянул в ночное небо,—небо было глубоким и синим, каким оно бывает только поздним летом—с звездами ласковыми, прохладными и чистыми.

— Пошляться бы, что ли?—сказал он дружелюбно.—Голова трещит от духоты...

И она охотно согласилась:

— А что ж! Идем к Яру.

Яр—это взлобок. Со стороны города высокая монастырская стена, и—ни звука оттуда, из города, а перед глазами—кровли по откосу, река и степь на десятки верст... Шли не спеша, переулками. Добрались к месту, не сразу. Был тот час, когда солнце карабкалось где-то над степями Монголии, но уже проникало своим золотом поднебесье, и таяла ночь, и в фиолетовой ее глубине, над густой и влажной чернотой реки, таял срез молодого месяца.

Они сели на камень, и от спин их на белую стену, легли тени.

— Смотри, Мартын!—засмеялась Зина.—Наши тени прозрачны, точно мы с тобой бестелесные.

Он круто повернулся, чуть не столкнул ее с камня и придержал, обхватив рукою за спину. Она взрогнула, затаилась под его рукою и вдруг уткнула голову в колени. Неизъяснимая скорбь, певучая и светлая, какую трудно отделить от радости, охватила ее.

Он отвел свою руку.

— Это же удивительно, что там делается... Зина, гляди!..

Она не откликнулась и не подымала головы. Плечи ее вздрагивали, на плечах колыхалась старенькая вылинявшая кофтенка.

— Чему ты смеешься?—удивился Мартын.

Но она все молчала. Тогда, затревожившись, обеими руками поднял он ее голову.

Обильные слезы заливали улыбающееся ее лицо, влажные ресницы сверкали, и глаза были, как у сказочной русалки: что ни ресница, то лучик.

— Зина!

Но она уже смеялась.

— погоди же, Мартын! Закрой свои глаза... Дай мне коснуться их... Тут у тебя рожа в цвету... Ей-ей!..

— Авр!—лякнул он зубами, и, вскрикнув от неожиданности, она отдернула руку.

— Мартын!

— Ну?..

— Отчего так хорошо и... так грустно жить на белом свете?..

— Отчего?—Он подумал, просторно вздохнул,— Хорошо оттого, что кругом нас буря, а грустно...— Он взял ее руку, ладонью вверх и принялся гладить свою.—А грустно, Зина, от молодости! Я читал где-то, что в юных подах из-за обилия радости тянет даже умереть... У тебя такое бывало?

— Пожалуй, бывало! Но у меня это скоро улечивалось... Я вспоминала отца—как он стал бы убиваться по мне... И она отступала, смерть!..

— Ты любила отца?

— Люблю... Он у меня удивительный! Моя мать умерла очень рано... Мне не было и семи лет... Работая в мастерских, отец нянчил меня собственными руками...!

— А я не любил своего отца,—негромко сказал он.—Глядишь, бывало, на него, слушаешь и начинаешь чувствовать в нем кого-то чужого... Понимаешь, Зина, совсем, совсем чужого! Даже жутко иной раз станет... Он скажет что-нибудь, взглянет, а я сравниваю с собою и вижу: нет, не мое, не мое... Он крикнет, махнет рукою, шагнет,—нет, не мое!..

— А что ж! Идем к Яру.

Яр—это взлобок. Со стороны горюда высокая монастырская стена, и—ни звука оттуда, из города, а перед глазами—кровли по откосу, река и степь на десятки верст... Шли не спеша, переулками. Добрались к месту не сразу. Был тот час, когда солнце карабкалось где-то над стенами Монголии, но уже проникало своим золотом поднебесье, и таяла ночь, и в фиолетовой ее глубине, над густой и влажной чернотой реки, таял срез молодого месяца.

Они сели на камень, и от спин их на белую стену, легли тени.

— Смотри, Мартын!—засмеялась Зина.—Наши тени прозрачны, точно мы с тобой бестелесные.

Он круто повернулся, чуть не столкнул ее с камня и придержал, обхватив рукою за спину. Она взрогнула, затаилась под его рукою и вдруг уткнула голову в колени. Неизъяснимая скорбь, певучая и светлая, какую трудно отделить от радости, охватила ее.

Он отвел свою руку.

— Это же удивительно, что там делается... Зина, гляди!..

Она не откликалась и не подымала головы. Плечи ее вздрагивали, на плечах колыхалась старенькая вылинявшая кофтенка.

— Чему ты смеешься?—удивился Мартын.

Но она все молчала. Тогда, затревожившись, обеими руками поднял он ее голову.

Обильные слезы заливали улыбающееся ее лицо, влажные ресницы сверкали, и глаза были, как у сказочной русалки: что ни ресница, то лучик.

— Зина!

Но она уже смеялась.

— погоди же, Мартын! Закрой свои глаза... Дай мне коснуться их... Тут у тебя рожь в цветущем... Ей-ей!..

— Авр!—лякнул он зубами, и, вскрикнув от неожиданности, она отдернула руку.

— Мартын!

— Ну?..

— Отчего так хорошо и... так грустно жить на белом свете?..

— Отчего?—Он подумал, просторно вздохнул,— Хорошо оттого, что кругом нас буря, а грустно...— Он взял ее руку, ладонью вверх и принялся гладить своею.—А грустно, Зина, от молодости! Я читал где-то, что в юных годах из-за обилия радости тянет даже умереть... У тебя такое бывало?

— Пожалуй, бывало! Но у меня это скоро улетучивалось... Я вспоминала отца—как он стал бы убиваться по мне... И она отступала, смерть!..

— Ты любила отца?

— Люблю... Он у меня удивительный! Моя мать умерла очень рано... Мне не было и семи лет... Работая в мастерских, отец нянчил меня собственными руками...

— А я не любил своего отца,—негромко сказал он.—Глядишь, бывало, на него, слушаешь и начинаешь чувствовать в нем кого-то чужого... Понимаешь, Зина, совсем, совсем чужого! Даже жутко иной раз станет... Он скажет что-нибудь, взглянет, а я сравниваю с собою и вижу: нет, не мое, не мое... Он крикнет, махнет рукою, шагнет,—нет, не мое!..

— Это нехорошо! — прошептала она. — Мне тебя жаль, Мартын.

— Ну, жалеть-то, положим, не стоит! — вскинул он голову. — Жалеть меня вовсе не следует... Ты знаешь, — оживился он, покидая ее руку, — я ведь очень счастливый... вообще! А впереди... меня ждет такое, такое... — Он запнулся. — Со мною, Зина, обязательно должно произойти нечто из ряда вои выходящее!..

— Плохое?

— Не плохое и не хорошее! Особенное что-то... Такое, что, быть может, люди удивляться будут.

— Случая ждешь? — улыбнулась она.

— Обязательно!

— И веришь?

Он молча кивнул головою, но тотчас же поправился:

— Тут, понимаешь ли, иное... Ожидание какое-то... Ожидание чего-то чудесного, но обязательного и оттого естественного! Мне все кажется, и, заметь себе, давно это, чуть ли не с детских лет... кажется мне, что совершу я что-то большое, значительное!..

От этих откровенных слов Зине стало неловко, но, взглянув на него, она поняла, что говорит он без бахвальства, почти с испугом и — как о неизбежном.

И теперь, через много недель, Зина не могла забыть ни этих его слов, ни того его испуганного лица.

«Ожидание чудесного... Большое, значительное дело... Нечто такое, отчего все люди удивляться будут!...»

Она с горечью думала о Мартыне. Думала по

утрам у себя дома, и за работой в губкоме, и поздно ночью, укладываясь в постель.

Особенно тяжело было оттого, что сам Мартын избегал ее, а люди вокруг, а товарищи... только запутывали дело. Ох, эти люди! Какая она была наивная, воображая, что все они—свои, хорошие, чистые, не лживые.

В эти дни Зина разочаровалась во многих, многие встали перед ней новыми, совсем неожиданными, чужими.

Взять хотя бы самого Черноголового! Кажется, для него Мартын был близким человеком. Почему же именно он, Михаил Иванович, ни слова не проронил ей о Мартыне и об этой проклятой истории в Липках? Черноголовый как бы даже вовсе избегал разговора об этом предмете.

Или взять латыша Упита! Когда вновь зашел он к ней в губком за выпиской из протокола, и она намекнула в разговоре с ним о Баймакове, Упит как-то по-особому, повел желваками скул, взглянул на нее сухо, почти зло, и—промолчал.

И он, и Черноголовый, и насмешливый Прищепчик, видимо, вовсе не хотели говорить о Липках и обо всей тамошней истории, точно это их решительно не касалось!

Но были и такие, которые слишком много говорили, у которых каждый разговор сводился на Баймакова. Эти открыто готовы были признать в Мартыне чуть ли не негодяя. И при этом как бы даже радовались. Нельзя было сказать, чтобы все они были плохими партийцами, или злыми людьми, или,

тем более, врагами Мартына. Некоторые знали его мимолетно, только по совместным выступлениям на митингах, и тем более было удивительно, что теперь так им интересовались! Точно зачарованные, тянулись они в одном и том же направлении и не могли оторвать своей мысли от Липок, не могли оторвать глаз своих от Мартына. Чем-то люди походили здесь на больных,⁵ — лежала когда-то Зина в армейском госпитале... С самого рассвета и до ночи упорно и неодолимо вертелись там разговоры во-круг болезней, а когда кто-нибудь умирал, все враз и помногу толковали о недуге, которым страдал покойный, и все враз радовались, что болеют по-иному.

Усерднее других «разливался» Уткин, бывший вместе с Мартыном в Липках. Он ловил товарищей на ходу, в коридорах, отводил их в сторону, и принимался горячо нашептывать. При этом на бледном его лице было выражение сожаления, даже скорби, но глаза сверкали от восхищения. Зина не сомневалась: восхищался Уткин тем, что беда случилась не с ним, а главное, что если бы когда-нибудь такая беда и случилась с ним (а она могла случиться с таким!), то все бы знали, что не с ним одним. Он был бы даже счастлив, встретившись в жизни с происшествием, которое все осуждали, но возможность которого он чуял в себе, в задатках своей натуры.

И у Зины заколебалась бездумная ее вера в окружающих; губы ее, подвижные и тонкие, выражавшие ранее только умную усмешечку, теперь нередко дрожали и кривились в брезгливости.

Она была все еще в том юном возрасте, когда не знают границ во взглядах на мир: если великолепен, то восхищаются до забвения, а чуть что, два-три укола в сердце, и вот уже суровая тень окутывает все!

Только раз в тяжелые эти дни Зина почувствовала, что не всегда была права к людям, слишком унижая их и этим самым возвышая себя.

Мрачный Аристов из совнархоза, разболтавшийся как-то о Липках, вдруг встретил на себе злые глаза Зины, чуть-чуть покраснел и сказал вслух:

— Кудрявцева! Кажется, ты недовольна, что мы обсуждает эту историю... Но, право, тебе не удастся накинуть платок на уста всей партии!

Это было неумно, скверно, злостно, и Зина даже побледнела под недоумевающими взорами товарищей. Она ничего не нашла сказать, но, отойдя в свой угол, почувствовала густой жар в лице. Неужели даже со стороны начали догадываться о том, что происходит в ее сердце? А главное, неужели, в самом деле, она пристрастна к Мартыну настолько, что вовсе закрыла глаза на происшествие в Липках, и, еще толком не зная события, готова защищать Мартына? Если так, то какое же она имеет право осуждать хотя бы того же Аристова?..

В эти дни что-то похожее на обиду против Мартына поднялось в сознании Зины. Ведь вот он какой! Ходит среди людей, по людным улицам, и держит себя так, точно осуждает всех: совсем как судья, а вокруг него подсудимые. Чертовская гордость, несоразмерная гордость! И, кажется, вовсе

не замечает целого хвоста презрительных улыбочек, за ним тянущихся. Говорит и глядит так, будто ничто его не касается, будто не из-за него, не по его вине волнуются вокруг товарищи.

И особенно непереносимо было явное нежелание Мартына говорить с близкими, открыть им свое сердце, просить у них помощи. Только раз, тогда, в исполкоме, видела Зина растерянным его, а потом и это ушло. Несомненно, Мартын избегал людей и даже с нею, Зиной, не хотел встречаться.

Третьего дня, в сумерках, волнуясь и сердясь на себя за свое слабодушие, она преследовала его некоторое время на улице, но он, заметив ее, прибавил шагу и скрылся за углом.

Тогда же Зина решила говорить о нем с Михаилом Ивановичем, указав, между прочим, последнему на странное равнодушие губкома к истории в Липках. Однако этот тягостный для нее разговор не состоялся. Михаил Иванович предупредил ее желание.

После одного бурного заседания губкома, посвященного продовольственному делу, Черноголовый задержал в своем кабинете Губарева, предгубпрофсовета, Жданова из комхоза и председателя чека Лузгина. Все трое были старыми партийцами. Михаил Иванович ценил их. Зина поспешила к двери, но и ее остановил Черноголовый.

— Минуту, Кудрявцева!

Он оперся руками о стол, поглядел перед собою поверх очков, поморщился, сказал:

— Как же быть нам, ребята, с Баймаковым?

Зина нерешительно подошла к столу, но глаз своих до конца разговора не подымала.

Жданов сказал, обращаясь к Михаилу Ивановичу:

— Я не совсем понимаю, чего ты хочешь! Если тут открытое преступление, у нас имеется ревтрибунал...

Жданов лет десять тому назад участвовал в продолжительной голодовке протеста в одной из южных тюрем. Ему тогда было под тридцать, он голодовку вынес, но следы ее остались на нем до сих пор. Он страдал мучительным катаром желудка и малокровием. Был тощ, кожа на его скулах походила на лимонную корку, и в больших темных его глазах лихорадочно и остро горело страдание. Он был нетерпелив, раздражителен.

Не получив от predisполкома ответа, Жданов ухватился за свою фуражку.

— Не могу! У меня трещит башка...

Но Михаил Иванович зацепил его за обшлаг:

— Погоди...

Вгляделся из-под очков в скуластое и крепкое лицо Губарева, мельком скосил глаза на предчека. Лузгин, как сел в начале вечера за стол, так и остался тут, в мягком кресле. Был землисто-сер, припухшие его веки то и дело опускались, он, видимо, готов был сидеть тут до утра.

— Я знаю Мартына изрядно!—заговорил Михаил Иванович.—Знаю с лучшей стороны. Но, вы понимаете сами, этот случай... Право, не знаю, что и предпринять. Конечно, в трибунал мы его не пошлем... Это было бы слишком!..

— А в чем, собственно, его обвиняют?—спросил Губарев, отпивая из холодного стакана крепкий настой чая.—И кто обвиняет?..

Зина не выдержала.

— Он сам себя обвиняет!—сказала она, неловко играя пальцами по опрокинутому блюдечку.

На нее никто не взглянул, но Михаил Иванович подхватил ее слова:

— Вот именно! Прежде всего, он сам себя обвиняет...

Жданов, передернув ртом, махнул рукой. И на этот раз никто уже не мог и не пытался удержать его; дверь с силою хлопнула за ним.

— Я все же думаю поставить этот вопрос по партийной линии, у нас в бюро, например...—торопливо заметил Михаил Иванович.—Выслушаем, обсудим! Не так?

— Можно и так!—согласился Губарев и поднялся за столом, тяжелый, плечистый и спокойный. Он спешил. Ему было не до Мартына.

Лузгин в знак согласия кивнул головой.

Когда, наконец, остались они вдвоем, Михаил Иванович спросил Зину:

— Кажется, ты дружила с Мартыном?..

Зина подняла глаза: в них было нехорошо, тревожно.

— В чем дело, Михаил Иванович?..

— Да ни в чем, милая!—Черноголовый запихивал в свой обтрепанный портфель бумаги.—Я думал, что ты беседовала с ним!

— Нет, я с ним не беседовала!

Михаил Иванович промывал что-то про себя и вдруг взглянул на Зину, и Зина увидела перед собою другое, никогда ранее не виданное лицо: было оно все в лучиках, мягкое, улыбающееся.

— Диковатый человек — этот Мартын! — сказал он. — Диковатый, но... сильный! Сильные ценны пролетариату...

Зина согласилась на этот раз без усилий.

— Да, Баймаков славный!

— Что такое — славный?.. Славный!.. Откуда у тебя эти ничего не выражающие словечки?.. Баймаков, как бы там ни было, свой... Правда... — Михаил Иванович запнулся. — Правда, у него много сентиментального, слишком чего-то старинного, кержацкого, что ли...

— И это — очень плохо?..

Михаил Иванович улыбнулся.

— Видишь ли, человек с фантазией — не такая уж плохая вещь! Немножечко фантазии — это даже украшает человека. Но именно — немножечко, не чересчур!..

— А у него?..

— А у него, пожалуй, чересчур! Впрочем, я не осуждаю... — заторопился Михаил Иванович. — Он ведь очень молод, Зина!

— Дело не в молодости! — насторожилась она. — По-моему, хорошо, что он такой... честный, и, как вы сказали, сильный... Но... сильный ли он?.. В нем есть что-то от обреченности!..

Михаил Иванович снова улыбнулся. Он стоял теперь в пальто у самой двери.

- Товарищ Кудрявцева!
- Слушаю, Михаил Иванович!
- Ты, часом, в гимназии не обучалась?
- Да, но... не окончила!..
- А Байроном в классах зачитывалась?..

Зина нахмурилась.

— Да ты не обижайся!—похлопал он ее по плечу.— Знаешь, что я скажу тебе... Идем-ка со мной, подвезу!..

Они вышли в просторный полуосвещенный зал. Человек с винтовкой одиноко стоял у колонны.

— Ты, Кудрявцева, сама маленько смахиваешь на Мартына! В вас есть что-то общее... Но это ничего, ничего! Это даже хорошо у вас, молодых, такое... как бы это сказать? Чуть-чуть идеалистическое, от старой, надо быть, народнической интеллигенции.

— Я никогда народницей не была!

— А разве, чтобы иметь эти качества, надо быть народницей?

На улице было пустынно и ветрено, в гулких ветренных потемках перепархивал дождик. Зина забралась вслед за Михаилом Ивановичем в автомобиль. Михаил Иванович продолжал:

— Признаюсь, я сам рос таким... И меня немножечко беспокоит, что наша смена подымается в слишком рационалистической обстановке!..

— В боевой, Михаил Иванович!..

— В боевой, да... Но, родненькая моя! Мы ведь побеждали и побеждаем не штыком только... Наша сила, прежде всего, в том, что мы знаем иной, прекрасный, еще не созданный, но возможный мир...

И знаем точно, куда и как направить нашу волю, чтобы овладеть этим миром... Вот такого знания у теперешней молодежи мало... Мало молодежь учится, читает, думает!..

— Время такое, Михаил Иванович!

— Да, конечно... И потому рассчитываю на будущее! Но если и потом, добившись передышки, мы не сумеем посадить наших ребят за книжицу, дело будет аховое!

— А Мартын, верно, много учился?—спросила Зина, желая возвратиться к начатому разговору.

— Мартын?—Михаил Иванович живо повернул к ней голову.—Он у меня ночи напролет просиживал. Да мы с ним, Кудрявцева, самого Маркса грызли!..

— Откуда же у него вот это—идеалистическое?

— Это?

Автомобиль остановился у деревянного домика. Зина встала на мелко подрагивавшем днище машины, взяла руку Михаила Ивановича и ждала ответа.

— Это все—от прошлого, Зина! От тех дней и лет, когда все мы больше мечтали, чем действовали... Ты, например, не можешь себе представить, как уродовала людей ссылка... с ее пустынею, дикостью, вынужденным одиночеством... Мартына слишком рано вырвали из гущи жизни!..

Зина выпрыгнула на мостовую, но еще долго следила глазами за удалявшимся автомобилем. Чувство признательности к Черноголовому согревало ее. Сегодня Михаил Иванович показал себя иным, новым. Удивительный человек! Он сказал: «Когда все мы больше мечтали, чем действовали!» Невозможно было

представить себе Черноголового не действующим... Черноголовый — мечтатель!..

Зина даже засмеялась и повернула к своей двери.

Дергая за ручку звонка, она твердо решила завтра же, во что бы то ни стало, увидеть этого упрямого Мартына и говорить с ним! Почему Михаил Иванович спрашивал, дружна ли она с ним? Не хотел ли он узнать от нее больше того, что сам знал?.. Нет, Мартын положительно никудышный человек! Иметь другом такого человека, как Михаил Иванович, и избегать его, когда стряслась беда! Эх, коснись дело ее, Зина, она ни на минуту не задумалась бы открыть мудрому седовласому товарищу свое сердце.

В дощатом коробке (кабинет и спальня), на столе, поверх вязаной скатерти, заметила Зина раскрытую книжонку. Догадалась — отец, поджидая ее, читал. Тут, рядом, и очки в медной позеленевшей оправе. Сам он возился теперь в крошечной кухне над самоваром.

— Батька! — крикнула она, просунув голову, за дверь. — Кипятка не надо!.

— Как же так, Зинушка? Почему не надо? Ты не больна ли?..

Маленький, костлявый старичок, в сером пиджачке и сам весь серый, вскинул на нее мутноватые свои глазки почти с испугом: как могла она отказаться от самовара, от их семейного ночного чая, когда это было годами?

Зина рассмеялась.

— Я совсем здорова, папочка! Но очень устала...

— А чай?..

В хриповатом гололе старика слышалось волнение, он растерянно подтянул штаны и насторожился. Дочь поняла, что не сможет отказать ему в этой единственной для него радости—пить ее чаем в час поздний, глухой,—в час, ему, одному, старому, по праву принадлежащий.

— Хорошо, будем пить!..

И тотчас же снова зазвенела конфорка, зашуршали угли, послышался треск лучины. Зина торопливо приводила себя в иной, домашний вид. Наскоро стянула она с себя темное рабочее платье и кинула на койку. Оставшись в исподнем белье и поеживаясь, хотя в комнате было нехолодно, она пошла к старенькому, материнскому гардеробу, достала ситцевый капот, вспомнила, что в прошлый раз впопыхах разодрала оборки, и присела у стола чинить. При взмахмах руки с иглою рубашка сползала, обнажая крепкое, смуглое плечо, и, хотя никто тут ее не видел, Зина то и дело вздергивала наплечники.

Отец стоял над самоваром, горел нетерпением.

— Ну, как денек, Зинушка?—говорил он из-за дощатой перегородки.—Все ли в порядке?

— Все в порядке, отец!..

— Начальство наше как? По-старому над людьми мудрит?

У старика с дочерью в этом вопросе были нелады. Никифор Семеныч подсмеивался над новой властью, называя ее самодельной, ворчал по поводу гонения на чистую публику и заочно называл исполкомовцев не иначе, как «наши дураки». Он говорил: «Наши дураки опять попов обидели»... Или: «Наши дураки

немца против себя поднимают»... Или: «Второй месяц наши дураки жалованья не платят!..» У него были две большие обиды на революцию. Одна заключалась в том, что вскоре после октябрьского переворота его по старости лет перевели с паровоза дальнего пути на станционные маневры. «Привязали, как пса, к одному месту!»—жаловался он, завидуя страстно тем тозарищам, которые продолжали кататься в разные стороны, добывали себе на хлебных станциях соли и мяса и получали прогонные.

Другая обида—обида за дочь. За тем ли растил он ее, обучал, лелеял, чтобы она потом стала путаться со всяким народом, пропадать где-то до поздней ночи, быть все время с солдатней и на его, Никифора Семеныча, намеки относительно замужества дерзко посмеивалась.

Старик, раздувая самовар, продолжал:

— Сегодня опять говорили, будто вам всем скоро капут!..

— А вы поменьше бы слушали!—откликнулась Зина.—Человек вы рабочий, а собираете мещанские сплетни...

— Ну, ну!—огрызнулся отец.—Не везде же разговаривают го-дворянски...

Подобной перебранкой обычно начинался их поздний вечер. Вскоре на столе в кухонке появился самовар. Зина, выглядевшая в длинном своем капоте более солидною и женственною, не спеша разливала чай—себе в самый обыкновенный стакан, а отцу—в большую, с золотой каймой, чашку, именинный подарок покойницы-жены.

Отхлебывая из блюдечка, Никифор Семеныч украдкою поглядывал на дочь; Зина поймала этот взгляд, нахмурилась.

— Чего фордыбачишь то? — не выдержал старик. — Поди, не чужой я тебе? День и ночь мысли с тебя не свожу!

— Отец! — вскрикнула Зина, подымаясь у стола. — Если ты станешь продолжать, я пойду к себе, и вообще...

Она не дожидаясь, глядя на него злыми глазами.

— Ну, что «вообще?» Уйдешь от меня? бросишь? — Старик от волнения сжег о кипятик губы и теперь потирал их трясущимися пальцами. — Бросай! Известное дело, на что я нужен тебе? Вынянчил, выкормил...

— Замолчи, прошу тебя!..

— Не я начал... Уходи, бог с тобою! Известно, где мне, необразованному, с такою дочкою жить!..

Зина стукнула ладонью о стол.

— Опять «Лазаря» запел. У, несчастный! Да разве я тебя в необразованности упрекаю? Ты ведь рабочий, пойми это! А держишь себя, как мещанин, как базарник! Ворчишь, сплетничаешь, недоголен всем... Люди со стороны смеются!..

— Люди?

— Ну да, люди... Мне за тебя перед людьми стыдно!..

Еще когда кончала фразу, увидела Зина, как вдруг побелели его глаза и запрыгали губы.

— Спасибо, доченька, спасибо! Утешила на старости лет родителя...

Он хотел еще что-то сказать, но не смог, в горле

у него ежнуло, он махнул рукою, задел давний подарок жены-покойницы: со звоном пала расписная чашка на пол, разлетелась на кусочки. Даже не взглянув, пошел он, сгорбившись, к себе под занавеску.

Тупо глядя перед собою, стояла Зина у стола, слышала, как скрипела старая отцовская постель. Острая жалость сжимала ей сердце, она готова была броситься к старику за занавеску, опуститься у его ног, обхватить руками слабые затруженные его колени. Но что-то удерживало ее на месте, складка залегла у нее между бровей, подбородок отпал; все лицо ее стало неприятным, тупым, одеревяненным. И, крепко ступая по полу, чоботами, молчаливо прошла она в свою комнатушку.

Когда шла мимо, отец, сидя на постели, затаил дыхание. Он ждал, что сию минуту занавеска приподымется, дочь молча обхватит его за шею, приглубит, попросит прощения: так бывало не раз. И уже он поднял было голову, приподнялся, но... мягкие ее шаги проплыли мимо, и тогда вдруг, как бы очутившись на дне невылазной ямы, почувствовал старик нестерпимое одиночество. Печаль залила ему сердце. Он положил руки на острые свои колени и так, с раскрытым ртом (точно нехватало ему воздуха), заоченел на месте. Было одно неотвратимое сознание: дочь его—чужая ему; пропали долгие годы забот, неистощимой любви. Он один, один на всем белом свете... Старый, не нужный никому!

Зина наскоро обросила с себя капот, затушила электричество, кинулась в постель. Но как только

положила она под щеку ладонь (так с детских лет засыпала она под ватным стеганым одеялом матери). Сейчас же почувствовала, что глаза ее сухи и не хотят закрываться. Полежав минуту, и чувствуя тяжелую пустоту в груди, она поднялась, отвернула свет, взяла со стола брошюру, забытую отцом, и лежа стала перелистывать ее. Сначала она не только не всматривалась в строки, но даже и не сознавала вполне, для чего в ее руках эта брошюра: мысли об отце, выживающем из ума, мысли о минувшем дне, о Мартыне, о Черноголовом, о мобилизации на продфронт,—все это затемняло ей сознание. Но, случайно поймав заголовок брошюры, она поняла, что собиралась читать. Затем что-то ее затревожило. Она скосила глаза на стол, где лежали очки старика, и вдруг поняла... Отец! Ну, конечно же, это он читал брошюру:

«В. Ленин. К солдатам».

Она ярко представила себе старика за раскрытою страницей: губы его шевелятся, брови вздернуты. на лбу, от усилия мысли, капельки пота.

Ах, старый ворчун! И вчера, и месяц назад она твердила ему, чтобы он почитал что-нибудь из ее книжек, а он отмахивался и еще сегодня утром отверг это, даже сплюнул.

Зина отложила брошюру, прислушалась. Ни единого звука не доносилось из-за перегородки. Заснул! Хорошо, она поговорит с ним утром, выведает о его болячках и, если возможно, сделает все, чтобы наконец открыть ему, старому, глаза на правду.

Удивительная вещь! Зина почиталась среди това-

рищей хорошей пропагандисткой. А вот с отцом, с собственным своим отцом, она до сих пор не справилась! Живет с ним под одной кровлей, изучила каждое движение в его лице и... не справилась! Но, полно, пыталась ли она что-нибудь сделать, чтобы ближе подойти к нему? Много ли времени посвятила она старику? Ведь дальше отрывочных разговоров, разговоров на бегу, на лету, дело у них не шло.

Ах, как это все, в конце концов, дико! Ходит она за три версты из центра в рабочую слободку, чтобы там отдать вечер политкружку, а тут под рукою родной и самый близкий ей человек—бродит слепым и слышит от нее одни упреки... Нет, в этом есть что-то неладное! Неужели все, что делала она до сих пор, как пропагандистка, делалось ею по уставу, по чину, напоказ?!

Зина совсем рассердилась на себя, до того, что принялась перебирать всю свою работу по косточкам. И тут вдруг открылось ей, что—да, она никуда не годится, и что если бы о ней рассказать настоящую правду, Михаил Иванович, Мартын и все другие отвернулись бы от нее. Ведь никто, конечно, и не подозревает, что ей, Кудрявцевой, нравится, просто нравится роль секретаря губкома, особенно, когда ее замечают окружающие. Ей нравится, например, сидеть на больших собраниях рядом со старыми большевиками. Нравится мчаться на автомобиле рядом с кем-нибудь из губкомовцев, мчаться с холодным и жестким (непременно с жестким) лицом. Нравится слышать свое, шопотом произнесенное имя. Нравится возвысить голос до окрика...

Зина поднялась в постели, сбросила одеяло.

Какая гадость! И никто не подозревает, что она такая тщеславная. Никто и не думает, что она мало чем отличается от самой обыкновенной мешаночки с Дворянской улицы. И потом, и потом... это ее особое, совершенно отличное, длительное, ничем необъяснимое внимание к Мартыну! Разве он единственный в партии? Разве не окружают ее десятки и сотни товарищей, быть может, еще более достойных, чем этот человек? А для нее вся последняя неделя ушла на тайные (да, да, тайные!) заботы о Мартыне. Значит, для нее уже не существует партии в целом? Значит, она может ради него, ради его интересов забыть вовсе о других, более серьезных, более важных вопросах и нуждах организации.

Никифор Семеныч продолжал, не шевелясь, сидеть у себя на койке. Станные и разноречивые настроения волновали его. С одной стороны, для него было бесспорно, что дочь не права, что она виновата перед ним и что он не может и не должен прощать ей. А с другой стороны—что-то крошечное и жалобное, как побитая собачонка, ныло в его груди, и хотелось плакать от жалости к той милой, родной, близкой ему каждым своим пальчиком (с детства изучил старик коротышки эти), каждым своим волосом на шелковой головке! И видело, чуяло старое сердце, что тяжкий терновый путь простерт перед девочкой его, что ждут ее страдания неслыханные, что, может быть, смерть, та, что всегда стоит за спинами отважных, сторожит уже его Зину.

И когда толкнулась и влипла мысль старика в

жгучее видение опасностей на пути его дочери.— задохнулся Никифор Семеныч, и вдруг взмогли его щеки. Тихонько, стараясь не скрипеть койкой, поднялся он, прошел на цыпочках к двери и слушал, затаив дыхание.

Зина кашлянула; как пойманный вор, вздрогнул с головы до пят старик, и краска залила ему щеки.

Послушав еще немного, убедился, что за стеною тихо, полуоткрыл дверь, просунул голову. В темноте белело на подушке лицо Зины. Неудержимо потянулся вперед. Боком пролез в дверь, прошаркал к столу, замер, прислушиваясь.

— Папа, ты что?

Старик замер.

— Спи, спи!—откликнулся он шопотом.—Я тут очки забыл...

— А ты отверни электричество.

— Нет, не надо! Я уж отыскал. А ты спи... И на меня, старого, не сердись... Люди мы с тобой свои... И те все—свои... Своих и поругать иной раз не грешно...

Он стоял у самой ее койки, подтыкал концы одеяла, ухмылялся про себя, как пьяный.

— Забыл совсем сказать тебе, доченька... Перед вечером заходил к тебе один, высокий, кудластый из себя...

Она насторожилась, захватила в свою горячую руку, его старую, холодную.

— Кто, папочка? Как назвал себя?

— А не упомяну, дочка! Как его, бишь... Оборотов, что ли.

- Баймаков, папочка?
— Вот, вот! Кудластый такой...
Холодная капля упала ей на грудь. Что это?..
— Палочка, родной мой, бедненький мой...
Она потянула его руку, целовала ее, прижимала к горячим щекам.
— Прости меня... Злая я, нехорошая!..
— Да что ты, что ты, Зинушка!—с испугом лепетал старик.—Еще чего выдумала? Да ты у меня... краше всех... Как можно говорить так!..

XII

На другой день Зина была свидетельницей необычайной сцены, разыгравшейся в помещении губкома между Мартыном и Клепиковым. В шестом часу, когда за окном уже плавилась в сумерках старая липа, Зина стала собираться домой (сегодня никаких заседаний). Сложив наскоро свои бумаги, она взялась было за пальто, но услышала из зала высокий, напоенный животным страхом крик и бросилась к двери.

Мартын, набычившись, держал на вытянутых руках барахтавшегося человека. Зина появилась в тот самый момент, когда богатырские руки готовы были бросить свою жертву на пол. Если бы это случилось, несчастному, пришлось бы, без сомнения, худо. Но этого не случилось. Мартын поймал глаза Зины и вдруг легонько, почти бережно, поставил человека на ноги.

Клепиков (это был он) стоял, шумно дыша, белый, с красными пятнами по щекам, и в его обычно кра-

сивых, бархатных глазах металось теперь взлохмаченное воронье крыло.

Коротким движением руки он выхватил из кармана браунинг и вскинул его в уровень с грудью Мартына. Зина вскрикнула, но выстрела не последовало.

Мартын наступал на Клепикова, тот пятился, белый, хлипкий в лице, и вдруг... браунинг выпал: Мартын захватил руку Клепикова в свою, поднял ее вверх, зажал со всею силою—браунинг выпал.

— Научись владеть оружием!—проговорил Мартын глухо и поднял браунинг.—Ты даже не приготовил его.

Он сунул револьвер в карман остоленевшего Клепикова и процедил сквозь зубы:

— Пошел ты... к чертовой матери!..

Обращаясь затем к Зине, сказал спокойно:

— У меня до тебя дело, Кудрявцева!

И, не ожидая разрешения, вошел в кабинет, прихлопнув за собой дверь. Зина не двигалась, вперив глаза в Клепикова, а тот вдруг весь осунулся, сжался, рот его перекосило, в глазах вспыхнул мокрый заячий стыд.

Зина поспешила уйти.

— Мартын!—заговорила она с порога.—Это же безобразие! Что между вами произошло?..

Баймаков стоял у стола, лицом к окну, и пристально разглядывал сумеречный сад.

— Не будем говорить об этом...—произнес он, морщась.—Я готов держать ответ, только... в другом месте. Он оскорбил меня, этот человек...

Зина вспомнила последние дни, сплетни, перешептывания по углам.

— Допустим, Мартын! Но ты действуешь, как ди-карь...

Мартын помолчал.

— Зина! Тебе тут ровным счетом ничего не по-нять...

Это было произнесено холодным тоном. Зина ско-сила в насмешливой гримаске губы.

— Да, тут я действительно ничего не понимаю! Но для меня, тем не менее, очевидно, что когда пар-тиец позволяет себе...

Мартын схватил ее за руку.

— Зина, прошу тебя!..

В голосе его послышалась боль, она невольно смолкла. Он опустился в кресло.

— Может быть, я виноват... Но этот человечикко привязался ко мне, когда я шёл сюда... Он завел со мной такой разговор о Липках, с такими ужимоч-ками, что... невозможно было выдержать!..

— В последнее время ты неузнаваем, Мартын!— с укором заметила Зина, присаживаясь против него.— Ты избегаешь всех нас... Ты как будто не хочешь видеть даже Михаила Ивановича... Что с тобой, Мар-тын?..

В полумраке нельзя было разобрать выражения его лица, но по тому, как круто двинул он плечами, девушка поняла, что слишком поспешила.

— Пожалуйста, без выговора!— сказал он тихо, но резко.— Я вовсе не нуждаюсь в сестрах милосердия! А пришел к тебе по делу, как к секретарю губкома...

Именно, именно!—Он поднял руку, заметив ее жест протеста.—Я и с Михаилом Ивановичем не хочу встречаться один на один... Уверен, что старик заведет волынку...—Он встал и начал шагать из угла в угол.—Дьявол вас всех возьми! Партийцы вы или нет? К вам является член партии, требует обсудить его... его...—он запнулся,—его вопрос! А вы отмахиваетесь, тянете, строите гримасы недоумения... Что вы... за сумасшедшего меня принимаете?

— Мартын!

— Э, пожалуйста! Я не понимаю такого отношения к товарищу... Во всяком случае, я не заслужил этого! Или—вы уже решили мое дело, не заслушав меня? На основании одних слухов, на основании жалкой болтовни таких милых людей, как Уткин, Аристов, Клепиков и прочие?

Зина встала.

— Мартын! Ты несправедлив к нам! Иди сюда... Садись, успокойся.

Повинуясь ей, он опустился снова в кресло. Она продолжала, стоя подле него:

— Чудачина ты, Мартын! Никто ничего не решал... И никто ни в чем тебя пока не осуждает... Да, да! Губком не может,—пойми ты это,—не может губком делать заключения на основании одних слухов... А мы все еще питаемся только слухами, и в этом виноват ты сам!

— Ну, это положим!..

— Не возражай! Представь себе положение хотя бы Михаила Ивановича, который знает тебя чуть ли

не с детства... Ведь он, в конце концов, вправе... требовать от тебя объяснений!..

— Ха! А я отказываюсь? Готов дать показания всему губкому! Я даже прошу об этом... Я даже требую!..

— Но, Мартын! Как может Михаил Иванович ставить на обсуждение губкома тот или иной вопрос, не зная досконально, о чем пойдет речь?..

— Но это неправда!—воскликнул он.—Черноголовый знает...

— Да, кое-что, из третьих рук! Разве ты переменял о нем свое мнение? Разве ты забыл, что такой человек, такой партиец, как Михаил Иванович, не может опираться на одни сторонние сообщения, хотя бы они исходили...

— От членов партии?—с горечью усмехнулся Мартын.

Зина замаялась.

— Партиец партийцу рознь!

— Вот как?

— А, пошел ты к лешему, Мартын!—вспыхнула Зина.—С тобой говорят, как с товарищем, а ты... мудришь. Слушай! Идем сию же минуту к Михайлу Ивановичу... Он будет очень рад, я знаю! Мы найдем его в этот час у себя дома...

— Никогда!—приподнялся в своем кресле Мартын.—Я не хочу и не могу пользоваться в этом деле старой дружбой... По-старому я заговорю с Черноголовым не ранее того, как слово партии будет обо мне произнесено. Я готов пойти к нему, но лишь

по его вызову и не иначе, как на заседание... губкома, ревкома, трибунала!..

Зина замахала рукой.

— Ты рассуждаешь, как... как... Во всем этом нет и капли трезвости... От всего этого несет самым неприглядным интеллигентством!..

— Думай, как хочешь, но иначе я не могу... А теперь скажи по правде: займется когда-нибудь мною губком или нет? Или вы... или вам надо писать официальное заявление?..

Зина щелкнула выключателем, взгляделась в Мартына и некоторое время молчала. Ее поразило потемневшее, осунувшееся лицо его. Глаза его в рыжих ресницах казались еще более глубокими, прямой нос заострился, вокруг рта залегли морщины. Он давно не брился и, такой, в белесом пуху на щеках, выглядел много старше своих лет.

Можно было думать, что Баймаков перенес тяжелую болезнь. Только песочно-белокурая копна волос его попрежнему гордо откинута была назад, да могучие плечи все так же будили к себе скрытую зависть.

— Ты не болел ли, Мартын?—невольно вырвалось у Зины, и, должно быть, в ее голосе, а может быть, и в глазах было что-то такое искреннее, что угрюмая тень в лице Баймакова дрогнула.

Он улыбнулся, и в улыбке нос его еще более заострился, и острее обозначились скулы.

— Нет, я здоров, как лошадь!—проговорил он.— Но ничего не имел бы, чтобы поболеть... Ведь вот цепляет же других сыпняк.

Он с явным огорчением взглянул на Зину.

Зина не верила, не могла, не хотела верить в то, что с Мартыном произошло что-то такое, отчего можно было желать такой страшной болезни. Она представила себе его, могучего, распластанным в огневке, и жалость осветила ей глаза. На этот раз он не рассердился. Молча опустил голову, как бы собираясь с мыслями.

— Мартын...

Голос ее легонько дрожал.

— Мартын, ты немножко знаешь меня, и ты должен верить, что я не хочу и не могу обидеть тебя... Скажи же, что там, в пути, произошло у тебя?..

С испуганным ожиданием она заглянула ему в лицо.

Он долго молчал.

— Длинная история!

И, вновь затревожившись, весь как-то подбываясь, заговорил:

— Видишь ли, собственно, вся история может быть изложена в паре слов. Но этого-то я и страшусь! Мне надо, чтобы вы все поняли меня по-настоящему... А для этого мне надо много, очень много рассказать... И я не знаю, сумею ли, осилю ли, и... поймете ли вы меня!..

— Попробуй, Мартын! Я не ожидаю, конечно, что ты начнешь с меня... Но почему бы тебе, в самом деле, не поговорить с Михаилом Ивановичем?

— Опять?—прихмурился он.—Я уже сказал тебе....

— Хорошо, не надо! Не надо с Михаилом Ивановичем... Доверься другим!..

— Например?..

Она покраснелась, ей стало вовсе неловко, так как она думала, что довериться следовало бы именно ей, но сказать об этом прямо не решалась.

Мартын встал и опять зашагал из угла в угол. Она искоса следила за ним, отчего глаза ее стали совсем продолговатыми и все лицо тонко-настороженным.

- Помнишь, Зина...—вдруг остановился он около нее.—Помнишь ли ты вечер... весною, у монастырской стены? Я часто вспоминаю... И теперь много отдал бы, чтобы стать таким же, как тогда!..

— Каким же?—откликнулась она вполголоса.

Он неожиданно спросил:

— А что делается у нас на фронте?

— Разве ты не в курсе?—осиливая свое волнение, проговорила она.

— Да, я отстал! Всякое личное несчастье отрывает человека от общих интересов... Попробуй повредить себе палец, и ты будешь чувствовать только его!..

— Бывает! Страдание делает нас индивидуалистами и эгоистами...

Она сказала это просто, без задней мысли, но он торопливо взглянул на нее.

— Ну, так каково же на фронте?..

— Неважно, Мартын! Кажется, опять будет жарко...

— Так... А с продовольствием что?..

— Не спрашивай! Ты знаешь—мы провели мобилизацию... Нам предстоит тащить хлеб из-под самого носа врага... Кстати, Мартын, о тебе вспоминали за-

водские... Байдученко и Петр Пятачок... Они снова мобилизованы и выражали желание видеть тебя во главе отряда!..

— Э, что об этом говорить!..

— Почему же?..

Он прихмурился.

— Я шел всюду, где было особенно тяжело! Но теперь... теперь я только больной палец... Его надо лечить, или... ампутировать!..

Он отвернулся и вдруг, пожевываясь, спросил:

— А Черноголовый, в самом деле, обо мне... заговаривал?..

— Не раз, Мартын!..

Он молча стал над ее креслом, так, что она не могла видеть его лица.

— Чорт побери! Если бы вы все знали, как «это» произошло, вы не осуждали бы меня... Нет, я не могу больше молчать!

Эти слова были произнесены почти умоляющим тоном. От неожиданности Зина не сразу нашла, что сказать. Потом она проворно встала, протянула ему руку.

— Говори, говори, Мартын!

— Здесь?

— Где хочешь! Неужели ты не видишь, что я... ну да—я... страдаю за тебя?..

Днем позже этой беседы Зины с Мартыном, глубокой ночью прибыв домой, Михаил Иванович собирался уже лечь, но вспомнил о своей тетради, почувствовал раскаяние (он долго не садился за нее) и взялся за перо.

Между прочим, он записал следующее:

«Не знаю, как быть с Мартыном. Парень выводит меня из равновесия. Я продолжаю любить его. И, может быть, поэтому мне трудно разобраться в его истории! Он честен,—я знаю это,—но его честность порою граничит с глупостью. Но он не глуп, нет! Это так же верно, как то, что он был самым способным из всех моих учеников... Было бы лучше дать ему возможность передохнуть, прийти в себя, но я боюсь, что время—плохой лекарь для таких людей: он или съест себя окончательно, или натворит вокруг себя бед. Вчера, например, он чуть не вступил в рукопашную с К., товарищем из совнархоза. Конечно, этому не следовало лезть со своею болтовнею, но нельзя же пускать в ход кулаки... Нет сомнения, что из странной истории в Липках можно создать целый процесс,—чего Мартын и добивается,—но невыносимо здесь то, что главным обвинителем явится он сам, несмотря на все его искреннее и, я верю, заслуженное желание оправдать себя. Однако дело придется все же поставить, по крайней мере, в губкоме. Иначе с парнем не сладишь! Жаль страшно, так как ничего путного из этой возни не выйдет, а у нас и без того много жертв».

XIII

Если бы эти строки из затрепанной тетради Михаила Иваныча могла прочитать Зина, она принялась бы горячо успокаивать их автора.

Она сказала бы Черноголовому, примерно, так:

— Мартын—хороший и честный партиец! Скорее ставьте его вопрос в губкоме, как он того хочет! И ничего дурного не будет...

Она сказала бы так потому, что весь вечер слушала Мартына и была вне себя от его рассказа. Она была покорена этим рассказом. У нее не было никаких сомнений насчет честности и искренности Баймакова. Больше того. Он даже вырос в ее глазах, и она готова была считать всех остальных окружающих ее товарищей младенцами перед таким человеком, как Мартын.

Однако, когда он закончил свой рассказ и спросил ее, прямо глядя ей в глаза, как она назвала бы случай с ним в Липках,—Зина потупилась. Только при новом настойчивом вопросе: не думает ли она, что он ничтожный трус, Зина вскинула на него глаза и терпеливо выдержала его взгляд.

Они забрались из кабинета губкома, с его дверью в шумный зал и телефонами, наверх, в комнату с окнами в решетках, где когда-то хранились архивы губернского присутствия, а теперь было почти пусто: треногий стол, несколько скамей (год назад занимался тут политкружок).

Она уселась за стол. Он—напротив. Яркая лампочка заливала их зеленоватым режущим светом.

Первое время Зина слушала не совсем внимательно. Она даже не понимала некоторых фраз, потому что, пользуясь волнением рассказчика, могла без всякой опаски дивиться его густым ресницам, отливающим золотом под ярким электричеством. Но вскоре она забыла, что сидит наедине с ним, вдали от всего

Между прочим, он записал следующее:

«Не знаю, как быть с Мартыном. Парень выводит меня из равновесия. Я продолжаю любить его. И, может быть, поэтому мне трудно разобраться в его истории! Он честен,—я знаю это,—но его честность порою граничит с глупостью. Но он не глуп, нет! Это так же верно, как то, что он был самым способным из всех моих учеников... Было бы лучше дать ему возможность передохнуть, прийти в себя, но я боюсь, что время—плохой лекарь для таких людей: он или съест себя окончательно, или натворит вокруг себя бед. Вчера, например, он чуть не вступил в рукопашную с К., товарищем из совнархоза. Конечно, этому не следовало лезть со своею болтовнею, но нельзя же пускать в ход кулаки... Нет сомнения, что из странной истории в Липках можно создать целый процесс,—чего Мартын и добивается,—но невыносимо здесь то, что главным обвинителем явится он сам, несмотря на все его искреннее и, я верю, заслуженное желание оправдать себя. Однако дело придется все же поставить, по крайней мере, в губкоме. Иначе с парнем не сладишь! Жаль страшно, так как ничего путного из этой возни не выйдет, а у нас и без того много жертв».

XIII

Если бы эти строки из затрепанной тетради Михаила Иваныча могла прочитать Зина, она принялась бы горячо успокаивать их автора.

Она сказала бы Черноголовому, примерно, так:

— Мартын — хороший и честный партиец! Скорее ставьте его вопрос в губкоме, как он того хочет! И ничего дурного не будет...

Она сказала бы так потому, что весь вечер слушала Мартына и была вне себя от его рассказа. Она была покорена этим рассказом. У нее не было никаких сомнений насчет честности и искренности Баймакова. Больше того. Он даже вырос в ее глазах, и она готова была считать всех остальных окружающих ее товарищей младенцами перед таким человеком, как Мартын.

Однако, когда он закончил свой рассказ и спросил ее, прямо глядя ей в глаза, как она назвала бы случай с ним в Липках, — Зина потупилась. Только при новом настойчивом вопросе: не думает ли она, что он ничтожный трус, Зина вскинула на него глаза и терпеливо выдержала его взгляд.

Они забрались из кабинета губкома, с его дверью в шумный зал и телефонами, наверх, в комнату с окнами в решетках, где когда-то хранились архивы губернского присутствия, а теперь было почти пусто: треногий стол, несколько скамей (год назад занимался тут политкружок).

Она уселась за стол. Он — напротив. Яркая лампочка заливала их зеленоватым режущим светом.

Первое время Зина слушала не совсем внимательно. Она даже не понимала некоторых фраз, потому что, пользуясь волнением рассказчика, могла без всякой опаски дивиться его густым ресницам, отливающим золотом под ярким электричеством. Но вскоре она забыла, что сидит наедине с ним, вдали от всего

мира (так, как ей это чудилось в последнее время только в снах). Его ресницы перестали скрывать от нее страдание, таившееся в глазах, а его голос, убаюкивающий своею сладкою силою, стал наконец проникать в сознание и подымать ответно мысль за мыслью.

С этого момента Мартын мог рассчитывать, что открывает себя чуткому и вполне бескорыстному товарищу.

Зина сразу и во всей глубине представила себе путешествие Мартына с эвакуируемыми семьями: тяжелая и непривычная обстановка, женщины, дети, неизвестность вперед!..

Она даже удивилась про себя, как мог Михаил Иванович, зная Баймакова, обречь его на это дело: тащить за собою ораву беспомощных, желких, перепуганных людей навстречу всяким неожиданностям, без какой-либо надежды на возможность отпора врагу!..

И ее нисколько не опечалило, когда она услышала в голосе Мартына нотки брезгливости: он говорил о женах ответработников, о паре Добрыниных и об этих двух партийцах, увязавшихся с женским поездом.

Когда он нарисовал вскользь педагога Уткина, у которого даже накидка трепетала от страха, Зина заулыбалась.

Но Мартыну было не до улыбок. Он говорил о женщинах, о стариках, о младенцах.

— Они готовы были цепляться за меня и плакать от страха, но я их успокаивал!

— Зачем же?—вырвалось у Зины.

Он с недоумением взглянул на нее.

— Для того, кто может защищаться, правда—лишнее оружие! Но сказать правду Уткину, Аристову, Добрынину, всем этим женщинам с ребятами... Ты понимаешь—это вызвало бы панику!..

— И все же им следовало сказать правду!—возразила она, незаметно для себя становясь на сторону беззащитных людей, лишенных даже знания истинного своего положения.

Мартын не понял ее.

— Нет, я был прав, держа их в неведении... Правда была, во всяком случае, не для слаботерпеливых! Уже на первой станции мне и Тулякову стало ясно, что наш поезд далеко не в безопасности, а в Липках мы в этом убедились окончательно... Но то, что затем произошло, оказалось неожиданностью даже и для нас... Между прочим, на станциях нам сообщали, что город занят белыми, и ты можешь себе представить, Зина, каково было мое самочувствие... Но... буду продолжать!.. Успокоив и накормив свой караван (время было за полночь), я пошел бродить по степи... В это время Туляков поднял на ноги машиниста. Паровоз со своим вагоном Туляков держал наготове... Он объяснял это тем, что в вагоне находились эвакуированные ценности... Когда я возвращался из степи и шел перроном, Туляков чуть не сбил меня с ног. Он бежал из телеграфной с последнею новостью и встретил меня криком: «Беда! Мы опоздали»... Вид у него был такой, что я невольно побежал за ним, еще не

зная сам—куда и, главное, какая опасность грозит нам! Мы были уже подле горячего паровоза, когда я услышал необычайный шум, в котором, признаться, до сих пор не отдам себе отчета... Первое мгновение мы оба подняли головы вверх, так как нам почудилось, что над нами аэроплан! Но, убедившись в своей ошибке, я насторожил слух в другом направлении и тут услышал быстро нарастающий грохот со стороны увалов...

«Поезд! Эшелон белых!»—крикнул мне Туляков и бросился вперед, к паровозу, но я, разгадав решение этого человека, обхватил его рукою, и между нами завязалась борьба. Борьба продолжалась несколько секунд. Туляков понял, что я сильнее его, и закричал мне в упор: «Ты будешь в ответе за все, что вручено мне, за все ценности!» Этот неистовый крик, а главное, упоминание о каких-то ценностях, когда у нас на руках был целый поезд, набитый женщинами, поразил меня так, что я выпустил из рук Тулякова. Помню—близость этого человека, его жаркое дыхание мне в лицо, его искривленный рот вызвали у меня физическое отвращение. Я выпустил его. Он в два прыжка очутился у паровоза. «Полный ход!»—крикнул он выглядывавшему из окна машинисту. Вслед за тем я услышал шум пара и пришел в себя. «Стой!»—закричал я в свою очередь, вскочил на площадку паровоза и сунул в лицо машиниста свой браунинг. Тогда произошло нечто отвратительное. Туляков схватил меня за полу, оттащил в сторону, стал умолять меня; он говорил вполголоса, бессвязно, но я успел понять, что мы

имеем дело с эшеленом белых, прибывшим с ближайшей станции, что никакой возможности для борьбы у нас нет и что теперь дорога каждая минута!..

«Пойми, Баймаков!—убеждал он меня.—Ведь у нас золото, все наши ценности! Ведь если все это попадет к врагу, нас надо расстрелять! И ты не смеешь вмешиваться...» Он снова рванулся к паровозу, и снова я обхватил его. А шум со стороны, из ночи, нарастал, близился. И вдруг Туляков затих в моих руках, и тут же инстинктом я угадал опасность—короткое движение его руки к карману... Я перехватил его руку в тот момент, когда она уже вцепилась в наган. Тогда я с такой силой сжал эту руку, что услышал хруст, но он... понимаешь ли... этот человек даже не вскрикнул! Он сказал: «Негодяй ты, Баймаков!» И сказал это с таким убеждением и так спокойно, что я, несмотря на все свое возбуждение, изумился. Ты понимаешь: эти слова должен был бросить ему в лицо я!.. Чувствуя, что мои руки ослабли, он повел плечом, освободился, но уже не пытался бежать. Стоял, как истукан, без слов, и я не видел, что у него делалось в лице. Самое нехорошее было именно это: я не видел, что с ним, и почему он вдруг стал таким.... Теперь накинулся на него я: «Туляков, опомнись! Надо дать знать нашим, поднять в эшелоне тревогу!» Он холодно процедил: «Э, пошел ты!..» И вдруг опять впал в ярость... «Поздно, поздно!—закричал он.—Пойми—мы не можем увезти их всех. Мы не спасем ни их, ни ценностей!»

Он не убедил меня, но я его уже не останавливал...

зная сам—куда и, главное, какая опасность грозит нам! Мы были уже подле горячего паровоза, когда я услышал необычайный шум, в котором, признаться, до сих пор не отдаю себе отчета... Первое мгновение мы оба подняли головы вверх, так как нам почудилось, что над нами аэроплан! Но, убедившись в своей ошибке, я насторожил слух в другом направлении и тут услышал быстро нарастающий грохот со стороны увалов...

«Поезд! Эшелон белых!»—крикнул мне Туляков и бросился вперед, к паровозу, но я, разгадав решение этого человека, обхватил его рукою, и между нами завязалась борьба. Борьба продолжалась несколько секунд. Туляков понял, что я сильнее его, и закричал мне в упор: «Ты будешь в ответе за все, что вручено мне, за все ценности!» Этот неистовый крик, а главное, упоминание о каких-то ценностях, когда у нас на руках был целый поезд, набитый женщинами, поразил меня так, что я выпустил из рук Тулякова. Помню—близость этого человека, его жаркое дыхание мне в лицо, его искривленный рот вызвали у меня физическое отвращение. Я выпустил его. Он в два прыжка очутился у паровоза. «Полный ход!»—крикнул он выглядывавшему из окна машинисту. Вслед за тем я услышал шум пара и пришел в себя. «Стой!»—закричал я в свою очередь, вскочил на площадку паровоза и сунул в лицо машиниста свой браунинг. Тогда произошло нечто отвратительное. Туляков схватил меня за полу, оттащил в сторону, стал умолять меня; он говорил вполголоса, бессвязно, но я успел понять, что мы

имеем дело с эшелоном белых, прибывшим с ближайшей станции, что никакой возможности для борьбы у нас нет и что теперь дорога каждая минута!..

«Пойми, Баймаков!—убеждал он меня.—Ведь у нас золото, все наши ценности! Ведь если все это попадет к врагу, нас надо расстрелять! И ты не смеешь вмешиваться...» Он снова рванулся к паровозу, и снова я обхватил его. А шум со стороны, из ночи, нарастал, близился. И вдруг Туляков затих в моих руках, и тут же инстинктом я угадал опасность—короткое движение его руки к карману... Я перехватил его руку в тот момент, когда она уже вцепилась в наган. Тогда я с такой силой сжал эту руку, что услышал хруст, но он... понимаешь ли... этот человек даже не вскрикнул! Он сказал: «Негодяй ты, Баймаков!» И сказал это с таким убеждением и так спокойно, что я, несмотря на все свое возбуждение, изумился. Ты понимаешь: эти слова должен был бросить ему в лицо я!.. Чувствуя, что мои руки ослабли, он повел плечом, освободился, но уже не пытался бежать. Стоял, как истукан, без слов, и я не видел, что у него делалось в лице. Самое нехорошее было именно это: я не видел, что с ним, и почему он вдруг стал таким.... Теперь накинулся на него я: «Туляков, опомнись! Надо дать знать нашим, поднять в эшелоне тревогу!» Он холодно процедил: «Э, пошел ты!..» И вдруг опять впал в ярость... «Поздно, поздно!—закричал он.—Пойми—мы не можем увезти их всех. Мы не спасем ни их, ни ценностей!»

Он не убедил меня, но я его уже не останавливал...

Он подбежал к паровозу, и я услышал с тендера голос: «Сейчас!» Но паровоз не трогался. Туляков кричал что-то, бранился. Паровоз не трогался. Мне представилось, что машинист на моей стороне. Я кинулся в вагон и закричал тем двум, с винтовками: «Замною!» Я выбежал из вагона, не оглядываясь, но, сделав несколько шагов, понял, что караул остался глухим к моему призыву... Тогда я возвратился и почти силою заставил караульных следовать за мною. Я слышал у себя за спиною, как они топотали, но их бег не походил на мой... Я бежал, и навстречу мне нарастал гул... Мне до сих пор неясно, когда именно этот шум прекратился. Кажется, в ту минуту, когда я, поровнявшись с первым нашим вагоном, закричал: «Товарищи!».

Надо тебе сказать, что я не терял себя. Во всяком случае, я совершенно не думал о своей безопасности и о себе вообще. В мозгу у меня сверлила одна мысль—о Тулякове, о его невозможном, нетерпимом поведении. И в то же время я совершенно трезво соображал, что он прав, что спасти всех невозможно! Но, думалось мне, если не всех, то хотя бы немногих, хотя бы тех, кто успеет добраться к паровозу, к вагону... И с этою мыслью я закричал у первого вагона, не решаясь двинуться дальше, зная, что это было бы бесполезно. И, однако, я побежал к следующему! Во-первых, потому, что меня подгоняло нерассуждающее чувство. Во-вторых, потому, что гул со стороны путей внезапно замер, и это подняло у меня надежду: «А вдруг ничего страшного не будет!» Крича, я успел приблизиться к середине нашего эшелона

и тут увидел вдали, на путях, среди вагонов фигуры вооруженных людей. Я сразу понял, что это значит!.. Прибыл казачий поезд, высадив разведку, и вооруженная толпа с минуты на минуту должна будет ворваться на станцию. Оглянувшись, я увидел женщин, выскакивавших из вагонов. Они были в одних сорочках, иные с детьми на руках, иные с какими-то узлами. Они падали на бегу, сталкивались, цеплялись друг за друга... И только тут мне стало не по себе!..

Мартын примолк. Зина осторожно взглянула на него.

— Я понимаю, Мартын. Тут, наконец, и ты... дрогнул!..

Он перебил ее, глядя на нее пустыми глазами:

— Нет, совсем нет! Повторяю, меньше всего я думал о себе... У меня не было и капли страха за себя... Тут было другое!.. Ты понимаешь: они все бежали, как угорелые, падали в потемках, что-то тащили с собою, очевидно, не сознавая, что именно... И все это делалось в глубоком молчании, с одним молчаливым бешеным желанием—уйти, убежать, скрыться от опасности, ухватиться за всякую возможность спасения... Нечто подобное я наблюдал только однажды в жизни!.. Это было в тайге, Зина. Горел большой участок леса, и звери, большие и малые, обезумев от страха, неслись мимо, к реке... Они ломали на своем пути молодую поросль, скакали через пни, через ямы, сталкивались, впивались друг в друга зубами, падали, свернувшись в клубок... И, как тогда, так и теперь с людьми, я чувствовал свое

полное бессилие... Я находился, Зина, перед лицом чудовищной силы, эта сила двигала людей в одном направлении, и я понимал, чувствовал всем существом своим, что каждая из этих женщин, самая слабая из них, вступит со мной в яростную борьбу... И я—отшатнулся, я снова направился вдоль эшелона, к тем вагонам, в которых еще спали... Тут произошло нечто, еще более поразившее меня. Кто-то, как бы поняв мое намерение, с силою вцепился в полу моей одежды...

Это была Лузгина, жена нашего предчека.

«Куда вы? Не надо!»—прокричала она, не выпуская меня, и в голосе ее услышал я ненависть, страх, мольбу. «Что вы делаете? Не надо!» Я понял ее. Скрытая ее мысль передалась мне, как по току. Она не хотела, чтобы я бежал дальше к спящим, будил их, поднимал на ноги. Ее ужас (она припадочно вся дрожала) перед тем, что я уже наделал, удваивался при мысли о том, что я еще мог сделать: переполошить остальных, опрокинуть их в яму, в которой она, Лузгина, уже барахталась. Но это не все! По тому, как она, оставив меня, побежала затем к паровозу и все оглядывалась, почувствовал я еще и другое: она видела угрозу себе, своей жизни в людях, стремившихся к той же, что и она, цели. Слишком многие хотели спастись, не останется ей места... Ты что, Зина?..

— Так, ничего...—обронила она, проводя ладонью у себя по лицу.—Уж очень все это нехорошо!..

— Да, хорошего мало! Я до сих пор без отвращения не могу представить себе свое положение в то минуты...

Углы рта его дрожали.

— Но ты...—Зина помолчала...—Ты должен был все же что-то предпринять, Мартын! Тебе следовало заняться летучей разведкой... Наконец, ты был вооружен, подле тебя находились те двое, с винтовками!..

— Что же могли мы, втроем, против целой банды?..

Зина молчала. Он хмуро взглянул на нее.

— Поверь, что если бы со мной не было этих женщин, детей, я поступил бы так, как ты думаешь... Но... открыть стрельбу в момент, когда люди, ничем не прикрытые, барахтались вокруг тебя...

— Продолжай! Я понимаю, Мартын.

— Мне ничего не оставалось, как последовать за бегущими...—Он вздохнул.—У меня была единственная мысль—что-нибудь сделать для них, устроить их, быть самому при посадке... Ведь там оставался Туляков, которому я не доверял... И вот еще сцена! Сцена у паровоза... Женщины лезли в вагон, хватались друг за друга, роняли детей, кажется, даже дрались. Вагон был набит до отказа. Набит был и проход. Но люди взбирались на буфера, воевали за подножки. Некоторые ухитрились подняться даже на тендер паровоза. Двое караульных пытались навести порядок, но их никто не слушал, и сами они, надо быть, потерялись окончательно. Одного, в самый последний момент, я успел заметить на подножке паровоза. А со стороны нашего эшелона бежали другие женщины, и среди них увидел я тальму Уткина. Между тем паровоз развил пары и был готов к отходу. Я слышал десятки перепуганных голосов с площадки вагона: «Трогай, трогай!» Я оглянулся в

сторону путей. На одно мгновение, помню, меня озадачило, почему белые еще медлят, не обстреливают нас, молчат. Но вот за дальними вагонами показались вооруженные люди, они были в строю, в цепи, бежали куда-то в сторону, и я сразу решил: они хотят взять станцию в кольцо, охватить в щего все живое... Я стоял подле самого вагона и смотрел на происходящее окаменело, сторонне. На душе у меня стало, как раньше, пусто: не было ни страха за себя, ни жалости к людям. Вдруг паровоз пыхнул, вздрогнул и начал отделяться от меня. Я понимал, что он движется, уходит... Понимали это и те, что, опередив Уткина, бежали к нам. У одной женщины была подушка (ну да, подушка!). В двух саженях от вагона она выронила ее, сразу не заметила, а заметив, повернула обратно, и я видел, как она подымала свою драгоценную ношу... А вагон продолжал отделяться от меня, я сделал шаг за ним, еще шаг... рядом с подножкой! Те, счастливые, что стояли в проходе, были, видимо, так рады за себя, что вспомнили и обо мне. Они протягивали ко мне руки. Но вот, оглянувшись еще раз, я увидел: Уткин поравнялся с той, которая поднимала подушку, он уже был в трех, в двух шагах от вагона...—А вагон и я—рядом с подножкой—удалялись от него.

Ты знаешь, Зина, в этот момент я снова вышел из своего тупого состояния, во мне опять зашевелились острые чувства... Они были вызваны Уткиным! Он бежал и—не мог нагнать нас. В свете фонаря мне было видно его лицо: оно было черно, глаза вытаращены, глаза его были мокры и казались глян-

цевитыми. Ртом он ловил воздух, махал руками, как бы цепляясь за нас, недостижимых... Я был бы искренно огорчен, потрясен, если бы он тогда нагнал нас! Я не мог бы оставаться ни одной минуты там, где был этот человек. У меня не могло быть места рядом с ним, об руку с ним!..

Зина перебила его. Она была бледна.

— Это никуда не годится, Мартын!

— Может быть! Но я подхожу к концу, не перебивай меня... Вагон наш прибавлял ходу, я видел, что он начинает двигаться сильнее меня. Я уже на локоть отстал от подножек... Впереди—черно, ветрено, пустынно. Позади—Уткин. Он кричал. Я услышал визг и оглянулся в последний раз: Уткин настигал нас... Этот жалкий, ничтожный человек, которого я тогда дико ненавидел, заслонил собою весь мир! Я уже не думал о других... Для меня никого, кроме него и себя, не существовало... И вот...—Мартын взволнованно откинул голову.—И вот, Зина, я остался сам с собою, я остался наедине с собою: этот человек, налетев на какие-то пустые ящики из-под груза, с шумом упал и пополз на четвереньках... Я рванулся вперед, моя рука скользнула по стене убежавшего вагона. Вагон ускользал от меня! Я напряг все силы, какие еще оставались у меня, я не бежал, а кидал всего себя вперед, мое тело падало вслед за бегом вагона, и вдруг моя рука овладела перильцами над подножкой. Я вцепился в железо, как будто земля рушилась подо мною.

Он перевел дух и уже другим, почти равнодушным голосом добавил:

— Потом... потом меня с силой толкнуло, сбilo с ног, но перилец из своей руки я не выпустил!..

— И ты... посхал, да?—шопотом спросила Зина.

— Да, я взобрался на подножки, потому что иначе... попал бы под колеса...

Она с горечью усмехнулась.

— Ага! Значит, ты сделал это поневоле?

Не получив ответа, взглянула на него широко открытыми, знающими глазами, и в них Мартын увидел слезы.

— Как это все скверно!—произнесла она, порывисто захватив его руку в свою.—Скверно, скверно, Мартын!

Она начинала понимать, какая беда стряслась над ним и как он должен был страдать потом за эту свою темную вспышку инстинкта, за все то паническое и безобразное, что произошло с ним в Липках.

Но он отстранил свою руку. Она—свою.

— Я едва держался на подножке...—продолжал он рассказ.—Паровоз усиливал ход. Еще не было поздно... Я мог спрыгнуть на полотно, и одно мгновение готовился к этому... Я видел впереди себя фигуру красноармейца с винтовкой на подножке паровоза. Он мог взобраться выше, чтоб занять более удобное положение, но не делал этого. И я слышал оттуда, со стороны станции, отчаянные женские крики.

«Стреляют!»—воскликнул кто-то за моей спиной с площадки. Я удивился, как этого не слышал сам. Из черноты ночи в шум нашего паровоза врывались короткие залпы, но они были очень далеко, как бы даже где-то вверху... Тогда я... вместо того, чтобы

спрыгнуть... перехватил перильца другой рукой и стал на подножке крепче. Вагон шел полной скоростью. Вдруг, придерживаясь за стены, через мои плечи потянулся Туляков. Он вглядывался в темноту, дышал тяжело, порывисто...

— Зина!

Она робко подняла глаза, как бы опасаясь, что Мартын прочтет в них то, чего ему не следовало бы видеть.

— Ну?

— Я был несправедлив к Тулякову... Он действительно не думал о себе, он думал только о казне!.. Представь себе: там, на станции, в эшелоне, осталась его жена... жена и двое ребят!.. Ни одним словом, ни тогда, когда мы ехали к Липкам, ни теперь, когда убегали, он не обмолвился о них. Но он любил их, чорт возьми!.. Об этом говорили все в вагоне, говорили о Марье Гавриловне, которая осталась в дальнем вагоне и, надо быть, так и не слышала переполоха. А у Марьи Гавриловны—пятилетний Коля и полугодовая Симочка... Колю Туляков часто брал с собою на собрания. Колю он таскал по коридорам губкома на плечах—верхом. У Коли были светлые глаза, отцовские. И теперь они, все трое, метались там, на станции, в ужасе—Марья Гавриловна с Симочкой на руках, и Коля подле нее, а их отца паровоз уносил прочь... потому что партия, вручив ему ценности, приказала: «Ты должен сохранить это!» Он—герой, Зина!..

— Он исполнял свой долг, Мартын!

Мартын вздрогнул.

— Не в пример мне!—пробормотал он.

Зине стало досадно на него за эту его фразу. В то же время она понимала, что ей нужно что-то сказать, чем-то помочь ему. И, сознавая, что ее молчание может быть истолковано им по-своему, она еще ниже склонила голову.

— Ты осуждаешь меня?—сказал он с оттенком плохо скрытой обиды.

Это было совсем нелепо с его стороны—задавать такой вопрос. Неужели она должна была восхищаться им?.. Помимо воли она сухо улыбнулась. Он продолжал:

— Вот видишь, даже ты не поняла меня... Да, да, не спорь! И я знаю, что никто не поймет меня, что бы я ни говорил... Никто, никогда!—В голосе его послышалось отчаяние.—Когда я стоял тогда в проходе вагона и слушал отрывистый разговор о покинутой семье Тулякова, мне стало так тоскливо, будто я уже никогда не увижу солнца, никогда не услышу человеческой ласки... И вот—точно волна накатила на меня: я почувствовал омерзительную к себе ненависть!..

Зина потупилась.

— Да?

Если бы Баймаков был менее увлечен своим рассказом и не переживал бы вновь всех мук раскаяния, он услышал бы в коротеньком вопросе Зины нечто похожее на приговор. Но он не расслышал в ее голосе едкой усмешечки и продолжал взволнованно:

— Да, в те минуты я чувствовал себя так, точно уже был пригвожден к позорному столбу... А между,

тем, где-то в глубине мозга у меня еще тогда была мысль, что я не заслуживаю этого позора! Ведь не из трусости же ухватился я за перильца подножки... Повторяю, Зина, я был так безразличен к своей особе, что о трусости не могло быть и речи... Ты понимаешь! Здесь работала какая-то страшная не думающая сила: она подхватила меня в последний момент, напрягла мускулы моей руки, вложила в нее свою волю, и... я вцепился в перильца!..

— Это—твоя ошибка!..

— Да, но у меня не было выбора! Говорю тебе, это случилось помимо моего рассудка, вне моей воли... Это было то же самое, как если бы я, падая с кручи, уцепился за выступ!..

— Понимаю... Ты уцепился... за вагон, чтобы не скатиться обратно... к своему эшелону, к оставленным тобою женщинам!

Новый открытый ее вызов также не имел успеха. Мартын был как бы выше ее колких замечаний. Он молчал, глядя на нее невидящими глазами. Он глядел в глубь себя и, без сомнения, тяжело страдал, сознавая, что не знает таких слов, которые по-настоящему передали бы об этом несчастном случае с ним. И еще он думал, что случай этот особенный, что случай этот выходит из ряда вон и мог произойти только с ним, Мартином Баймаковым.

— Что же было дальше?—спросила Зина, стараясь смахнуть с себя очарование страдающих его глаз: в глазах его было, в самом деле, нечто такое, что убеждало без слов, затягивало, покоряло.

— Дальше?—голос его стал опять равнодушным,

будто все, что случилось с ним потом, не имело никакого значения.—Дальше я выпрыгнул из вагона.

— Мартын!—она начинала надеяться.

— Да, на одном из подъёмов я выпрыгнул, перевернулся в воздухе и угодил на свежую насыпь. От места моего прыжка до станции было не более десяти верст, но я повредил себе ногу... Я плелся назад черепахою. И потом... сделав с версту, я, к своему ужасу, убедился, что при падении выронил из кармана оружие. Я должен был возвратиться. С большим трудом отыскав свой браунинг, я вновь пошел. Я шел и от боли падал. Прележав с минуту, снова шел. Последнюю версту я шел, рыча от боли. Но я добрался...

У Зины горели глаза. Она ждала, затаив дыхание. Она теперь видела, что для него не все потеряно.

— Да, я добрался... Но... к шапочному разбору!—Он вдруг залился надсадным хохотком.—Светало, и я увидел с насыпи мирную, очень мирную картину: станция жила своею жизнью, не было ни выстрелов, ни сражения... За околицей ватага армейцев готовила себе завтрак... По путям бродили люди и среди них... эти... наши женщины, дети! Я услышал женский смех там, где приготавлился завтрак, и это было ужасно, ужасно, Зина! Я шел сюда, теряя минутами сознание от боли, но все же шел... в надежде встретить врага, если надо—умереть! А тут все было мирно, и они, понимаешь, смеялись...

Он замолчал.

— В чем же дело?—упавшим голосом проговорила Зина.—В чем дело, Мартын?..

— Разве ты об этом еще не слыхала? Я сам узнал правду много позже... Тогда же, добравшись до станции, я потерял сознание и много часов пролежал в бреду. Там был врач, он говорил людям, что у меня что-то вроде горячечного пароксизма. В бреду я стоял и хватался за свою ногу. Ее осмотрели, поправили: пустяк, что-то с сухожилием. Через двое суток я пришел в себя. Это был прескверный момент, Зина! Полуоткрыв глаза, я увидел женское лицо над собою. Мне удалось узнать одну из эшелона. То была жена Синицына, нашего губпродкомиссара. Она не успела заметить, что я пришел в себя. С закрытыми глазами пролежал я с час, слышал, как она опра-вляла мое одеяло, меняла холодную тряпицу на моей голове. Касания ее руки жгли меня... Я вздрагивал под ее рукою, как от физической боли. Присутствие этой женщины было непереносимо... Я успокоился, только когда она покинула меня. Открыв глаза, увидел себя в чистой, светлой комнате. По пузырькам на столике угадал, что за мною ухаживали. Я вспомнил все и не хотел возвращаться к действительности. Потом пришли еще женщины, очевидно, с тем, чтобы сменить Синицыну. «Что же это такое—думал я,—они хлопчут тут, точно я сражался за них и пал!..» И по осторожному разговору их между собой я убедился, что о моих приключениях здесь или вовсе не знают, или же объясняют их по-своему... Это была пытка, Зина! Мне нужна была хотя бы одна минута покоя, отдыха... Но, представь себе, эти женщины не оставляли меня еще целые сутки!..

— Странно!—перебила его Зина.—Ты сознавал себя невинным и так все же страдал?...

— Да! И тогда, и после! Я знал и знаю, что никогда не сумею рассказать людям так, чтобы они поняли меня... Ведь перед ними — только факты, одни голые позорные факты... К тому же женщины, покинутые мною, сестры этих людей, жены, возлюбленные!..

Мартын встал и зашагал по комнате. Потом, остановившись у скамьи, он неожиданно проговорил:

— Слушай, Зина! Я знаю, что ты... не совсем равнодушна ко мне...

Вздвигнув, она вскинула на него глаза.

— Я говорю о твоём ко мне отношении как женщины, Зина!

В её глазах вспыхнуло удивление, потом испуг.

— С чего ты взял, Мартын?

Он не отвечал, о чём-то своим думая. И с нескрываемой досадой она сказала ему:

— Дико! Какое отношение к твоему рассказу может иметь моё к тебе чувство?..

Он молча дошел до стены и неторопливо повернул обратно. Глаза его рассеянно устремлены были в сторону.

— Чудной ты, Мартын!

— Почему же? — отозвался он спокойно. — Я вспомнил ту ночь, у монастырской стены...

Она прихмурила брови.

— Отлично! Но почему же вдруг вспомнил ты эту ночь?..

Он улыбнулся прозрачно и мягко.

— Почему?.. Видишь ли... Там, у монастырской

стены, я впервые подумал, что если бы стал кого-нибудь любить, то... лишь тебя, Зина!..

На этот раз она растерялась.

— Благодарю за честь!—пробормотала она, стараясь быть насмешливой.—Но мне хотелось бы еще раз спросить тебя: к чему все это?..

— Так! Ни к чему! Мне... очень жаль...—Он неловко провел рукою по своей щеке.—Там, в Липках, первая моя мысль, едва я пришел в себя, была о тебе, Зина! Даже не о тебе, а о том, что можешь сказать обо мне ты... ты, когда узнаешь мою историю!..

— И тебе... было неприятно?..

— Э!—усмехнулся он.—Если бы только неприятно... Но что же ты скажешь теперь об этой истории?..

Он стоял, глядел на нее, ждал. Зина чувствовала, что это—сверх ее сил, и торопливо, цепко искала внутри себя опоры. Не найдя, совсем растерялась. И тут поднялось у нее глухое раздражение против него. Чего хочет он? И что это за человек такой? Как смеет он после всего только-что им рассказанного говорить ей о своих чувствах? Ведь она может истолковать его признание, как желание парализовать ее совесть?

Наконец, она нашла решение. Глаза ее сузились, губы прыгали от обиды. Она сказала:

— Ты ошибаешься, Мартын! И тогда, у монастырской стены, и теперь... когда ты хотел подменить наш деловой разговор интимным признанием, я была равнодушна к тебе...

Он сморгнул, отвернулся, краска залила ему скулы.

Она поднялась на месте, чувствуя всю непоправим-

— Да! И тогда, и после! Я знал и знаю, что никогда не сумею рассказать людям так, чтобы они поняли меня... Ведь перед ними—только факты, одни голые позорные факты... К тому же женщины, покинутые мною, сестры этих людей, жены, возлюбленные!..

Мартын встал и зашагал по комнате. Потом, остановившись у скамьи, он неожиданно проговорил:

— Слушай, Зина! Я знаю, что ты... не совсем равнодушна ко мне...

Вздрогнув, она вскинула на него глаза.

— Я говорю о твоём ко мне отношении как женщины, Зина!

В её глазах вспыхнуло удивление, потом испуг.

— С чего ты взял, Мартын?

Он не отвечал, о чём-то своим думая. И с нескрываемой досадой она сказала ему:

— Дико! Какое отношение к твоему рассказу может иметь моё к тебе чувство?..

Он молча дошел до стены и неторопливо повернул обратно. Глаза его рассеянно устремлены были в сторону.

— Чудной ты, Мартын!

— Почему же?—отозвался он спокойно.—Я вспомнил ту ночь, у монастырской стены...

Она прихмурила брови.

— Отлично! Но почему же вдруг вспомнил ты эту ночь?..

Он улыбнулся прозрачно и мягко.

— Почему?.. Видишь ли... Там, у монастырской

стены, я впервые подумал, что если бы стал кого-нибудь любить, то... лишь тебя, Зина!..

На этот раз она растерялась.

— Благодарю за честь!—пробормотала она, стараясь быть насмешливой.—Но мне хотелось бы еще раз спросить тебя: к чему все это?..

— Так! Ни к чему! Мне... очень жаль...—Он неловко провел рукою по своей щеке.—Там, в Липках, первая моя мысль, едва я пришел в себя, была о тебе, Зина! Даже не о тебе, а о том, что можешь сказать обо мне ты... ты, когда узнаешь мою историю!..

— И тебе... было неприятно?..

— Э!—усмехнулся он.—Если бы только неприятно... Но что же ты скажешь теперь об этой истории?..

Он стоял, глядел на нее, ждал. Зина чувствовала, что это—сверх ее сил, и торопливо, цепко искала внутри себя опоры. Не найдя, совсем растерялась. И тут поднялось у нее глухое раздражение против него. Чего хочет он? И что это за человек такой? Как смеет он после всего только-что им рассказанного говорить ей о своих чувствах? Ведь она может истолковать его признание, как желание парализовать ее совесть?

Наконец, она нашла решение. Глаза ее сузились, губы прыгали от обиды. Она сказала:

— Ты ошибаешься, Мартын! И тогда, у монастырской стены, и теперь... когда ты хотел подменить наш деловой разговор интимным признанием, я была равнодушна к тебе...

Он сморгнул, отвернулся, краска залила ему скулы.

Она поднялась на месте, чувствуя всю непоправи-

мость того, что наделала. Но он уже оправился и привычно откинул голову.

— Ты не поняла меня!—скалал он ровно, без тени сожаления или упрека.—Не понял и я тебя... Мне казалось, что ты не как все, Зина!..

— Нет, Мартын, я—как все! Я не хуже и не лучше других! Но речь шла не обо мне... Может быть, ты закончишь?..

— Мне нечего заканчивать! Я все передал тебе.

— Но что же случилось там, на станции, когда ты...—она искала выражения,—когда ты был в пути, в вагоне?

— В том-то и дело, что там, строго говоря, ничего не случилось... Да, да...—повторил он с раздражением, точно ему возражали.—Ничего страшного... Ничего такого, что могло бы оправдать наше... мое бегство... В двадцати верстах к югу, на станции, стоял красноармейский отряд. Ночью отряд получил сообщение, что к Липкам с юго-востока, из какого-то местечка, подвигается пехота генерала. Отряд залез в вагоны, прибыл в Липки, рассыпался в цепь... Генеральский отряд, наткнувшись на пулеметы, отступил, выпустил по станции несколько зарядов шрапнели и... все!.. На станции был убит какой-то нищий, одной из женщин поранило слегка руку...

— Таким образом...—Зина опустила глаза.—Таким образом, вы с Туляковым бежали... от своих, от красных?..

Он не отвечал. Молча опустил у стола, рассеянно взглянул на нее, вдруг улыбнулся, но так, что губы перекосило.

— Уткин сказал мне, что, возвратившись на станцию, я искупил свою вину...

— Уткин?—Она не могла скрыть удивления.—Разве ты говорил с Уткиным?

— Да, в Липках! Я рассказал ему все, что случилось со мною. Не удивляйся! Я со многими пытался говорить...

— Со многими?—Зина нехорошо улыбнулась.—Какой ты, однако...

— Я буду добиваться суда над собою!—проговорил он, глядя поверх ее головы.—Самый тяжелый приговор будет для меня все же легче того молчания, которое окружает меня.

— Но ты сам виноват в этом молчании!—заметила она.—Надо было сразу...

— Обо всем рассказать вам?—подхватил он.—Нет, ты ошибаешься! Это... мне уже... не поможет! Тут должна сказать свое слово партия...

Зина задумалась.

— Пожалуй!—согласилась она, но неуверенно.—И все же, Мартын, мне кажется, что ты... как бы это сказать?... преувеличиваешь... свою вину!..

— Я? Напротив! Я говорил уже тебе, что вовсе не считаю себя виноватым...

Она досадливо тряхнула плечом.

— Отказываюсь понимать тебя, Мартын!..

— Я ожидал этого, Зина.

Он прямо глядел на нее.

— Я не упрекаю тебя!—продолжал он.—Понять меня мог бы только тот, кто сам пережил что-нибудь подобное... Кто хоть раз в жизни испытал эту власть

животной силы, именуемой... чувством самозащиты... Ты прости меня, Зина!—торопливо добавил он.— Я вообще жалею, что заговорил с тобою об этом дрянном приключении...

— Почему же?—едва слышно произнесла она.

— Потому, Зина...—Голос его вдруг согрелся.— Потому, славная моя, что в глазах у тебя... ясно, как у мудреца или ребенка!—Он взял ее руку.—Ты такой человек...

Он не закончил и в порыве неприкрытой нежности потянул ее руку к губам. Она торопливо ее высвободила, в глазах у нее появилась тревога. И, роняя свою руку на стол, она, вспомнив что-то свое, с испугом глядела на нее, как на что-то живущее само по себе, безобразное, угрожающее ей. Затем щеки и лоб ее покрылись бледностью. Она справилась с собою, но Мартын истолковал ее тревогу по-своему. Складка залегла у него между бровей.

Зина взглянула на него, приподнялась, схватила за плечо.

— Мартын, прошу! Я не хотела обидеть тебя... Но ты не знаешь, ты ничего не знаешь... Ты принимаешь меня за другую... Я не то, что ты думаешь. Я недостойна тебя, Мартын!

Угадывая за ее словами нечто более значительное, чем слова эти выражали, он тихонько сказал:

— О чем ты?.. Успокойся... Что ты хочешь сказать?..

Она отвернулась, пряча свои слезы.

— Зина! Не скрывай от меня... Неужели я... неужели я возбуждаю в тебе отвращение?..

— Что ты, Мартын! — быстро повернула она к нему свое мокрое от слез лицо. — Да имею ли я право судить тебя?.. Нет, нет! Я — о своем, о другом... Но ты не спрашивай! Прошу тебя — не спрашивай меня...

Ее рука легла ему, на плечо, коснулась его головы, порывисто приласкала.

— Не надо, хороший мой! Не спрашивай... Я просто вспомнила один неприятный случай в своей жизни... Пустяки!..

Но он уже насторожился. Выронил ее руку. Заглядывал в глаза ей холодно, хмуро.

— Как тебе уютно... Можешь не говорить!..

Казалось, он позабыл о своем горе, обо всем, что перед тем доставляло ему страдание.

— Не хочу неволить тебя!..

Голос его был придушен. Зина поняла, сколь она не безразлична ему, и, готовая забыть все, что стряслось с ним, заговорила торопливо:

— Мартын, я знаю, ты предан революции... И верь, что моя жизнь также принадлежит ей... Но я не поняла тебя, почему... — Она как бы сглотнула слюну. — Почему тебе... жаль той ночи... у монастырской стены?.. Ты знаешь: я тоже вспоминала обо всем...и о тебе... Мы с Михантом Ивановичем часто говорили о тебе, Мартын... И ты знаешь: он любит тебя... Он только не показывает этого, но любит, любит... Ты очень близок и дорог ему... В вас есть что-то родное, общее!..

Мартын резко качнул головою.

— Между нами ровным счетом ничего общего!

— Возможно! Но мне всегда так казалось... К Ми-

ханлу Иванычу я отношусь, как к старшему другу, Мартын!..

— Это меня не касается!..

— Я—между прочим!..— Она отвела глаза.—Так ты и впрямь вспоминал обо мне?.. Мартын, скажи, ты любил кого-нибудь?..

У Мартына скользнула на губах улыбка.

— Не скажу! К чему?.. Или ты, как все женщины, эгоистка?..

— Можешь не отвечать... Конечно, я не имею права!..

Он поймал в ее голосе острую нотку, и почему-то вдруг вспомнил маленького пушистого зверька с оскаленными зубами: видел такого в тайге, на севере, под елью, проносясь мимо на лыжах.

— Зина! Мы говорим с тобой, как малые ребята... В чем дело? Хочешь, я прямо скажу о своем к тебе отношении...

— Нет, нет!—перебила она его.—Молчи!..

— Вот видишь, ты сама не желаешь!..

— Потом, Мартын!—Она подняла на него влажные, лучащиеся глаза.—Я верю тебе... Дай мне твою руку... Мартын, хороший! Сделай так, чтобы тебе... не мучиться... от этой проклятой истории! Сделаешь?..

Он опять улыбнулся, и от улыбки вокруг его рта обозначились морщинки, как у тяжело-больного, а ржанные ресницы сошлись и прикрыли потемневшую синеву.

— Постараюсь, Зина, но не обещаю! Видишь ли, тут дело не в этой только истории... Я боюсь, что никогда не научусь презирать смерть!..

— Но разве ты страшишься ее?

— В том-то и беда, что страха нет, но нет и равнодушия! Я не могу, там, где речь идет о смерти, быть расчетливым, холодным... Ты сказала, что у меня с Михаилом Ивановичем есть общее... Нет, ты не знаешь Черноголового! Вот он действительно презирает смерть... Может быть, оттого, что презирает и жизнь, свою личную!.. А я... я не могу, даже представить себе, что когда-нибудь умру, не буду двигаться, видеть, дышать... Я люблю жизнь! Но она... понимаешь ли ты это?—она теряет для меня цвет и вкус, так как я вечно ощущаю себя в ней...

— Философия, Мартын!..

— Нет, для меня это—реальный мир!—Он помолчал.—Кажется, я начинаю прозревать... Чтобы наслаждаться жизнью, революционер должен научиться презирать ее!.. И только в этом случае мы будем холодны в нашей игре с опасностями... как, скажем, электромонтеры в военное время среди проводов высокого напряжения!.. Эти рабочие подолгу висят в воздухе, среди проволок, под током, в одних рукавицах, и каждое неосторожное их движение... Но они, понимаешь ли, поют песни, шутят и перекликаются, точно находятся у себя, за домашним своим столом.

— Привычка, Мартын!..

— Привыкнуть к страданию, к страху, к угрозам смерти нельзя!..

— Но, Мартын, терпение первобытного человека, человека-раба, близко этой привычке!

Он откинул голову.

хаилу, Иванычу, я отношусь, как к старшему другу, Мартын!..

— Это меня не касается!..

— Я—между прочим!..—Она отвела глаза.—Так ты и впрямь вспоминал обо мне?.. Мартын, скажи, ты любил кого-нибудь?..

У Мартына скользнула на губах улыбка.

— Не скажу! К чему?.. Или ты, как все женщины, эгоистка?..

— Можешь не отвечать... Конечно, я не имею права!..

Он поймал в ее голосе острую нотку, и почему-то вдруг вспомнил маленького пушистого зверька с оскаленными зубами: видел такого в тайге, на севере, под елью, проносясь мимо на лыжах.

— Зина! Мы говорим с тобой, как малые ребята... В чем дело? Хочешь, я прямо скажу, о своем к тебе отношении...

— Нет, нет!—перебила она его.—Молчи!..

— Вот видишь, ты сама не желаешь!..

— Потом, Мартын!—Она подняла на него влажные, лучащиеся глаза.—Я верю тебе... Дай мне твою руку... Мартын, хороший! Сделай так, чтобы тебе... не мучиться...от этой проклятой истории! Сделаешь?..

Он опять улыбнулся, и от улыбки вокруг его рта обозначились морщинки, как у тяжело-больного, а ржаные ресницы сошлись и прикрыли потемневшую синеву.

— Постараюсь, Зина, но не обещаю! Видишь ли, тут дело не в этой только истории... Я боюсь, что никогда не научусь презирать смерть!..

— Но разве ты страшишься ее?

— В том-то и беда, что страха нет, но нет и равнодушия! Я не могу, там, где речь идет о смерти, быть расчетливым, холодным... Ты сказала, что у меня с Михаилом Ивановичем есть общее... Нет, ты не знаешь Черноголового! Вот он действительно презирает смерть... Может быть, оттого, что презирает и жизнь, свою личную!.. А я... я не могу, даже представить себе, что когда-нибудь умру, не буду двигаться, видеть, дышать... Я люблю жизнь! Но она... понимаешь ли ты это?—она теряет для меня цвет и вкус, так как я вечно ощущаю себя в ней...

— Философия, Мартын!..

— Нет, для меня это—реальный мир!—Он помолчал.—Кажется, я начинаю прозревать... Чтобы наслаждаться жизнью, революционер должен научиться презирать ее!.. И только в этом случае мы будем холодны в нашей игре с опасностями... как, скажем, электромонтеры в военное время среди проводов высокого напряжения!.. Эти рабочие подолгу висят в воздухе, среди проволок, под током, в одних рукавицах, и каждое неосторожное их движение... Но они, понимаешь ли, поют песни, шутят и перекликаются, точно находятся у себя, за домашним своим столом.

— Привычка, Мартын!..

— Привыкнуть к страданию, к страху, к угрозам смерти нельзя!..

— Но, Мартын, терпение первобытного человека, человека-раба, близко этой привычке!

Он откинул голову.

— Я говорю не о рабах, Зина! Люди простые, лишенные культуры, еще и теперь похожи на твоего первобытного человека... Что такое Каратаев Толстого, этот круглый, захлебывающийся жизнью, терпеливый, покорный мужик? Раб, конечно... Но мой пример с электромонтерами говорит о другом! Здесь не только привычка, терпение, покорность... Всего этого слишком мало, чтобы так совершенно владеть собою... Здесь, Зина, другое! Здесь человек бесстрашен, спокоен и радостен потому, что... знает! Он знает, с какими силами имеет дело, он изучил, прощупал на опыте каждое движение, каждый поворот этих сил... Тут, Зина, человеческий мозг, знание, господство над тайною!..

Зина смотрела на него напряженно-внимательными глазами, губы ее слегка распались, тугая морщинка сводила ей брови. Он поймал этот взгляд и засмеялся—впервые с того дня, как возвратился из Липок.

— Тебе легче, Мартын?—склонила она в его сторону.

— Да, мне легче... но...

— Но?

— Я подумал сейчас о прославленном русском интеллигенте, облегчающем свою душу болтовнею!..

— Разве это похоже на тебя?..

— И да, и нет! Я не Каратаев, я давно не Каратаев... Но и до электромонтера мне далеко!

— Как же быть, Мартын?

Это вырвалось у нее бездумно, и таким наивно-соболезнующим было при этом выражение ее глаз,

что он, снова рассмеявшись, невольно потянулся к ней.

— Зина! Знаешь, чего мне хочется сейчас, в эту самую минуту?

— Скажи.

— Всего-навсего... поцеловать тебя!

— Почему же?..

Но он уже притянул ее к себе, и она покорно, сжав плотно губы, подставила ему, рот. Он ощутил тонкие и холодные ее губы, оторвался от нее, застучал ладонью о стол.

— Бис, бис! У нас впереди огромная работа: научить секретаря губкомá целоваться... Ты, Зинушка, этого еще совсем, совсем не постигла!

Только теперь в смутности ее щек просквозил румянец.

— Не дурачься, пожалуйста!—сказала она прыгающим голосом.—Ты переходишь с одной темы на другую с легкостью... с легкостью самовлюбленного человека!..

— Да нет же, товарищ!—все еще весело откликнулся он.—Какая тут, к чорту, самовлюбленность! Я вовсе не люблю себя! Я решительно недоволен собою... Разве ты этого не видишь?..

Она колебалась, что-то обдумывая. Он повторил уже с оттенком настойчивости:

— Нет, право, Зина!

Его ресницы, совсем желтые под ярким светом, дрогнули.

— Что ты молчишь?—проговорил он уже сухо.— Я не выношу шуток!..

Тогда она шагнула к нему, стала совсем близко.
— Верю, Мартын! Верю, что ты очень страдал и страдаешь... Не сердись на меня!..

Чувствуя его руки у себя на спине, Зина, вздрагивая, прижалась щекою к его плечу.

Так, близко друг к другу, и молча, стояли они некоторое время.

Потом, ласково отстраняя ее, Мартын сказал спекшимся голосом:

— Нет, я не готов, Зина! В моей таратайке мне самому тесно... И я еще не знаю, куда ее вынесет, эту таратайку, и вынесет ли вообще когда-нибудь... Ты не обижайся!..—добавил он поспешно, заметив, как запрыгали ее губы.

Зина молчала, опустив глаза. Он ждал. Наконец, подняв к нему все еще жаркое свое лицо, она негромко, но внятно и улыбочиво проговорила:

— Плохо же ты меня знаешь, Мартын... Я никогда не попрошусь к тебе в седики!..

XIV

Закрытое собрание партийного актива, на котором Мартын Баймаков давал свои объяснения, мало походило на суд, но оно уделило достаточно внимания делу, и председатель собрания Михаил Иванович держал себя совершенно официально. Может быть, несколько суше, чем это требовалось даже от председателя ревтрибунала. Только моментами он терял свое ледяное равновесие, но это оставалось мало заметным для окружающих. В первый раз вывел из себя Михаила Ивановича Клепиков. Был Клепиков

наряден и весел, что особенно бросалось в глаза при мрачноватом настроении в зале.

Он рассказал (хотя об этом никто не просил его) о случае нападения на него Баймакова в помещении губкома и закончил свое показание так:

— Я прошу учесть этот факт! Так мог держать себя только... жиган!..

Тут вот и поднял Черноголовый голос. Его бесстрастная снежная голова вдруг откинулась на спинку кресла, за толстыми стеклами очков сверкнул зеленый огонек, он сказал жестяным тоном:

— Прошу товарища Клепикова помнить, где он находится и что из себя представляет... Почему ты здесь? В силу постановления губкома ты должен быть на продфронте!..

Клепиков смешался, оглянувшись, заметил улыбочки по рядам и, с ненавистью уставившись на председателя, проговорил сдавленным голосом:

— Я остался в городе потому, что такова была воля губкома!

Желчный Жданов прокричал от стола президиума:

— Еще бы! Ты забросал нас ходатайствами...

Михаил Иванович остановил Жданова.

— Стоп... Садись, Клепиков, твое слово окончено!

— Нет, еще нет!—побледнев, заговорил Клепиков.—Заявляю еще раз, что нахожусь здесь не по своей воле. Но если об этом забывают или хотят забыть... завтра же отправляюсь в уезд!..

— И очень хорошо сделаешь!—бросил Черноголовый.

Прежде чем сесть, Клепиков измерил окружающих

загадочным взором. Михаил Иванович следил за ним до самого того момента, пока он не опустился на скамью, тщательно перед тем подобрав концы повенького своего френча.

Зина Кудрявцева, благодарно взглянув на Михаила Ивановича, подметила в его глазах едкий летучий огонек. Теперь она не сомневалась: Клепиков разгадан Черноголовым.

В зале было душно, потно и шумно. Время приближалось к полночи. Вопрос о Баймакове поставили сверх повестки собрания. Повестка заключала в себе текущий момент: положение на фронте, продразверстка, борьба с эпидемией тифа. Выступали военные, много говорил Синицын, толково и обстоятельно выкладывали свои соображения губздравотдельцы.

Болезни, голод, кулацкие беспорядки в деревнях и наступающий с юга лавиною враг,—все это накалило атмосферу собрания до предела, и теперь, когда перешли к делу Баймакова, за столом президиума почувствовали, что дело это может принять неожиданный, тяжелый оборот. Губарев склонился к Михаилу Ивановичу и вполголоса предложил отложить вопрос на другой раз. Но Черноголовый не дослушал, поднялся за столом и начал стучать чайною ложечкой о стакан.

— Товарищи, заседание не окончено!—возгласил он, откидывая ложечку и вытирая о настольное сукно свои пальцы (ложечка была липкая, в сахарной воде).—Я обещал товарищу Баймакову, десять минут для заявления. Я не мог отказать ему. Он указывает на то, что не в состоянии нормально вести какую бы

то ни было работу, пока не будет знать отношения партии к его делу...

— Какое дело?—выкрикнул кто-то с места, из-под древней желтолистой пальмы.

— А вот сейчас услышите!—Михаил Иванович снова захватил ложечку.—Терпение, товарищи! Вопрос идет о чести одного из наших энергичных и преданных работников... Прошу собрание отнестись с должным вниманием... Слово имеет товарищ Баймаков!—закончил он, усаживаясь в свое кресло.—Только покороче!—сухо добавил он, взглянув в сторону Мартына.

В зале приглохло, но шопотки еще шуршали некоторое время. Те, что собрались уходить и придвинулись уже к двери, снова заняли свои места. Кто-то вслух бросил: «Опять до утра!» Жданов нашептывал о чем-то Черноголовому, но было видно, что тот не хочет слушать. Мартын, не торопясь, прошел к столу, стал вполоборота к президиуму и молчал, не то справляясь со своим волнением, не то выжидая, когда в зале совсем затихнет.

— Ну!—кивнул ему головою Михаил Иванович.

В эту минуту, за столом вскочил Жданов, обвел передние скамьи темными, горящими глазами и заговорил:

— Товарищи! Я не нахожу возможным на данном собрании заслушивать заявления отдельных партийцев... Положение на фронте и внутри губернии небывало тяжелое, а тут нам предлагают с места в карьер разбираться в какой-то темной истории!..

Всякий другой на месте Черноголового прервал

бы Жданова. Но Михаил Иванович этого не сделал. Он позволил Жданову досказать и, выждав, пока оратор усядется, спокойно, чуть-чуть даже насмешливо сказал, обращаясь ко всему залу:

— Я могу, товарищи, поставить заявление Жданова на голосование?..

— Не надо!—послышалось с мест.—Нечего волынку тянуть!..

— Все же я проголосую, товарищи! Но должен заметить, что Жданов неправ... (Жданов резко и безнадежно махнул рукой.) Педантичность Жданова, требующего провести дело по всем инстанциям, неуместна и несвоевременна. Товарищи! Обстановка вокруг нас действительно тяжелая, но именно это и обязывает нас быть чуткими к положению и состоянию каждого члена коллектива... Не может быть здорового коллектива там, где члены оказываются, как сказал товарищ Жданов, замешанными в темной истории!..

В зале послышался легкий всплеск одобрения.

Некоторые стягивали с себя пиджаки, другие наскоро заворачивали цыгарки; кто-то догадался наконец открыть окно, за ним—другое. С улицы, из лунной голубой ямы, потянуло упругою прохладой; дрогнули и закрутились под люстрою клубы табачного дыма; жаркие и потные лица тех, что сидели ближе к окнам, ярко проступили в желтом сумраке. Катюшка-бомбометчица (из особого отряда) вскочила на подоконник, просунулась в окно, кто-то потянул ее за ногу, она взвизгнула на весь зал, но тотчас же уселась, заломив свою несменяемую серую папаху.



и до конца вечера не сводила сосредоточенно помигивающих глаз с президиума.

Подчиняясь требовательному взгляду Черноголового, Мартын начал. И как только услышал среди настороженной тишины свой голос и как только почувствовал на себе глаза из зала, глаза нетерпеливого и строгого ожидания, тотчас же понял всю безвыходность своего положения. То, о чем он должен был рассказать, продолжало казаться ему чрезвычайно глубоким и сложным. В этой истории, разыгравшейся на станции, он чувствовал себя безмерно обиженным, оскорбленным, приниженным, но обидчик был неуловим, его нельзя было взять за шиворот и поставить перед глазами зала. А эти глаза были строги, холодны и нетерпеливы. И в ушах звучали холодные слова Черноголового: «Только покороче!»

— Постараюсь не затягивать!—говорил Мартын.— Но я боюсь, товарищи, что мне не удастся передать вам все те обстоятельства, которые... в которых я совершил преступление! Преступление мое, если говорить прямо, должно быть определено как дезертирство с фронта, а сам я должен быть заклеимен как трус и шкурник... Но это не так!—Он обвел зал мрачным, тугим взглядом.—Это не так, повторяю я. Если бы это было так, я сам, не дожидаясь вашего приговора, уничтожил бы себя!

В зале стало еще глуше, но Мартын замолчал. По его виду нельзя было сказать, чтобы он особенно волновался. Только Зине, устроившейся на самом углу стола, было видно, как неукротимо на золотистом его виске трепетала жилка.

Люди в переднем ряду отвернулись от Баймакова, пряча в глазах усмешливый холодок: слишком запальчиво было начало.

Справившись с собою, Мартын продолжал:

— Я не хочу щадить себя, товарищи! И все же, как ни жесток я к собственной персоне, не могу принять обвинения в дезертирстве, в трусости!.. Вот как было дело...

Он начал рассказывать о событиях в Липках и старался сокращать рассказ, но чем ближе подходил к самому факту своего бегства, тем пространнее и сбивчивее становился его рассказ.

В то же время он чувствовал, как внимание зала все чаще и настойчивее отливало от него, образуя все чаще вокруг него невылазную пустоту. И в один из моментов, когда глаза слушателей опали и потускнели, наполняясь чем-то своим, далеким, нездешним, востроносая, стриженная девушка, смахнув со лба кудельку, резво, в упор выкрикнула:

— Ближе к делу!

Тогда, в последних усилиях воли, шатающимися фразами закружил Мартын у рокового события, не смея ни отступить от него, ни перешагнуть через него, и вдруг смолк, пораженный видением того голого, ничем не прикрашенного и непоправимого шага, который совершен был им несколько недель назад.

В одиночестве, бессонными ночами, не раз рисовал себе Мартын эту встречу, с людьми и судьями; каждое слово, которое вставало тогда в разгоряченном мозгу, казалось ему полнокровным, убедитель-

ным. Он продумал про себя все, что было связано с несчастным случаем в Липках; ничего, как казалось ему, не укрылось от него, ни одна деталь не ускользнула из поля его зрения: память его не успевала тогда вбирать бурного потока объяснений, доказательств, выводов.

В одиночестве он создал вокруг события в Липках целый мир тончайших переживаний, скрытых, но неотразимых побуждений.

И все это теперь пало, рассыпалось, как пепельные формы перегоревшего тряпья.

За столом, под самую люстру, в центре, сидел Михаил Иванович. Он сидел, как всегда, поджав под себя ногу, и оттого голова его, литая из серебра, возвышалась над другими. За стеклами очков, отражавших люстру, нельзя было разглядеть его глаз, почему все бритое лицо его казалось пустым, безжизненным. По правую от Михаила Ивановича руку, чертя карандашом на бумажке (тут были башни, заборы, домики, как в детских тетрадах), прямо, точно привязанный к спинке кресла, сидел Жданов из комхоза. Свет бил ему в затылки лба. Затылки эти и кожа на скулах были сухи и как бы выкрашены охрой. Он то и дело глухо отрывал. Его мучила вечная изжога, он переносил ее с завидным терпением, но болезнь просовывалась и кричала из огромных его глаз. Он их вскидывал то на одного, то на другого из находившихся в первом ряду, и тот, кто встречался с его глазами, принимал на своем лице, помимо воли, выражение неудовольствия собственным своим состоянием. По левую от председателя руку громоздко

Люди в переднем ряду отвернулись от Баймакова, пряча в глазах усмешливый холодок: слишком запальчиво было начало.

Справившись с собою, Мартын продолжал:

— Я не хочу щадить себя, товарищи! И все же, как ни жесток я к собственной персоне, не могу принять обвинения в дезертирстве, в трусости!.. Вот как было дело...

Он начал рассказывать о событиях в Липках и старался сокращать рассказ, но чем ближе подходил к самому факту своего бегства, тем пространнее и сбивчивее становился его рассказ.

В то же время он чувствовал, как внимание зала все чаще и настойчивее отливало от него, образуя все чаще вокруг него невылазную пустоту. И в один из моментов, когда глаза слушателей опали и потускнели, наполняясь чем-то своим, далеким, нездешним, востроносая, стриженная девушка, смахнув со лба кудельку, резво, в упор выкрикнула:

— Ближе к делу!

Тогда, в последних усилиях воли, шатающимися фразами закружил Мартын у рокового события, не смея ни отступить от него, ни перешагнуть через него, и вдруг смолк, пораженный видением того голого, ничем не прикрашенного и непоправимого шага, который совершон был им несколько недель назад.

В одиночестве, бессонными ночами, не раз рисовал себе Мартын эту встречу, с людьми и судьями; каждое слово, которое вставало тогда в разгоряченном мозгу, казалось ему полнокровным, убедитель-

ным. Он продумал про себя все, что было связано с несчастным случаем в Липках; ничего, как казалось ему, не укрылось от него, ни одна деталь не ускользнула из поля его зрения: память его не успевала тогда вбирать бурного потока объяснений, доказательств, выводов.

В одиночестве он создал вокруг события в Липках целый мир тончайших переживаний, скрытых, но неотразимых побуждений.

И все это теперь пало, рассыпалось, как пепельные формы перегоревшего тряпья.

За столом, под самую люстру, в центре, сидел Михаил Иванович. Он сидел, как всегда, поджав под себя ногу, и оттого голова его, литая из серебра, возвышалась над другими. За стеклами очков, отражавших люстру, нельзя было разглядеть его глаз, почему все бритое лицо его казалось пустым, безжизненным. По правую от Михаила Ивановича руку, чертя карандашом на бумажке (тут были башни, заборы, домики, как в детских тетрадах), прямо, точно привязанный к спинке кресла, сидел Жданов из комхоза. Свет бил ему в залысины лба. Залысины эти и кожа на скулах были сухи и как бы выкрашены охрой. Он то и дело глухо отрывивал. Его мучила вечная изжога, он переносил ее с завидным терпением, но болезнь просовывалась и кричала из огромных его глаз. Он их вскидывал то на одного, то на другого из находившихся в первом ряду, и тот, кто встречался с его глазами, принимал на своем лице, помимо воли, выражение неудовольствия собственным своим состоянием. По левую от председателя руку громоздко

развалился в старом барском кресле предгубпрофсовета Губарев. Человек этот был скуласт, кряжист, от него веяло спокойствием, верою в себя и окружающих. Под лохматыми его бровями лежала густая тень, и не было видно маленьких, добрых и умных глаз, высматривающих из-под косм, как зверьки из трав. Он держал руки, большие и красные, на столе, перед собою, скрестив пальцы. Лишь два-три раза за весь вечер он разомкнул пальцы: свернет козью ножку, раскурит и снова сложит пальцы, держа цыгарку в белых крупных зубах и шурясь от дыма. Лузгин, предчека, поместился в сторонке, за спиною Губарева, и все время боролся со своими отяжелевшими веками. Синицын устроился рядом с Лузгиным, он часто подталкивал его под локоть и устало улыбался.

Зал был освещен только у стола. Дальше стлался сизый дымный полумрак, отчего ряды скамей с темными фигурами походили на только что взрыхленную правильными рядами пашню. И на этой пашне, как маки, цвели головные повязки женщин. Лица у собравшихся были как бы за слюдою, разглядеть их было трудно. Только, когда выкрикивали с места, сверкали зубы, да случайная искра от люстры вспыхивала там и сям в белках.

Зина была вся на свету, это ее смущало, она низко склонялась к лежавшему перед ней листу бумаги и не переставала грызть карандаш.

Когда Мартын смолк, девушка с испугом вскинула на него глаза, потом быстро перевела их на Черноголового, потом на Жданова и наконец в глубину зала. Если в тот вечер, когда Мартын исповедывался перед

нею, она еще сомневалась кое в чем, то теперь, видя его в положении подсудимого, вся и без колебания была на его стороне. Уже в середине рассказа Мартына она перестала обращать внимание на слишком яркий свет и с нескрываемой тревогой вглядывалась в зал. Когда же оттуда доносился к ней легкий говорок, она хмурила брови и умоляюще поглядывала на председателя.

— Продолжай, Баймаков!—попросил Черноголовый, подался к столу и застучал ложечкою о стакан.

Мартын провел рукою по растрепанным своим волосам и заговорил снова, но в голосе его было смутно, серо, безжизненно.

Теперь он говорил, как мог бы говорить свидетель, вовсе не замешанный в деле, и Зина почувствовала, что Мартын топит себя.

— О чем он?—с испугом шепнула она, потянувшись в сторону Михаила Ивзыча.—Разве так можно!..

Но Михаил Иванович предостерегающе поднял в ее сторону ладонь.

Темнолицая, в пегих космах, вытянув жилистую шею, поднялась у стены районщица Памфилова и вдруг хлестким, раздрызганным голосом бросила в сторону Мартына:

— Пуганая ворона куста боится!

Мартын вздрогнул, но в эту минуту по залу прошел беспокойный шорох, люди повернулись к выходу, некоторые встали; откуда-то из угла вынырнул Уткин и зашлепал в ладоши, другие подхватили.

Черноголовый в недоумении поднялся за столом, но весь зал уже гремел дружными выкриками, звонкими шлепками.

От двери, пробираясь узким проходом, шел коренастый, по-военному прямой человек. Он не глядел по сторонам и торопился, и как только приблизился к столу, откланялся, потрогал, неловко подвинчивая, густой черный ус и стал искать глазами место. Синицын, шумно двинув стулом, встал, но гость взял его за плечо и толкнул назад, а сам, поспешно опустился в кресло за спиною Жданова.

— Продолжайте, прошу...— сказал он Михаилу Иванычу.— Мне не к спеху!..

И, желая показать, что приготовился слушать, он поднял, не замечая соседей, глаза свои к потолку.

— Продолжаем, товарищи!— усаживаясь, крикнул Черноголовый.— Баймаков, твое слово...

Жданов, чтобы не заслонять собою гостя, отодвинулся в сторону, Лузгин пересел ближе к Кудрявцевой.

Зина второй раз видела Панкратова. Это имя в последние дни не сходило с уст. Оно было связано с боевой страдой, с армией, стоявшей на подступах к городу. И как в первый раз, так и теперь, Зина с удивлением отметила про себя необычайную простоту в сером и смуглом лице. Это было лицо пахаря и воина, от него веяло жестким, накрепко затесанным прямодушием. Только глаза, отливающие студеным жаром, были необычны.

— Баймаков, твое слово!— повторил Черноголовый.

Перед взором Мартына только что пронеслись гул-

кие эскадроны конницы, поблескивающий поток шашек, рыжие облака пыли в накаленной под солнцем степи. И одновременно он ощутил, почувствовал, увидел себя стоящим здесь, в душном прокуренном зале, с глазами, ищущими участия, с сердцем, изнывающим в приливах ущемленной гордости.

Он подвинулся к середине стола и, повернувшись спиною к президиуму, заговорил полным голосом. Этот переход от низких, рокочущих ноток к звучному, напряженному струнным звоном голосу насторожил зал, и на минуту люди забыли о черноусом госте, о фронтах и о завтрашнем дне. Насторожилась и Зина, почуяв в голосе Мартына что-то большое и новое, какое-то внезапно созревшее решение.

Он говорил непринужденно, откинув голову и глядя перед собою, поверх рядов.

Первым понял Мартына Черноголовый: он чуть-чуть шевельнул темными бровями, и Жданов услышал странную, сорвавшуюся с уст председателя фразу:

— Упрямый кержак!—произнес про себя Михаил Иванович, сидя прямо и не двигая ни одним мускулом в лице.

За Михаилом Ивановичем и Зина поняла смысл того, о чем говорил Мартын, но она вся встрепенулась, высоко взметнула брови и в таком состоянии, с глазами, выражающими изумление, испуг, досаду, замерла на своем месте.

По залу прошел вздох облегчения, люди зашевелились, слышались одобрения. Теперь Мартына на-

чали понимать. Он уже не казался чужим, знающим что-то свое, умалчивающим о самом главном.

Михаил Иванович встал.

— Баймаков кончил!—объявил он, и едкая, в горечи, улыбка скривила его губы.—Товарищ Баймаков признал себя повинным в слабости, в невыдержанности, в поступке...—Он поколебался и закончил четко, сухо:—в поступке, недостойном партийца, революционера... Так ли я понял тебя, Баймаков?

Губарев, Жданов, Синицын, Лузгин и Зина, бледная и недвижная, ожидающе глядели на Мартына. И даже гость оторвал свои глаза от потолка.

Мартын молчал.

— Хорошо, будем говорить мы!—поднял голос Михаил Иванович, сложил трубочкой губы и несколько секунд молчал.—Итак, товарищи, все вы слышали о тех обстоятельствах, при которых...

Между тем в зале нарастал шум. Головы беспокойно склонялись друг к другу, руки тянулись к плечам соседей. В задних рядах поднялись на ноги.

Наскоро, напором, в глухом, еле сдерживаемом напряжении решали в зале свое, особое, доступное только там, где люди сидят близко и могут слышать частоту дыхания соседа, приливы крови, безгласый язык сердца.

И вот из середины, из самой гущи скучившихся голов, поднялся бритый человек, выпятил из-под кожаной тужурки ситцевую свою грудь, сдвинул на затылок фуражку и выбросил руку с растопыренными пальцами.

— Иваныч, давай слово!..

Вокруг подхватили:

— Слово Сухорукову! Сухоруков говорит...

Михаил Иванович искал ложечку, не нашел, понял, что нужды в ней нет, и торопливо объявил:

— Слово Илье Ильичу!..

Илья Ильич Сухоруков, комендант станции, гроза всего тутушнего железнодорожного мира, человек с распахнутой душой и с челюстями, сокрушающими у врага становой хребет, наморщил лоб, огляделся, как бы ища вокруг нужные слова, проговорил зычно:

— Пускай скажут об этом деле другие... из тех, которые катались в Липки... Парень запутался!..

Черноголовый качнулся к Губареву, потом к Панкратову (гость что-то сказал, подвинчивая черный ус) и приподнялся за столом:

— Желает ли собрание выслушать очезидцев?

— Сыпь! — гаркнули в зале. — Обязательно! — подхватили женские голоса. — Просим!

А Илья Ильич все еще стоял в боевой позе, весь устремленный к президиуму, и все протягивал руку. Он опустилсЯ на скамью только после того, как к столу вышел Туляков.

На Тулякове было все то же, что и в дороге, пышное, новенькое пальто, но ремень не стягивал его у пояса, и оттого теперь походил этот человек на мещанина, приубравшегося к празднику. Белесые его глаза, не торопясь, прогулялись по залу. Он откашлялся в руку, заговорил, и тотчас же послышались возгласы: «Громче! Не слышно»... Туляков переступил с ноги на ногу и все так же глухо повторил сказанное, но в устоявшейся тишине его было слышно всем.

— Я ничего не знаю, товарищи!..

В зале вспыхнул смех, кто-то из женщин взвизгнул, позади зашипали. Илья Ильич опять встал на ноги, но Михаил Иванович отыскал ложечку и начал звонить.

— Товарищ Туляков! От вас требуется, чтобы вы передали нам все, что знаете о поведении Баймакова в дороге...

Туляков и без этого понимал, что именно от него желали, но ему было тошно говорить о пережитом. Ведь впереди отчаянная работа: к чему оглядываться, ворошить прошлое!

Однако уступая желанию председателя, он кратко и сдержанно передал свои дорожные наблюдения, причем умолчал вовсе о недружелюбном настроении Мартына по отношению к семьям, к женщинам, к детям (что особенно не нравилось Тулякову, и о чем до сих пор помнил он).

По его мнению, Мартын отправился в этот путь больным, его лихорадило, ночами он бредил. Что же касается самого бегства из Липок, то здесь Туляков больше всего считает виноватым себя, так как действовал на основании непроверенной информации.

— Передо мной, как мне тогда казалось, было только два выхода: или остаться с семьями и отдать в руки белых казну, или спасти казну и...

— Удрать от семей!—подхватил Жданов, оглядывая зал с видом человека, ожидающего одобрения.

— Не совсем так, Жданов!—не громко, но внушительно заметил Михаил Иванович.—Товарищ Туляков, спасая врученные ему ценности, покинул на станции собственную семью!..

— Это ничего не меняет!—проворчал Жданов.

— Как смотреть!—отозвался Михаил Иванович.— Но... у нас идет речь не о Тулякове... Продолжай, Туляков! Ты говоришь, что Баймаков вместе с другими взобрался на площадку вагона... Но, скажи, когда и почему он выпрыгнул в пути из вагона?

— Вот этого я не знаю,—отвечал Туляков, не спуская недоумевающих глаз со Жданова.

Кресло под Губаревым закрипело.

— А как все же ты думаешь, зачем парень спрыгнул?—спросил он, обращаясь к Тулякову.—За каким дьяволом выскочил он?..

Губарев не сомневался, что Мартын выбросился из вагона с единственным желанием возвратиться на станцию, но, задавая свой вопрос, он имел в виду всех остальных в зале. Туляков подумал, сказал:

— Мне кажется, он сделал это не под влиянием страха... Опасаться, что с нами попадет к врагу, он не мог!..

Жданов опять не утерпел.

— М-да...—фыркнул он.—Где уж с вами попасть к врагу, коль вы от врага на всех парах улупетывали!..

Катюшка-бомбометница ударила в ладоши, но ее не поддержали.

Михаил Иванович, не глядя на Жданова, но имея в виду его, укоризненно покачал головою.

— Какого ты мнения о Баймакове?—неожиданно обратился к Тулякову Лузгин.

Михаил Иванович с выражением недоумения повернул к Лузгину голову, но Туляков уже говорил.

— Мне думается,—сказал он, оборачиваясь к залу:—Баймаков—хороший товарищ, но он мало жил с людьми!..

— Больше ничего?—чуть переждав, спросил Черноголовый.

— Больше ничего!

— Садись... Товарищ Добрынин, прошу к столу!.. Добрынин не пожелал выйти. Он говорил с места, из третьего ряда, грузно возвышаясь над спинами соседей. Голос его был не ровен, он как бы наперед сердился по поводу возможных по отношению к нему подозрений.

С эвакуируемыми ему было разрешено выехать в... виду общего болезненного состояния. Путь был нестерпимый. Дорогой разыгрался ревматизм.

— Что ты скажешь о Баймакове?—прервал его Михаил Иванович.

— Я знаю о нем не больше вас всех... Я ехал и он ехал!..

— Да, маловато!—улыбнулся Михаил Иванович.

— В этом виноват сам Баймаков!—хмуро отозвался Добрынин.—Будучи комендантом поезда, он ни разу не сделал обхода, ни разу не заглянул к нам в вагоны. Между тем, с половины пути эшелон испытывал острую нужду в питьевой воде...

— А где же был ты?!—воскликнула с подоконника бомбометчица.

— Он, Катюша, дрыхал!—прозвучал голос с другой стороны.

— Зачем дрыхал!—вмешался Сухоруков.—Он баб охранял!..

Добрынин повысил голос:

— К сожалению, пришлось выполнять и эту роль!..

— Почему же — к сожалению? — пустил шпильку Жданов.

— Потому что это непосредственно входило в обязанности коменданта поезда!.. — совсем раздраженно проговорил Добрынин и помолчал. — Представьте себе положение немногих бывших в эшелоне мужчин, когда глубокой ночью, никем не предупрежденные, они оказались под обстрелом среди перепуганных насмерть женщин!..

— Небось, от страха под себя напустили! — крикнул кто-то из угла, и вокруг захихикали.

Черноголовый поднял руку.

— Прошу товарищей уважать собрание! — сказал он строго и взглянул на Добрынина. — Видел ли ты, как отбыл со станции паровоз вашего эшелона? И сталкивался ли в тот момент с ним? — указал он рукою на Мартына.

— С ним я не сталкивался, но потом мне рассказывали...

— Говори, что сам видел! — перебивая Добрынина, прокричал Сухоруков.

— Пускай все говорит! — вступилась востроносая девушка, вскочив с места и встряхивая своими короткими кудрями.

— Продолжай, Добрынин! — кивнул головою Михаил Иванович.

Добрынин посапывал в рыжие уски.

— Мне трудно высказываться, когда мешают...

— А ты жарь, чего там! — подбодрили с места.

— Собственно говоря...—Добрынин крикнул.—Мне нечего добавить к тому, в чем уже сознался Баймаков! Его поступок говорит сам за себя... Меня удивляет только одно: как он мог, выждав, когда белых отбросят со станции, явиться снова в эшелон и даже заставить ухаживать за собою женщин... тех самых, которых он столь... столь мерзко покинул в грозный час?..

Михаил Иванович не спеша перевел глаза на Мартына, как бы ожидая, что тот скажет. Но Мартын не поднял даже головы, он сидел в первом ряду, с краю, у самой стены, утнувшись к коленям.

Добрынин прищурился.

— Повидимому, мне не получить ответа на недоуменный мой вопрос!..

Зина вперила в Добрынина горящие глаза, поколебалась и неожиданно встала.

— Я поражена вопросом товарища Добрынина!—заговорила она волнуясь.—Он слышал здесь объяснения Баймакова... И все мы слышали!.. Товарищ Баймаков возвратился на станцию не за тем, конечно, чтобы кто-то за ним ухаживал... Он страдал за женщин, за детей... Он готов был сражаться, умереть и не ожидал, конечно, что нужды в нем уже не было...

— В том-то и дело!—ухмыльнулся Жданов.—Он слишком запоздал...

— После драки кулаками не машут!—резко прозвучал голос районщицы Памфиловой.—Накройся, Кудрявцева!..

— А ты не вопи!—повернулся к Памфиловой круг-

лолицый безусый слесарек из депо, председатель нынешнего месткома и член первого революционного комитета железнодорожников.

— Я дело говорю!—огрызнулась Памфилова, пряча дрожащими пальцами под платок седеющие свои космы.

Зина порывисто опустилась на свое место. Она тяжело дышала, щеки ее отливали кумачом, пальцы плясали по бумаге, на опущенных ресницах сверкала влага.

Михаил Иванович позванивал о стакан, Добрынин сел, в зале перепархивали шопотки.

— Повидимому,—заговорил Черноголовый,—повидимому, очевидцы ничего нового не дадут нам... Предлагаю перейти к обсуждению!..

— Позвольте мне!—донесся из угла трепетный голос.

Черноголовый перегнулся через кресло к Панкратову и что-то говорил ему.

— Позвольте мне!—опять постышалось из угла. И, не ожидая разрешения, путаясь на бегу в полах своей накидки, к столу пробрался Уткин. В руке у него торчала дымящаяся папироска. Пот струился по его рыхлому и красному, точно обваренному личику.

— Товарищи!—торопливо, опасаясь, что его перебьют, начал он.—Я человек не военный и к тому же больной... Когда станцию начали обстреливать, мне ничего не оставалось, как бежать под какое-нибудь прикрытие...

Тут он заметил свою папироску, спохватился и начал искать вокруг себя пепельницу.

— Ну-с!—продолжал он, комкая папиросу и засовывая ее в карман.—Попал я, товарищи, в дровяной склад. И сидеть бы мне тут до конца, но... Лежу это я в дровянике, а сам думаю: «Что-то теперь с нашими женщинами?..» И, представьте, не выдержал... вылез!..

— Ой ли?—нежданно весело бросил кто-то от двери.

— Честное слово!—воскликнул, озираясь, Уткин.

— Товарищ!—отрываясь от гостя, приподнялся Черноголовый.—Прошу... поближе к делу!..

— Слушаюсь!—встрепнулся Уткин.—Я буду, кратко...

Деповской слесарь, внимательно следивший за тем, как вместе с руками Уткин вскидывал вверх крылья своей накидки, вдруг закатился сильным смехом. Его поддержала Катюшка, и вот в разных концах всплесками зазвучал по залу сдавленный хохоток. Не выдержал, оскалил зубы Илья Ильич. Отвернулся от публики, чтобы скрыть судорогу, в лице, Губарев.

А Уткин продолжал жестикулировать, то и дело подбирая слюну, глотал в возбуждении концы фраз.

— Тише, товарищи!—прерывая себя, восклицал он.—Внимание... Это был настоящий ад!.. Ничего подобного я не переживал в своей жизни... Грохот шрапнели, женские вопли, кругом—тьма... Бегу вдоль вагона, за мной товарищ Аристов, за Аристовым товарищ Добрынин!

— Не ври!—кинул, приподнимаясь, Добрынин.—Я не бежал, а стоял...

— Виноват, товарищ Добрынин! Сначала, действительно, вы стояли...—захлебывался Уткин.—Но когда мы наскочили на вас, вы также побежали...

Взрыв приглушенного смеха окатил зал.

— Портачи!—взвизгнула бомбометчица, срывая с себя папаху и шлепая ею о колени.

Михаил Иванович встревожился.

— Товарищи!—отрываясь снова от гостя, поднялся он за столом.—В чем дело? Прошу не шуметь... Уткин, покороче!..

— Не задержу, не задержу!—взметнулся Уткин, отирая с лица концом своей накидки струи пота.—Как только поровнялись мы с крайним вагоном, так все трое и остановились... Не смейтесь, товарищи, это надо было испытать... Чего?

— Вали, вали!—давясь, прикрывая рты пригоршнями и склоняясь к коленям, шипели со скамей.

— Видим мы—дальше степь, и—назад!—выкрикивал Уткин, припрыгивая на месте.—А женщины наши—вповалку!.. Кинулся я к одной... «Вставайте!» Товарищ Добрынин также убеждал перебраться в здание вокзала... «Вставайте!»—кричу... Наконец она поднялась... Я ее за руку!

— Молодец, Уткин!..

— Нет, вы только послушайте!.. За первую увлек я с собою вторую, третью... Всех!.. Вокзал каменный, надежный... Уселись это мы внутри, у буфета, вдруг, слышу переполох... Анна Петровна потерялась...

— Уткин!—поднял голос Михаил Иванович.—Нельзя ли без таких подробностей?..

— Я передаю самое необходимое!—оглянулся на него Уткин.—Итак... Анна Петровна... Не досчитались Анны Петровны какой-то!.. Опять ко мне: «Миленький, такой-сякой, Анны Петровны нет!». Ну, собрался я с духом и—айда к вагонам... Бегу, а сзади, со стороны вокзала, кричат: «Нашлась, нашлась!» Только это я повернул обратно, подобрал полы, вдруг—тра-ра-рах! Над самой головой—огонь, полымя, осколки чугуна... И—чувствую я: убей меня на месте, а назад, к вокзалу, не двинусь! То есть такой страх напал на меня...

— А ты бы ползком!—крикнул слесарек-месткомец.

— Да я ж так и сделал!—брызгая от волнения слюною, подхватил Уткин.—Все коленки себе посадил... в кровь!..

— А с головой как?—совсем серьезно бросили с места.—Голову-то не повредил?..

Густой, ничем не сдерживаемый хохот прокатился по залу. Михаил Иванович звонил о стакан.

Зина взглянула в сторону Мартына. Мартын приподнял голову, слушал, углы его рта подрагивали, в глазах чадил неприкрытый стыд. Он не мог не понимать, какой оборот принимает его дело, какие вокруг плodyтятся шутовские дразги и как весь он, со своим подвигом раскаяния, становится нелепым, смешным, глупым. Не таким рисовался ему в мыслях товарищеский суд—суд над ним, над его добрым именем, над его честью. Он готов был в эти минуты провалиться сквозь землю. Он не знал, как быть ему,

дальше, что предпринять, чем избавить себя от срамных этих подробностей, от невозможных соучастников приключения, от себя самого. Наконец он решился: встал, оглядел исподтишка соседей и неслышно прокрался к двери.

Коридор был пуст. Бесшумно пройдя к вестибюлю, Мартын сорвался вниз по лестнице, отпихнул плечом тяжелые двери и выбежал на улицу.

Голова его пылала, мысли кружились метелицей, ноги не чувствовали под собой земли, бескровные, непослушные, как у отравленного алкоголем.

О, все что угодно; только не это! Самый беспощадный приговор, всеобщий гнев, глубочайшее отвращение, неумолимое преследование до конца... только не это!

XV

Михаил Иванович выпрямился, поправил очки, голосом, не допускающим возражения, покричал:

— Довольно, Уткин! Я лишаю тебя слова...

Зал, сипло досмеиваясь, откашливался, сморкался, разминал мускулы; зачиркали, вспыхнули по рядам спички; свежие, сочные, ярко-синие клубы табачного дыма поднялись над головами, сгустились в облако; коснувшись потолка, облако дрогнуло, порвалось и сизыми космами стало падать в раскрытые окна.

— К порядку, товарищи!..

Михаил Иванович стоял за столом, как всегда, спокойный, недвижимый, и его голова лунно сияла под люстрой.

— Отсутствие Баймакова не мешает вам, товарищи, сказать свое слово! Повидимому, Баймаков

вышел из зала, чтобы не стеснять нас при обсуждении его вопроса... Конечно, предосторожность эта с его стороны излишняя, но... ничего не поделаешь!.. Будем ли открывать прения, или же прямо перейдем к предложениям? Имейте в виду, что теперь второй час, а мы еще должны выслушать находящегося среди нас члена реввоенсовета...

Аплодисменты заглушили конец фразы. Михаил Иванович поднял руку.

— Итак, какие имеются предложения относительно Баймакова?

Вокруг стихло, и тишина продолжалась с минуту.

— Что же, товарищи? Высказывайтесь!

Поднялся Сухоруков. Он молча, но решительно протянул руку. Михаил Иванович заметил его.

— Илья Ильич, твое слово!..

Сухоруков, как бы что-то свое прощупывая, оглядел зал, крикнул и проговорил:

— Послать Баймакова на фронт, в самое пекло. И—никаких!..

Губарев закивал головою, на скамьях всколыхнулись. Зина сидела, напряженно вскинув голову, вся вытянувшись, точно готовилась к прыжку. Такая, она напомнила бы собою Мартыну благородное животное северных лесов—оленью самку.

Михаил Иванович молчал. Со скамей ожидающе глядели на него.

— Других заявлений нет?—спросил он и, помолчав, поцапав дрожащею рукою по столу, негромко произнес:—Предложение Сухорукова не есть реше-

ние вопроса: фронт, участие в боях—долг каждого... В наказание это обращать нельзя!..

— А почто в наказание?—подал голос, не сдаваясь, Сухоруков.—Ай мы старорежимники?.. Пускай кровью отработает!..

— Правильно! — слышались голоса. — В точку кроет!..

Но Михаил Иванович был нем, и голоса неуверенно затихали, и много глаз с пасмурною тревогою обратились к президиуму. Аристов встал в глубине зала, подался вперед. У него из-под локтя, тяжело дыша и жалостливо помигивая опухшими веками, выглядывал Уткин. Губарев разнял еще раз сцепленные свои пальцы, сбочился и зашептал что-то на ухо Черноголовому. Михаил Иванович отстранил его.

— Товарищи...—заговорил он, приподнимаясь.—Баймаков признал свою вину, и с этой стороны вы правы: наказание излишне!.. Но... должен вам напомнить, что каждый шаг партийца учитывается не только нами!.. Мы все живем и действуем на глазах масс, на глазах рабочих, армейцев, крестьян... Почему отдаем мы под суд, лишаем свободы и даже расстреливаем дезертиров? Конечно, не потому, что жаждем наказания!..

В зале сгущалась тишина. Синеватая бледность покрыла лоб и скулы Зины. Жданов толчками, боком, поднялся за столом и, сжигая Михаила Ивановича лихорадочными своими глазами, голосисто произнес:

— Я предлагаю, товарищи, во-первых... исклю-

чить Баймакова из рядов партии, во-вторых... передать его как дезертира ревтрибуналу!..

Михаил Иванович не повернул к Жданову глаз, не оторвал от стола рук.

— Спокойствие! спокойствие!—сказал он и, возвышая голос, продолжал к собранию:—С злонамеренным дезертиром Баймакова сравнивать нельзя! До этого он никогда, конечно, не дойдет! Это противно его длительному партийному воспитанию и самой его натуре! Он мог споткнуться, но быть хроническим спотыкачем—не его удел!

По залу прошел смешок, неожиданный и странный, но—мягкий, согретой ласкою, похожий на вздох облегчения.

— Твое предложение, Иванович?—загудел Сухорук.

— Я хотел бы слышать мнение других товарищей!—уклонился Черноголовый.—Как бы там ни было, но Баймаков, несомненно, споткнулся, слабость проявил, панике поддался... И мы должны все это отметить!

— Каким образом?—приподнял голову Губарев.—Со Ждановым я не согласен...

За спиной Губарева появился Синицын. Он облокотился за спинку кресла и натужно заговорил:

— Товарищи! Баймаков работал со мною... Работал много, усердно... И он проявил себя, как самоотверженный солдат, на продфронте, по выполнению разверстки... По-моему, следует... Я полагаю, надо ограничиться порицанием!..

Синицын был плохим оратором, сознавал это, не

любил выступать, и теперь, закончив кое-как свое предложение, неслышно отступил, сел на свое место и потупился, очевидно, продолжая в мыслях иную, более горячую и более убедительную речь.

Но в зале предложение его вызвало торопливый говор, и было похоже, что многими оно одобрялось.

Зина напряженно косилась на Жданова, и когда тот снова толкнулся о стол и встал, глаза ее в острой тревоге забегали по бумагам.

— Синицын—оппортунист!—закричал он, отрывая и отдуваясь пожелкнувшими своими щеками.—И он тысячу раз неправ!.. Я был с самого начала против того, чтобы это дело слушалось здесь, но, раз уж оно заслушано, мы должны твердо и нелицеприятно сказать свое слово... Товарищ председатель прав, напомнив нам о нашем беспощадном отношении к дезертирству... Но он не прав, когда пытается придать преступлению Баймакова иную окраску... Позвольте вас спросить, дорогие товарищи, как же мы должны рассматривать бегство Баймакова со своего поста? в момент наивысшей опасности?.. Неужели тут... только слабость? проявление боьных нервов? забывчивость, ошибка, уклончик?!—Он скосил губы в едкой улыбке.—Нет, товарищи! При всем желании быть снисходительными мы не сможем уйти от устоявшихся понятий чести, долга, высшего закона, обязательного для каждого революционера...

Комитетчица района Памфилова, бомбометчица Катюша, желтокудрый парень у ее ног, все время хмуро молчавший, Семен Разноуздов, секретарь заводской ячейки, человек густобородый, со слегка выверну-

чить Баймакова из рядов партии, во-вторых... передать его как дезертира ревтрибуналу!..

Михаил Иванович не повернул к Жданову глаз, не оторвал от стола рук.

— Спокойствие! спокойствие!—сказал он и, повышая голос, продолжал к собранию:—С злонамеренным дезертиром Баймакова сравнивать нельзя! До этого он никогда, конечно, не дойдет! Это противно его длительному партийному воспитанию и самой его натуре! Он мог споткнуться, но быть хроническим спотыкачем—не его удел!

По залу прошел смешок, неожиданный и странный, но—мягкий, согретой ласкою, похожий на вздох облегчения.

— Твое предложение, Иванович?—загудел Сухорук.

— Я хотел бы слышать мнение других товарищей!—уклонился Черноголовый.—Как бы там ни было, но Баймаков, несомненно, споткнулся, слабость проявил, панике поддался... И мы должны все это отметить!

— Каким образом?—приподнял голову Губарев.—Со Ждановым я не согласен...

За спиной Губарева появился Синицын. Он облокотился за спинку кресла и натужно заговорил:

— Товарищи! Баймаков работал со мною... Работал много, усердно... И он проявил себя, как самоотверженный солдат, на продфронте, по выполнению разверстки... По-моему, следует... Я полагаю, надо ограничиться порицанием!..

Синицын был плохим оратором, сознавал это, не

любил выступать, и теперь, закончив кое-как свое предложение, неслышно отступил, сел на свое место и потупился, очевидно, продолжая в мыслях иную, более горячую и более убедительную речь.

Но в зале предложение его вызвало торопливый говор, и было похоже, что многими оно одобрялось.

Зина напряженно косилась на Жданова, и когда тот снова толкнулся о стол и встал, глаза ее в острой тревоге забегали по бумагам.

— Синицын—оппортунист!—закричал он, отрывая и отдуваясь пожелкнувшими своими щеками.—И он тысячу раз неправ!.. Я был с самого начала против того, чтобы это дело слушалось здесь, но, раз уж оно заслушано, мы должны твердо и нелицеприятно сказать свое слово... Товарищ председатель прав, напомнив нам о нашем беспощадном отношении к дезертирству... Но он не прав, когда пытается придать преступлению Баймакова иную окраску... Позвольте вас спросить, дорогие товарищи, как же мы должны рассматривать бегство Баймакова со своего поста? в момент наивысшей опасности?.. Неужели тут... только слабость? проявление больных нервов? забывчивость, ошибка, уклончик?!—Он скосил губы в едкой улыбке.—Нет, товарищи! При всем желании быть снисходительными мы не сможем уйти от устоявшихся понятий чести, долга, высшего закона, обязательного для каждого революционера...

Комитетчица района Памфилова, бомбометчица Катюша, желтокудрый парень у ее ног, все время хмуро молчавший, Семен Разноуздов, секретарь заводской ячейки, человек густобородый, со слегка выверну-

тыми ноздрями и мутно настороженными, как бы вечно про себя думающими глазами, и, наконец, Аристов,—все пятеро поднялись в разных концах зала и зашлепали в ладоши.

Катюшка, не то оправдываясь, не то убеждая, кричала при этом соседям:

— Жданов на точке! Чего резину тянуть?..

Но все другие ничем не проявляли своего отношения ни к слову Жданова, ни к шумным одобрениям единомышленников Памфиловой, и с этой минуты собрание начало зримо распадаться на куски, на группы, на согласных и несогласных со Ждановым.

Но страсти еще таились, и лица у большинства были в оковах.

Сухоруков, набывшись, перебрался через скамью, прошагал к президиуму, стал лицом к залу.

— Дай слово!—сказал он, протянув руку к председателю.— Товарищи!— этот призыв он произнес ударно, по складам, как на митинге.—У Жданова припрятан высший закон... Товарищ Жданов, известное дело, законник!.. А я говорю...—Он начал тут выкрикивать.—К чортовой бабушке твои законы! Что мы—старорежимники? У прокуроров делу обучались? В высшем синоде заседали?..

— Эх, куда хватил!—бросил, ворочаясь в кресле, Жданов.

— Я, брат, хвачу!—махнул Сухоруков в воздухе ребром своей тяжелой, в рыжем волосе, руки.—Мы люди такие: за пять двадцать нас не купишь, а законы твои... вот они где!..—Он сплюнул и прошаркал

подошвою. — Наш рабочий закон — тут! — ударил он себя в сердце. — И тут, в башке!..

По скамьям пронеслись исклины одобрения.

Жданов передернулся.

— Про этот самый закон я и говорю, Сухоруков!

— Мало говорить! — подхватил Илья Ильич. — Умей понять! А кабы ты понимал наш закон, понял бы и еще кое-что... Товарищи! — неожиданно затах он. — Время мое исчерпано!..

Он так же круто, как и пришел, зашагал к своему месту, встречая рукоплескания хитро подмигивающим глазом

Но тотчас же у стены выросла фигура Памфиловой.

— Нагородил! — выкрикивала она навстречу Сухорукову. — Никаких концов!..

Михаил Иванович совещался с Губарезым.

— Товарищи! — чуть погода поднялся он у стола. — Мне кажется, мы можем обойтись без дальнейших прений. У нас есть два предложения... Одно — вынести порицание, другое — применить к Баймакову высшую меру... вплоть до исключения!..

— Снять! — вдруг полной грудью закричал Сухоруков.

— Снять, снять! — загудело в зале.

— Голосуй! — тонким, режущим своим голосом ворвалась в общий шум Памфилова.

Она пробиралась вперед, согнувшись, вытянув, как раздраженная гусыня, шею, на ходу запихивала под платок, за уши сизые космы.

— Ребята! — остановилась она среди скамей. — Нельзя котам волю давать! Учить их надо!..

тыми ноздрями и мутно настороженными, как бы вечно про себя думающими глазами, и, наконец, Аристов,—все пятеро поднялись в разных концах зала и зашлепали в ладоши.

Катюшка, не то оправдываясь, не то убеждая, кричала при этом соседям:

— Жданов на точке! Чего резину тянуть?..

Но все другие ничем не проявляли своего отношения ни к слову Жданова, ни к шумным одобрениям единомышленников Памфиловой, и с этой минуты собрание начало зримо распадаться на куски, на группы, на согласных и несогласных со Ждановым.

Но страсти еще таились, и лица у большинства были в оковах.

Сухоруков, набычившись, перебрался через скамью, прошагал к президиуму, стал лицом к залу.

— Дай слово!—сказал он, протянув руку к председателю.— Товарищи!— этот призыв он произнес ударно, по складам, как на митинге.— У Жданова припрятан высший закон... Товарищ Жданов, известное дело, законник!.. А я говорю...—Он начал тут выкрикивать.—К чортовой бабушке твои законы! Что мы—старорежимники? У прокуроров делу обучались? В высшем синоде заседали?..

— Эх, куда хватил!—бросил, ворочаясь в кресле, Жданов.

— Я, брат, хвачу!—махнул Сухоруков в воздухе ребром своей тяжелой, в рыжем волосе, руки.—Мы люди такие: за пять двадцать нас не купишь, а законы твои... вот они где!..—Он сплюнул и прошаркал

подошвою.—Наш рабочий закон—тут!—ударил он себя в сердце.—И тут, в башке!..

По скамьям пронеслись всхлипы одобрения.

Жданов передернулся.

— Про этот самый закон я и говорю, Сухоруков!

— Мало говорить!—подхватил Илья Ильич.—Умей понять! А кабы ты понимал наш закон, понял бы и еще кое-что... Товарищи!—неожиданно затих он.—Время мое исчерпано!..

Он так же круто, как и пришел, зашагал к своему месту, встречая рукоплескания хитро подмигивающим глазом

Но тотчас же у стены выросла фигура Памфиловой.

— Нагородил!—выкрикивала она навстречу Сухорукову.—Никаких концов!..

Михаил Иванович совещался с Губаревым.

— Товарищи!—чуть погода поднялся он у стола.—Мне кажется, мы можем обойтись без дальнейших прений. У нас есть два предложения... Одно—вынести порицание, другое—применить к Баймакову высшую меру... вплоть до исключения!..

— Снять!—вдруг полной грудью закричал Сухоруков.

— Снять, снять!—загудело в зале.

— Голосуй!—тонким, режущим своим голосом ворвалась в общий шум Памфилова.

Она пробиралась вперед, согнувшись, вытянув, как раздраженная гусыня, шею, на ходу запихивала под платок, за уши сизые космы.

— Ребята!—остановилась она среди скамей.—Нельзя котам волю давать! Учить их надо!..

— Голосовать!—выходила из себя Катюшка, шлепая ладонями о колени и стуча о подоконье каблукми.—Требуем!

На шее у нее вздулись жилы; кожаная тужурка отпахнулась, оказывая высокую грудь; икры, обтянутые зелеными портянками, неистово дергались.

— Снять!—ревел Сухоруков.

В общем гуле, как чайки над бурной поверхностью реки, взнимались, ныряли в гущу и снова оказывали себя только два слова:

«Снять!»—«Голосовать!»

Но вот и эти крики потонули в гаме, в стуке, в грохоте сдвигаемых скамей.

Черноголовый стоял на своем месте, подобно дозорному матросу в бурю, и с привычным спокойствием, в ласковом просветлении, с щеками, горячими и алыми, как у юноши, выжидал.

Зина,—ей все еще девятнадцать лет, и сейчас решалась судьба самого дорогого ей человека,—тоже стояла у стула, тоненькая, как натянутая струна. Страх, надежда, отвращение и мольба—поочередно занимались в бледном ее лице.

Наконец Михаил Иванович счел возможным скомандовать: «Стоп, отдай назад!»

— Тише, или я закрою заседание!..

И все услышали в этом голосе неподдельную угрозу и стали затихать; затихали ступенями, снижая ноту за нотой, ссылая голоса под кручу, заглушая большое бунтующее сердце в шорохах, в хрипе, в немотном бульканье.

И когда застекленела тишина, Михаил Иванович, пошептавшись со Ждановым, взмахнул рукою.

— Товарищ Жданов считает необходимым кое-что объяснить... Внимание!..

Жданов провел у себя по лицу, сверху вниз, тонкою и бледною рукою и на мгновение закрыл глаза. Распахнув вновь, он уже не сводил их с людей, и было в них что-то новое, опечаленное, прислушивающееся.

— Товарищи! только не волноваться!—предупредил он; голос его также казался печальным.—У меня слабая грудь, и я не могу перекричать вас!.. В конце концов, не важно, как отнесемся мы к поведению Баймакова: его можно осудить, можно отпустить с миром... Дело тут не в самом Баймакове, хотя и для него, для всего его будущего важно, чтобы мы отнеслись к нему правдиво, по-честному... Дело тут, товарищи, в правде! Я не собираюсь заниматься правдоискательством вообще, так как занятие это бессмысленное... Правды, как постоянной, всегда жизненной истины, нет и не было на белом свете!..

— А нет, так о чем же толкуешь?—выкрикнул Илья Ильич, но на него зашикали.

— Я толкую, друзья, о том...—Жданов устало поморщился.—О том, друзья мои, толкую я, что... необходимо определить правду на наш день, правду рабочую, классовую, боевую!..

— Ну, завел волюнку!—опять не утерпел Сухорук и со вздохом оглянулся на своих.

— Я буду кратким, товарищи, я постараюсь не

утомлять вашего внимания, хотя... все это чрезвычайно важно!..

Приступ желудочной икоты исказил лицо Жданова, он сделал глотательное движение горлом, отдулся.

— Товарищи!.. Баймаков, которому я лично не желаю причинять никакого ущерба, вынужден был здесь комкать свои объяснения... Но и по тому немногому, что мы слышали от него, можно с достаточной уверенностью сказать: этот молодой наш товарищ...

— Он в партии не со вчерашнего дня!—вскинулась от своих бумаг Зина.

— Я говорю о его житейской молодости...—продолжал, не меняя тона, Жданов.—Этот молодой, повторяю, товарищ заблуждается... В речи своей он упомянул, между прочим, о слепых, врожденных инстинктах, которые-де овладевают порою всем существом человека. Что это такое, товарищи? У каждого из нас живет ни с чем не примиримый инстинкт—инстинкт самосохранения! Это—та самая, очень острая и очень зрячая, хотя и подсознательная сила, которая охраняет нашу жизнь на каждом шагу... которая научила обыкновенного лесного ежа сворачиваться при опасности в колючий клубок... которая управляет движениями цыпленка еще при самом вылупливании из яйца.. Но, товарищи! Если бы все мы строили свое поведение, опираясь на веления этой элементарной животной силы, то что случилось бы с обществом, с нашим классом, с нашей революцией?..

Он смолк, опять провел рукою по лицу—от высокого, с залысинами лба до самого кончика острой

своей бородки — и продолжал говорить еще тише, резче, оттачивая каждое слово.

— Наша революция строится на подавлении эгоистических страстей! Мы, передовые кадры пролетариата, сами отказываемся от всего, что связано с личной жизнью, с мелкими ее радостями, и требуем того же от других, от тысяч, от сотен тысяч окружающих нас. Мы воспитываем массы в духе жертвенности, в духе героизма, отказа от настоящего и даже, если надо, от самой жизни — во имя будущего... во имя коммунизма!..

— Прежде всего, — прерывая его, заметил сухо Михаил Иванович: — прежде всего, мы должны отказаться от самой мысли, что от чего-то отказываемся, в чем-то подавляем себя!..

— Что он там схиму-то разводит? — коротко, но мрачно кинул, заворачивая цыгарку, Губарев. — Иваныч, пускай кончает!..

— Кончаю! — предупредил Жданов. — Я кончаю, товарищи!.. — Он вновь перешел на крикучие нотки. — Как бы там ни было, но для нас, солдат рабочей революции, есть только один нерушимый инстинкт из всех живущих в человеке инстинктов, — это классовый инстинкт!.. Ему мы вверяем себя, и особенно там, где молчит наш рассудок...

— Ну, ну! — улыбнувшись, перебил его вновь Михаил Иванович. — Классовый инстинкт — сила алгебраическая, в нее входят и наши знания... — Товарищи! — кинул он, заметив движение в зале. — Жданов кончает...

Жданов говорил:

— Баймаков наделен достаточными знаниями и не имеет права оправдываться, ссылаясь на утерю непосредственного классового инстинкта: классовое знание восполняет пробел... Своим поведением, шагом своим на станции Липки Баймаков показал себя не на высоте положения! Животный, панический страх оказался у него сильнее чувства долга... И вот я предлагаю сказать это прямо!..

Он сел, откинувшись на спинку кресла, расслабленно закрыв глаза и беспрерывно давясь и отрывая.

— Ты настаиваешь на своем предложении?—взглянул на него Михаил Иванович.

— Всеми силами!—подтвердил Жданов, не открывая глаз.

В белых стенах зала, с замысловатой росписью в стиле ампира, с бордюрами в золоте, с окнами, широкими и просторными, осиянные голубым светом, тяжело ворочаясь, потя, обкуривая себя табачным дымом и защищаясь этим от непомерной усталости, сидели пожилые и молодые люди, в большинстве—рабочие.

Сидели молча.

В этот день с самого рассвета многие из них выходили и выезжали по городу десятки верст, переговаривали тысячи слов, передумали кучи неотложных и мучительных дум, связанных с голодом, с тифом, с неумирающей на фронтах кровью.

И все без исключения готовились к завтрашнему дню, к новым заботам, к новой беготне и суетлоке. День этот уже брезжил, проступал там, за огромными

окнами, и упорно напоминал о себе тут, в зале, рябым и хмурым обликом губпродкомиссара Синицына, недвижимой фигурой черноусого гостя, вождя славной армии, — армии, требующей политкомов, фуража, хлеба, снарядов.

Сухоруков чувствовал правду и неправду Жданова, но в бритой и круглой голове его, овитой на маковке шрамом, ворочались паровозы, эшелоны и клади, и никак не мог Илья Ильич подыскать нужных и веских слов, чтобы из-за тяжких паровозов, эшелонов и кладей выглянула бы наконец эта проклятая, невесомая и хрупкая правда об инстинктах.

Задумчиво и курносо посапывал, упершись острым подбородком в заплечье Семена Разнуздова, слесарек из депо, председатель месткома и член первого революционного комитета железнодорожников.

Он думал о том, что в его союзе люди живут без всяких, очевидно, инстинктов и упорно полагают, что революция работает только на них, на их семьи, на завтрашний их день, а если так, то пошел он к чорту, Жданов, со своим алчным будущим!

Памфилова, районщица, ткачиха, понимала Жданова и хотела бы разделить с ним его вызов человеческой природе, но сегодня утром у Памфиловой в комитете разыгрался бабий бунт: бабы требовали своих пайков, и она, Памфилова, пригоршнями рассыпала лучшие свои мысли, а ее не слушали, и теперь Памфилова знала, что завтра, при новой встрече с работницами, не сумеет сказать им правду Жданова.

И Катюшка-бомбометчица, наморщив лоб, думала

о том, что сказал Жданов. Она отвернувшись к окну, к голубой лунной яме,—там, в белесых туманах, не было ни революции, ни коммунизма, ни тысячелетнего будущего. Была луна, и туман, и узенькая полосочка предутреннего неба, и Катюшка знала, что все это—ее, и что завтра и послезавтра будет видеть она это небо, и будет видеть его, лежа в цепи стрелков, и будет страстно, до слез, мечтать о нем, умирая за революцию, за коммунизм, за тысячелетнее будущее.

И то, что не могла в мыслях своих выразить, вглядываясь в лунные туманы, Катюшка, сбежавшая из степных выселков в города—за иной, бешеной, безумной от счастья жизнью,—осознал у себя, близко, под самым воротом, молодой, длинноусый, похожий на запорожца, литейщик Остапенко.

Он только что похоронил мать-старуху—«развязался в бобыля» и бобылем решил, заявил о решении завкому, объявил ребятам, Марфуше, уборщице склада, соседям, всей улице: едет на фронт, на сражение, в битву, в драку, на кровь, на смерть... за-ради революции!

Был Остапенко молод, здоров, силен, он гоготал от счастья в удачах, шел с кулаками на обидчиков, верил во всесветную коммуну, любил Марфушу и весь последний год, как зверь из клетки, рвался к просторам, в туманы, к морям, к гулу, к реву пушек и... к смерти за революцию! Но в смерть Остапенко верил меньше, чем во всесветную коммуну, и даже меньше, чем в Марфушу, а эта девка такая, что... только от-вернись!

Литейщик Остапенко с захолонувшим сердцем поднялся со скамьи и поднял руку.

— Товарищ председатель!

Он уважал должность председателя, потому что сам председательствовал на собраниях своей ячейки, и теперь почтительно ждал, когда Михаил Иванович откликнется.

— Остапенко—слово!—охотно, как бы даже обрадовавшись, бросил Черноголовый.

И, не спуская глаз со Жданова, Остапенко заговорил. Он вобрал в легкие до отказа воздуха и стал выкатывать слова тяжелые и крутые, как ядра.

— Товарищ Жданов—без интересу к жизни!—говорил Остапенко.—Может, он через край зачитался! Но... вот... который человек без интересу—самый несчастный человек... вроде больного... И который человек за версту глядит, а под сопаткой у себя не видит... тоже калека!..

Он отер подолом рубахи мокрый свой лоб и при настороженной тишине в зале продолжал:

— Товарищ Жданов хочет, чтобы сущая жизнь отказалась от самой себя... Вроде как, скажем, был я Тарасом Остапенко, а стал ничем... И чтобы Остапенко думал только о всевышнем потомке!..

Тут он ударил ребром руки в свою ладонь, подмигнул кому-то из соседей и вдруг ослабил.

— Товарищ Жданов! Что есть, по-твоему, самое сладкое в молодых годах? Любовь сердца... Да!.. А вы, ребята, не смейтесь, потому что желаю загнать товарищу Жданову притчу... Укажу, без обиды, на себя! Отыскал я, скажем, предмет страсти, начал

ухаживать и достиг сполна! И появляется у меня с предметом потомство... Товарищ Жданов! Есть ты старый большевик и должен держать материальную линию... На кого любил Тарас со своим предметом: на себя, али на потомок?.. Может, ты скажешь—на потомок? А я прямо скажу: любил сам по себе, об потомке не загадывал, а потомок—тут как тут!..

Сухоруков первый ударил в ладоши, и за ним взорвался весь зал. Шлепала даже Памфилова, бил беззвучно ладонь о ладонь Губарев, улыбался Черноголовый, и только Катюшка, большая матершинница, но очень конфузливая, понимающая по-своему мужиковы подходы, отвернулась, потупившись, к окну и не выражала оратору одобрения.

А Остапенко, выдираясь из трескучего шума, взывал:

— Рабочий человек бьется за себя, а потомок радуется! Товарищ Ленин сказал правду! Товарищ Ленин...

Жилистая, конопатая шея его налилась кровью, пеньковые патлы маслянисто отсвечивали, глаза были, как у одержимого.

Зал смолк внезапно, как по команде. Остапенко сел и вновь поднялся.

— Да...—Он помахал над головою кулаком.—Товарища Баймакова, ребята, я могу прихватить на фронт... потому как отправляюсь по первому назначению и по собственной охоте!..

Еще раз к расписному потолку зала поднялись рукоплескания.

Зина плохо воспринимала окружающее. Этот шум,

выкрики, речи казались ей бесконечными. Она думала только о Мартыне: почему он покинул собрание, где он в эту минуту, что с ним?.. Страх за Мартына ослеплял ее. Она чувствовала остро, до режущей боли в сердце: Мартын в опасности, и опасность не в приговоре этого зала, а в том, что сейчас человек предоставлен самому себе. Не раз она порывалась покинуть собрание, бежать туда, где мог теперь находиться Мартын. Порою ей начинало казаться, что в тот самый момент, когда она сидит тут и слушает кого-то, не нужного ни ей, ни другим людям, Мартын... истекает кровью! Эти летучие видения—белокурая голова, обрызганная кровью,—пронизывали ее сознание ужасом. Она слышала, как сердце ее останавливается, ощущала вязкий холодок в ногах и горячие капли пота на лбу. Помутневшими глазами обводила она лица окружающих, и эти близкие, родные ей товарищи начинали казаться ей деревянными болванами, лишенными сердца. Никогда ранее не представляла она себе, что у людей могут быть столь бессмысленно-терпеливыми позы, столь отталкивающе-медлительными жесты. И, отрываясь от себя, от своего внутреннего, смятенного, бьющегося, как в лихорадке, она почти с физическим отвращением шарила взором по розовым щечкам Черногоотового, по лысому и круглому, как пятка, подбородку Губарева, по студенистым, трупным морщинам, свисавшим у Жданова от уха.

Когда же Михаил Иванович взял себе последнее слово и под несмолкаемую, жаркую и душную, и чадную возню на скамьях заговорил снова о чести,

о долге и о преступлениях против них, Зина почувствовала вдруг, что терпеть далее она не в состоянии. Перестав ощущать себя, свои руки, плечи, перестав чувствовать опору под ногами, но еще сознавая, что совершает нечто нелепое, безобразное, она соскочила со своего стула и визгливо закричала:

— Довольно, товарищи! Это же возмутительно... Долг, честь, нарушение, преступление!.. Подумаешь, какого зверя изловили! А среди нас, тут, в зале, все благополучно? А у всех вас совесть чиста? Все вы—праведники? Все—герои?.. А ну, пусть каждый на себя оглянется! Пусть каждый себя проверит! Что, не нравится? В носу перчит? Так бросьте же, бросьте...

Прерванный на полслова и как бы пристывший от неожиданности к месту Черноголовый, тяжело поднявшийся за столом Губарев, Жданов, закрывший с безгливой миной глаза, Синицын, Лузгин, черноусый гость, люди в первом ряду, люди у стен, Катюшка на подоконнике—все они прыгали, двоились, корбились перед глазами Зины.

Она уже не говорила, а только повторяла одно слово, как поющая машина с испорченной, скребущейся об иглу пластинкой:

— Бросьте, бросьте, бросьте...

И этот крик захлебывался в неудержимом, судорожном, темном хохотке.

В зале шумели, погромыхивали скамьями, Черноголовый бил ложечкой о стакан, никто не обращал на него внимания; между скамьями двигались люди,

выходили, собирались в кучки, говорили, доказывая что-то друг другу, нападая и защищаясь.

У стола и за столом запустело,—Черноголовый объявил перерыв, роздых на пять минут,—коридоры ожили, наполнились гулом голосов; у дверей, распластанные, трепетали тени; под потолком в сонной одуре щурилась люстра, ниже курился косматый чад; по полу, на паркете, белели затертые, заплеванные окурки; в раскрытые окна, со дна потемневшей и затихшей без луны улицы тянуло пахучим холодком синеватого рассвета.

И уже цокали вдали, в грузном наплыве гула, подковы—проходил там первый конный отряд. А у сизого, под самым окном, тополя, по-осеннему овлажневшего за ночь, вдруг зачирикал неистребимый, никогда не унывающий, что-то свое неутомонно, в веках оспаривающий воробей.

XVI

Выбежав с собрания на улицу, Мартын первое время не сознавал, куда идет. Шел он торопливо, не замечая окружающего, взмахивал руками, шептал что-то про себя и даже не обратил внимания на очень злую дворняжку, с хриплым лаем бросившуюся ему под ноги из подворотни. Свернув в глухой переулок, он выбрался к огромному плацу, где когда-то проходили строевое свое искусство кадеты. Огромные желтые корпуса с трех сторон возвышались по плацу, и теперь, в предрассветных сумерках, здания эти походили на руины. Присев на скамью у тополя, Мартын полез было за папиросою, но тут

же забыл о ней, вскочил и вновь торопливо зашагал вперед. Он колесил так из улицы в улицу, пересекал площади, упирался в тупики, почти ошупью выбирался из них и вновь шел, не оглядываясь и не понимая, где он. Со стороны можно было подумать, что этот рослый человек скрывается от погоня. Так оно и было в действительности, только преследовали Мартына не люди, а его собственные мысли, жалившие мозг и сердце. Наконец Мартын понял, что уйти от себя нельзя, что спастись от стыда, презрения к себе, отчаяния невозможно, как невозможно изменить, исправить, вычеркнуть вовсе из жизни событие, вызвавшее это отчаяние. Спасение было только в полном забвении себя, в отказе от себя, от самой жизни. И, сознавая это, он вдруг остановился, нашарил в кармане браунинг и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь в эту минуту стал на его пути, дал бы знать о себе шумом шагов, окриком, самым легким покашливанием; если бы теперь, а не час назад, именно теперь, когда он сжимал в руке заглодевшую сталь, кинулась бы ему под ноги дворняжка, или даже хлопнула бы где-нибудь поблизости дверь,—Мартын выстрелил бы в себя. Но он стоял у глухого забора, уходившего далеко вперед, никто не следил за ним, и не было вообще никаких признаков жизни вокруг, и он опустил руку с зажатым в ней браунингом. И вдруг почувствовал прилив бешеной злобы к людям, к событиям, ко всему свету. Его большое и сильное тело, за минуту перед тем покорно ожидавшее конца, кричало теперь каждою своею клеточкою, возмущалось, ненавидело. И мозг тотчас же при-

нялся опрокидывать все доводы против жизни... В памяти Мартына возникали тирады, афоризмы, истины, когда-либо вычитанные им, или слышанные, и говорившие об одном: бессмысленны, безразличны, непростительны самые мысли о самоубийстве.

В памяти бурей пронеслось прошлое, от детских лет до этого часа, и с изумлением видел Мартин, что всю жизнь боролся против покушений: волжские бури, сквозные ветры, болезни... человек с медвежьей головою, облеченный властью золота; отец, ослепленный своим правом отцовства; жандармы, шпики, тюремщики и, наконец, эти белые, зеленые, черные—все они только и делали, что охотились за ним, Мартыном, с шашками, с пулеметами, с остро отточенными топорами.

Нет, не годится! Смерть ничего не разрешает. Смерть хороша для слабых, никчемных, негодных, осужденных самой жизнью.

Он опустил браунинг в карман и на мгновение почувствовал радость, точно только-что справился с неожиданно навалившеюся на него опасностью. Но едва миновало это первое светлое ощущение, похожее на самочувствие возвращающегося к жизни, снова сомнения всколыхнулись в сознании: есть ли у него выход, возможно ли спасение, в состоянии ли он смыть позор, поднять свое имя в глазах людей и, главное, примирить себя с собою?..

И опять мускулы его тела распустились и ослабли, как у больного, сердце заглохло, жадная песенка крови смолкла. Опять из глубины сознания поднялось отчаяние, и все тело покорно молчало, как дикое

же забыл о ней, вскочил и вновь торопливо зашагал вперед. Он колесил так из улицы в улицу, пересекал площади, упирался в тупики, почти ошупью выбирался из них и вновь шел, не оглядываясь и не понимая, где он. Со стороны можно было подумать, что этот рослый человек скрывается от погони. Так оно и было в действительности, только преследовали Мартына не люди, а его собственные мысли, жалившие мозг и сердце. Наконец Мартын понял, что уйти от себя нельзя, что спастись от стыда, презрения к себе, отчаяния невозможно, как невозможно изменить, исправить, вычеркнуть вовсе из жизни событие, вызвавшее это отчаяние. Спасение было только в полном забвении себя, в отказе от себя, от самой жизни. И, сознавая это, он вдруг остановился, нащарил в кармане браунинг и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь в эту минуту стал на его пути, дал бы знать о себе шумом шагов, окриком, самым легким покашливанием; если бы теперь, а не час назад, именно теперь, когда он сжимал в руке заолодевшую сталь, кинулась бы ему под ноги дворняжка, или даже хлопнула бы где-нибудь поблизости дверь,—Мартын выстрелил бы в себя. Но он стоял у глухого забора, уходившего далеко вперед, никто не следил за ним, и не было вообще никаких признаков жизни вокруг, и он опустил руку с зажатым в ней браунингом. И вдруг почувствовал прилив бешеной злобы к людям, к событиям, ко всему свету. Его большое и сильное тело, за минуту перед тем покорно ожидавшее конца, кричало теперь каждою своею клеточкою, возмущалось, ненавидело. И мозг тотчас же при-

нялся опрокидывать все доводы против жизни... В памяти Мартына возникали тирады, афоризмы, истины, когда-либо вычитанные им, или слышанные, и говорившие об одном: бессмысленны, безразличны, непростительны самые мысли о самоубийстве.

В памяти бурей пронеслось прошлое, от детских лет до этого часа, и с изумлением видел Мартын, что всю жизнь боролся против покушений: волжские бури, сквозные ветры, болезни... человек с медвежьей головою, облеченный властью золота; отец, ослепленный своим правом отцовства; жандармы, шпики, тюремщики и, наконец, эти белые, зеленые, черные—все они только и делали, что охотились за ним, Мартыном, с шашками, с пулеметами, с остро отточенными топорами.

Нет, не годится! Смерть ничего не разрешает. Смерть хороша для слабых, никчемных, негодных, осужденных самой жизнью.

Он опустил браунинг в карман и на мгновение почувствовал радость, точно только-что справился с неожиданно навалившеюся на него опасностью. Но едва миновало это первое светлое ощущение, похожее на самочувствие возвращающегося к жизни, снова сомнения всколыхнулись в сознании: есть ли у него выход, возможно ли спасение, в состоянии ли он смыть позор, поднять свое имя в глазах людей и, главное, примирить себя с собою?..

И опять мускулы его тела распустились и ослабли, как у больного, сердце заглохло, жадная песенка крови смолкла. Опять из глубины сознания поднялось отчаяние, и все тело покорно молчало, как дикое

животное, попавшее в крепкие сети охотника и обес-
силевшее в борьбе с ними.

Теперь уже напрасно нашептывала память о прошлом, и сами мысли о преступности самоубийства казались бледными и неубедительными.

И вот Мартын понял, что смерть вошла в его кровь и что бороться с этою силою он не станет. Тогда жалость к себе, к своей молодой жизни, к неоправданным своим надеждам проникла в грудь и начала перебирать там удивительные, никогда ранее не слышанные струны.

Он уже представлял себя распластным на мокрых осенних травах. Представлял бледные лица, склоненные к нему. Представлял гроб свой, повитый красными знаменами, мерно колыхающийся над морем голов, под невозможно скорбные звуки похоронного марша. И, потузакрыв глаза, ощущая соленую влагу в горле, увидел Мартын за своим гробом тех, кто особенно дорог был ему,—увидел он Зину и Черноголового: увидел белоснежную голову друга, склоненную под непомерною тяжестью и увидел родные, прекрасные, самые прекрасные на земле, глаза девушки, налитые отчаянием.

Сглотнув соленый ком, подступивший к горлу, он заглянул вверх, в серое, предутреннее небо. На жаркое лицо его упала студеная капля, потом—другая. Под небом ворочались, наливались теплом и светом туманы, и совсем близко, над старыми полуголыми липами, нависшими у заборов, стоял странный сухой треск. И сразу узнал Мартын в этих звуках порхающие воробьиные стайки.

Он вынул браунинг, осмотрел, шелкнул замком, и вдруг неудержимо потянуло его прицелиться в липы. И, не целясь, он нажал спуск: пуля зацепила ветки, воробьиная стая серою молнией метнулась в сторону, эхо выстрела ударило в забор и зазвенело. Тогда, не отрывая пальца от пружинистого спуска, раз за разом, он выпустил в забор оставшиеся заряды и был взволнован тем, что пули ложились в одну точку: навык стрелка-охотника сказался здесь в полной мере.

Он взмахнул браунингом, прерывисто вздохнул и опять обрадовался, увидев свою бледную, тонкую руку, колени свои, слегка затертые и пыльные, грудь свою, широкую и крутую, а под грудью—кроткое человеческое сердце, обреченное на жизнь и подвиг.

Улица просыпалась, где-то погромыхивала мостовая, старенький дворник, из тех, что ссорились с новою властью из-за непорядков во дворе, выполз с метлою и принялся, скосив глаза на Мартына, шаркать по мокрому асфальту.

Мартын заторопился. Достигнув подъезда общежития, он взглянул по сторонам, послушал у двери и торопливо вошел.

Лестница была пуста, по углам ее и на стенах еще холодели сны. Одинокий кот, увидев человека, вдруг напряжился и, подняв хвост, побежал впереди, как бы приветствуя и указывая путь. Кто-то косматый и заспанный, прикрытый халатом, пересек, шлепая туфлями, коридор и скрылся за углом. Ключ щелкнул, дверь отпахнулась, Мартын вошел к себе.

животное, попавшее в крепкие сети охотника и обес-силевшее в борьбе с ними.

Теперь уже напрасно нашептывала память о прошлом, и сами мысли о преступности самоубийства казались бледными и неубедительными.

И вот Мартын понял, что смерть вошла в его кровь и что бороться с этою силою он не станет. Тогда жалость к себе, к своей молодой жизни, к неоправданным своим надеждам проникла в грудь и начала перебирать там удивительные, никогда ранее не слышанные струны.

Он уже представлял себя распластным на мокрых осенних травах. Представлял бледные лица, склоненные к нему. Представлял гроб свой, повитый красными знаменами, мерно колыхающийся над морем голов, под невозможно скорбные звуки похоронного марша. И, полузакрыв глаза, ощущая соленую влагу в горле, увидел Мартын за своим гробом тех, кто особенно дорог был ему,—увидел он Зину и Черноголового: увидел белоснежную голову друга, склоненную под непомерною тяжестью и увидел родные, прекрасные, самые прекрасные на земле, глаза девушки, налитые отчаянием.

Сглотнув соленый ком, подступивший к горлу, он заглянул вверх, в серое, предутреннее небо. На жаркое лицо его упала студеная капля, потом—другая. Под небом ворочались, наливались теплом и светом туманы, и совсем близко, над старыми полуголыми липами, нависшими у заборов, стоял странный сухой треск. И сразу узнал Мартын в этих звуках порхающие воробьиные стайки.

Он вынул браунинг, осмотрел, шелкнул замком, и вдруг неудержимо потянуло его прицелиться в липы. И, не целясь, он нажал спуск: пуля зацепила ветки, воробьиная стая серою молниею метнулась в сторону, эхо выстрела ударило в забор и зазвенело. Тогда, не отрывая пальца от пружинистого спуска, раз за разом, он выпустил в забор оставшиеся заряды и был взволнован тем, что пули ложились в одну точку: навык стрелка-охотника сказался здесь в полной мере.

Он взмахнул браунингом, прерывисто вздохнул и опять обрадовался, увидев свою бледную, тонкую руку, колени свои, слегка затертые и пыльные, грудь свою, широкую и крутую, а под грудью—кроткое человеческое сердце, обреченное на жизнь и подвиг.

Улица просыпалась, где-то погромыхивала мостовая, старенький дворник, из тех, что ссорились с новою властью из-за непорядков во дворе, выполз с метлою и принялся, скосив глаза на Мартына, шаркать по мокрому асфальту.

Мартын заторопился. Достигнув подъезда общежития, он взглянул по сторонам, послушал у двери и торопливо вошел.

Лестница была пуста, по углам ее и на стенах еще холодели сны. Одинокий кот, увидев человека, вдруг напряжился и, подняв хвост, побежал впереди, как бы приветствуя и указывая путь. Кто-то косматый и заспанный, прикрытый халатом, пересек, шлепая туфлями, коридор и скрылся за углом. Ключ шелкнул, дверь отпахнулась, Мартын вошел к себе.

Постель стояла неубранной, по полу, валялись окурки, на столе, среди посуды, голубел чайник.

Мартын раскрыл окно, и как только в комнате повеяло свежестью, голова у него легонько закружилась. Он сел у стола, заметил хлебные корки вокруг чайника и потянулся к ним: он хотел есть. Его голод был буен, как никогда.

В дверь постучали. Мартын не успел ответить. Вошла Зина. Она тяжело дышала (должно быть, бежала вверх по лестнице), лицо ее было бледно, в глазах еще метался страх. Она была очень хороша в своем возбуждении, под платьем угадывалось ее взволнованное, трепетное тело. Руки ее новольно потянулись вперед, из горла вылетели странные звуки, похожие не то на смех, не то на плач.

— Мартын, ты!

Она не закончила, опустилась на табуретку и глядела на него захлебывающимися от счастья глазами.

— Мартын, голубчик, а я чорт знает что о тебе думала...

Только тут она увидела жующий его рот, влажные крошки на подбородке, услышала жадное чавканье и—запнулась.

— А! Проголодался, бедный...

Она опустила глаза чуть-чуть сконфуженно, но, справившись с собою, вновь, светло и доверчиво, взглянула на него.

— Мартын, голубчик, когда ты сбежал с собрания, я была сама не своя. И, знаешь, оскандалилась... Накричала там, как сумасшедшая... Стыд, срам!.. Но это ничего... Главное, с тобой... все хоро-

шо!.. Мартын, милый, они не решились... Они не пошли дальше порицания!..

Мартын перестал жевать, губы его задрожали.

— Мне теперь не важно, как они... решили!

— Но, Мартын! Ведь только—порицание!

— Это все равно,—проговорил он негромко.—Теперь я знаю, кто я таков и что мне делать!..

Она пытливо взгляделась в него, и где-то в глубине темных ее зрачков, как /на булавочных остриях, блеснуло недоумение. Но вновь она преодолела себя, поднялась, подошла к нему, взяла его руку в свои горячие.

— Вот и все, Мартын!..—говорила она, не сдерживая своей бьющей изнутри радости.—Все страсти и страхи—позади!.. И все твои сомнения—как мираж... Встряхнись же хорошенько и покажи себя людям, каков ты есть в действительности!..

Он молчал.

— Ты знаешь, Мартын! Они не переменялись к тебе... И этот Михаил Иванович! Ой, если бы ты видел, как он волновался за тебя... Он попрежнему любит, уважает тебя!..

Мартын покачал головою.

— Нет, нет...—сказал он, освобождая свою руку.—И Михаил Иванович, и все другие не могут относиться ко мне попрежнему... А если бы... если бы, Зина, это было не так... я перестал бы уважать их всех!..

— О чем ты говоришь, Мартын?—в голосе ее прозвучала досада.—Или ты не веришь мне? Или ты думаешь, что я успокаиваю тебя?..

Он криво усмехнулся.

— Меня успокоить нельзя, Зина!—раздельно говорил он.—И тот, кто думает заняться этим, окажет мне плохую услугу... Слушай!—голос его напругся.—Чего они хотят от меня? Неужели не понимают, что оскорбляют меня, добивают до конца своим снисхождением? Так пусть же они знают...

— Кто они, кто они, Мартын?..—уже с нескрываемой болью в голосе воскликнула Зина.—Ведь это же—твои товарищи! Ведь это—партия твоя!..

— Знаю!—он упрямо склонил голову.—И пусть моя партия, мои товарищи возьмут у меня мое тело, мою готовность двигать этим телом в любом направлении, мою жизнь, наконец... Но то, о чем я говорю, не принадлежит им! И оно не нужно им! И оно бессмысленно для них, как... как мои сновидения, что ли... Я сказал им все! Я не скрыл от них самых постыдных черт моего характера... Но они не хотят мне верить! Они не верят тому, что я добьюсь своего, что я преодолею себя до последнего предела... Не перебивай, прошу! Они не верят в меня, Зина! Они судят по себе, быть может... но—не верят! Иначе я не услышал бы теперь от тебя об их снисхождении... Снисходят только слабые к слабым... Пойми!

Она отступила и со стороны, молча, в холодном изумлении, следила за ним. Неужели это он, Мартын, кого она считала самым мудрым, самым прекрасным и самым правдивым среди окружающих? О чем он говорит? На кого он жалуется, кому он угрожает? Перед ее глазами встал жаркий, прокуренный зал

собрания: измученные лица, бесконечные споры, упреки, колебания... И все это вокруг Мартына, ради него и для него! И себя она вспомнила, свое жуткое волнение, свой крикучий выпад, свой безумный страх за этого человека, за его доброе имя, за жизнь его... А он стоит вот у стены, чужой ей, с глазами, мутными от сладостного какого-то самобичевания, с головою, набычившейся, как у капризного ребенка. Какое ему дело до всего того мучительного, что она только что пережила! Какое ему дело до Михаила Ивановича, не раз в эту ночь рисковавшего своим авторитетом старого, всеми уважаемого партийца! И равнодушен он ко всем прочим товарищам, сгоравшим за него от стыда, но чутким к его страданиям, отдавшим его делу, многие, столь ценные для них часы.

Она прищурилась и глухо, но твердо сказала:

— Невозможный ты человек!..

Но его не смутил этот упрек. Он как бы вовсе не слышал ее слов и продолжал говорить о своем внутреннем, единственно для него близком, понятном, заслуживающем внимания.

И она не выдержала.

— Довольно, Мартын!..

И только тут заметил он сумеречье ее лица, горькую усмешечку в углах ее рта, дрожащие ее руки. Он смолк и поднял глаза, и оттого, что в глазах этих прочитала Зина ожидание мученика, оттого, что глаза эти как бы говорили ей: «А, и ты против меня, хорошо же, добивайте меня», — высоким, звенящим голосом бросила ему:

— Эгоист... Ломака!..

Он криво усмехнулся.

— Меня успокоить нельзя, Зина! — раздельно проговорил он. — И тот, кто думает заняться этим, окажет мне плохую услугу... Слушай! — голос его напрягся. — Чего они хотят от меня? Неужели не понимают, что оскорбляют меня, добивают до конца своим снисхождением? Так пусть же они знают...

— Кто они, кто они, Мартын?.. — уже с нескрываемой болью в голосе воскликнула Зина. — Ведь это же — твои товарищи! Ведь это — партия твоя!..

— Знаю! — он упрямо склонил голову. — И пусть моя партия, мои товарищи возьмут у меня мое тело, мою готовность двигать этим телом в любом направлении, мою жизнь, наконец... Но то, о чем я говорю, не принадлежит им! И оно не нужно им! И оно бессмысленно для них, как... как мои сновидения, что ли... Я сказал им все! Я не скрыл от них самых постыдных черт моего характера... Но они не хотят мне верить! Они не верят тому, что я добьюсь своего, что я преодолею себя до последнего предела... Не перебивай, прошу! Они не верят в меня, Зина! Они судят по себе, быть может... но — не верят! Иначе я не услышал бы теперь от тебя об их снисхождении... Снисходят только слабые к слабым... Пойми!

Она отступила и со стороны, молча, в холодном изумлении, следила за ним. Неужели это он, Мартын, кого она считала самым мудрым, самым прекрасным и самым правдивым среди окружающих? О чем он говорит? На кого он жалуется, кому он угрожает? Перед ее глазами встал жаркий, прокуренный зал

собрания: измученные лица, бесконечные споры, упреки, колебания... И все это вокруг Мартына, ради него и для него! И себя она вспомнила, свое жуткое волнение, свой крикучий выпад, свой безумный страх за этого человека, за его доброе имя, за жизнь его... А он стоит вот у стены, чужой ей, с глазами, мутными от сладостного какого-то самобичевания, с головою, набычившейся, как у капризного ребенка. Какое ему дело до всего того мучительного, что она только что пережила! Какое ему дело до Михаила Иваныча, не раз в эту ночь рисковавшего своим авторитетом старого, всеми уважаемого партийца! И равнодушен он ко всем прочим товарищам, сгоравшим за него от стыда, но чутким к его страданиям, отдавшим его делу многие, столь ценные для них часы.

Она прищурилась и глухо, но твердо сказала:

— Невозможный ты человек!..

Но его не смутил этот упрек. Он как бы вовсе не слышал ее слов и продолжал говорить о своем внутреннем, единственно для него близком, понятном, заслуживающем внимания.

И она не выдержала.

— Довольно, Мартын!..

И только тут заметил он сумеречье ее лица, горькую усмешечку в углах ее рта, дрожащие ее руки. Он смолк и поднял глаза, и оттого, что в глазах этих прочитала Зина ожидание мученика, оттого, что глаза эти как бы говорили ей: «А, и ты против меня, хорошо же, добивайте меня», — высохим, звенящим голосом бросила ему:

— Эгонист... Ломака!..

Она поймала, как он, точно под ударом, вздрогнул, как вспыхнули на щеках у него белые пятна и как затем темным огнем налились его глаза. Отчаяние за свое чувство к нему, и жалость к себе, сознание разваливающегося счастья опрокинулось на нее. Она круто повернула к двери и выбежала вон.

На улице, за порогом общежития, Зина остановилась. Слезы застилали ей зрение, невидимое солнце рдело под мокрыми ресницами кровью.

Она не знала, что предпринять: идти ли к себе, или возвратиться. Тревога за Мартына вновь качала ее сердце. Но, прикусив до боли нижнюю свою губу, она направилась вдоль улицы.

Огромный серый автомобиль, раздувая шипящими своими шинами голубые лужи, летел ей навстречу. Она подалась к стене и вскинула глаза. Михаил Иванович успел помахать ей рукой, а сидевший с ним рядом Панкратов послал ей из-за черных своих усов улыбку.

Автомобиль полным ходом мчался к окраинам, к казармам, к штабу армии, бьющейся на подступах к городу.

— Жалко этого Баймакова!—говорил Панкратов, отрывая глаза от бледной, прижавшейся к стене девушки.—По существу говоря, бежав со станции, он не выказал себя трусом... Бессмысленно было бы играть там в героизм! Но вот... нехорошо, что теперь, задним числом, он хотел всем нам навязать себя как мученика своей ошибки... Тут есть что-то такое...

— Излишне отважное!—усмехаясь, закончил за него Михаил Иванович.

Панкратов помолчал.

— Отважность... Что такое отважность? Привычка, терпение, мозоли на нервах...

Зина следила за серым автомобилем, пока не скрылся. Она знала, что не пройдет и трех дней, как этот темнолицый, черноусый человек вновь будет слушать артиллерию своей армии, вновь будет скакать среди дымящихся от пороха и крови полков своих, и вновь десятки тысяч вооруженных рабочих и крестьян с тревогой и восхищением будут следить за каждым его шагом.

Как будто стало легче Зине. Она вобрала в легкие свежего воздуха и пошла ровнее. И тут вспомнила, что не передала Мартыну самого важного, о чем просил ее Михаил Иванович: Панкратов приглашал Мартына в свой штаб, на славный труд, на боевую работу.

Она почти побежала домой. Никифор Семеныч встретил ее в необычном состоянии духа, но Зина не сразу заметила это. Она прошла в свою комнатку, сбросила с себя жакетку и потянулась к трубке телефона.

— Алло! Станция?..

Отец стоял за ее спиной, на пороге. Она почувствовала его, повернулась к нему с трубкой, прижатой к уху, замахала рукою. Он немедленно скрылся.

— Станция? Дайте сто пятый...

Это был номер Баймакова.

— Есть, сто пятый...— послышался голос телефонистки, и затем шорохи, хрипы наполнили мембрану.

Телефон молчал.

И вдруг—страх, дикий, неудержимый, расширил глаза Зины. Второй раз, теперь уже бурно, вертела она ручку телефона.

— Алло... Алло...

Наконец услышала родной, милый голос и, чувствуя, сколь еще бесконечно дорог ей этот человек, заговорила торопливо, напевно:

— Мартын, ты? Прости меня, если можешь... Тысячу раз не права... Готова доказать тебе свою ошибку чем угодно... Что? О, ты сердись на меня! Слышу... Ну я говорю тебе на этот раз по делу! Что? Одну минутку... Михаил Иванович просил передать тебе: товарищ Панкратов считает тебя очень ценным, и он просит тебя явиться к нему завтра к семи утра, в штаб... Он предлагает ответственную работу... Что? Мое дело—передать... Да, да... Пока!

Она отняла трубку от горячего уха и, про себя улыбаясь, закрыла глаза. Что-то говорило ей, что Мартын уже перешагнул за черту своей катастрофы, поднялся, вырос над этим днем, и он будет цел, цел!..

— Отец!

Она бросилась в кухню. Старик стоял у стены, перед зеркальцем, и тщательно приглаживал свою прическу.

— Что такое? Отец, что с тобою?

Он выпрямился перед нею; на нем были новенькие казньетовые брюки, хранившиеся у него в сундучке много лет. Кожаная, изрядно поношенная тужурка его была тщательно заштопана. Подбородок начисто выбрит, седые волосы примаслены и зачесаны в ко-

оо! пробор. Сухие его щечки покраснелись, под синими нависшими бровями играли зайчата.

— Честь имею!—вытянувшись во фронт и козыряя, пролепетал он.—Вновь назначенный машинист дальнего пути, Никифор Семенов Кудрявцев! Прошу любить и жаловать.

Зина не могла удержаться от смеха.

— Ничего не понимаю, товарищ машинист!..

Старик многозначительно чмокнул краем губ, подхватил дочь под локоть, усадил за стол.

— Слушай! Капут моим маневрам! Отнюхался станционной вони! Опять назначили...

— Да кто, кого и куда?..

— Приказом по службе, за печатью Народного комиссариата путей сообщения РСФСР! Чуешь, дочка, куда твой батька махнул?..

Она отрицательно покачала головой.

— Эх ты, бестолочь! А еще начальница губкома...

— Секретарь, папочка!

— Все одно... Получил я, Зинаида Никифоровна, назначение... Опять в дальний путь поставлен!.. Да еще—при военных эшелонах... Чуешь? Из двадцати душ первым назначен... Полное доверие... Катай, никаких!..

Зина поняла, затревожилась.

— Это ведь фронт, папочка!..

— Знаю, что фронт! А ты мои силы мерил? Да я иным молодым пить дам...

— Как же так вышло, отец?

— Вышло—дышло!—неожиданно залился он сахарным смешком.—На фронтах-то у нас... тю-тю! На-

меднись, дочка, целый состав с машинистом вместе... под откос головушкой!.. Из двух десятков молодцов в нашем узле—пятеро в тифу, трое в раненом положении! Что ж мне, по-твоему? издыхать на своей кукушке?.. Э, нет, шалишь!.. Мы еще тряхнем горностаем... Ты слушай-ка, сюда...—Он потянул ее за руку.—Илья Ильич Сухоруков... Знаешь? Как увидел меня, так и облапил... «Э, хрыч старый, чего же ты прятался? Да нешто можно, чтобы папанька Кудрявцевой (это—об тебе, Зинка), чтобы этакий человек... с кукушкой у нас возился?» Чуешь?.. Об тебе, дочка, с превеликим почтением...—Вдруг он с испугу, вскочил за столом.—Да что же это я, старый свистун! Болтаю, болтаю, а об том и забыл, что девка всю ночь на ногах, не пимши, не емши...

Он убежал под свою занавеску, вытащил, сгорбившись, скраснев в лице, тяжелый шумящий самовар, уставил его на подоконник и загремел чашками. Нарезая хлеб, голосом, темным от внезапной печали, говорил:

— Одно винтит на сердце! Как теперь с хозяйством будешь?.. Кто напоит, накормит горькую головушку? Отец-то по неделям ездить учнет...

— Не маленькая!

— Не маленькая, да сумасбродная сильно... Об себе никогда не подумаешь... Ну, да погоди уж... Вот съезжу к Липкам, наберу, яичек, пошенички, сальца... Закормлю, девка!.. Чего вздыхаешь?.. Дома сидел—нехорош был... На путь-дорогу, стал—опять нехорош... Говори,—нехорош, а?.. То-то и оно-то, большевичка сопатая...

Армия Панкратова двинулась в наступление.

В исполкоме узнали об этом событии в тот же час, но город долго не подозревал, что в каких-нибудь полсотни верстах, в море сизых осенних туманов, запылало пожарище небывалых боев. Только через сутки, когда убрались с мостовых последние таратайки обозов и улицы вдруг заглохли, люди поняли: куда-то скатилась фронтовая жизнь.

И как только прогрохотали на шоссе, удаляясь, запоздалые фургоны лазарета, враз посерели и смолкли улицы, в темных садах закружились оголтело галочки граи, и унылый монастырский звон до края наполнил собою дворы, панели, базары.

Из калиток, крылец, окон просунулось обомшленное обличье с рысьими глазками. И потекли со двора во двор, от ларька к ларьку, вдоль пустынных, хвостатых заборов, шорохи, шопоты, причитанья.

Попрежнему светятся в мгlistых туманах огромные окна исполкома; попережнему гудит там и сям, вспугивая мокрую немоту улиц, серый автомобиль, и несменно, как вестовые костры среди ночи, пылают на зорях заводские голоса: неугасима, неугасима, неугасима тоска их по веснам, по солнцу, по иной, небывалой, преображенной земле.

«Зина, родная, ты права!—писал Мартын из степи, со дна туманов, с неведомых, залесканных кровью дорог.—Ты права: я—эгоист! Был им все время, но не буду! Простил себе, потому что аз есмь продукт какой-то среды... Думал о своей бледнолицей

меднись, дочка, целый состав с машинистом вместе... под откос головушкой!.. Из двух десятков молодцов в нашем узле—пятеро в тифу, трое в раненом положении! Что ж мне, по-твоему? издыхать на своей кукушке?.. Э, нет, шалишь!.. Мы еще тряхнем горностаем... Ты слушай-ка, сюда...—Он потянул ее за руку.—Илья Ильич Сухоруков... Знаешь? Как увидел меня, так и облапил... «Э, хрыч старый, чего же ты прятался? Да нешто можно, чтобы папанька Кудрявцевой (это—об тебе, Зинка), чтобы этакий не-люди... с кукушкой у нас возился?» Чуешь?.. Об тебе, дочка, с превеликим почтением...—Вдруг он с испугу, вскочил за столом.—Да что же это я, старый свистун! Болтаю, болтаю, а об том и забыл, что девка всю ночь на ногах, не пимши, не емши...

Он убежал под свою занавеску, вытащил, сгорбившись, скраснев в лице, тяжелый шумящий самовар, уставил его на подоконник и загремел чашками. Нарезая хлеб, голосом, темным от внезапной печали, говорил:

— Одно винтит на сердце! Как теперь с хозяйством будешь?.. Кто напоит, накормит горькую головушку? Отец-то по неделям ездить учнет...

— Не маленькая!

— Не маленькая, да сумасбродная сильно... Об себе никогда не подумаешь... Ну, да погоди уж... Вот съезжу к Липкам, наберу, яичек, пошенички, сальца... Закормлю, девка!... Чего вздыхаешь?.. Дома сидел—нехорош был... На путь-дорогу, стал—опять нехорош... Говори,—нехорош, а?.. То-то и оно-то, большевичка сопатая...

Армия Панкратова двинулась в наступление.

В исполкоме узнали об этом событии в тот же час, но город долго не подозревал, что в каких-нибудь полсотни верстах, в море сизых осенних туманов, запылало пожарище небывалых боев. Только через сутки, когда убрались с мостовых последние таратайки обозов и улицы вдруг заглухли, люди поняли: куда-то скатилась фронтовая жизнь.

И как только прогрохотали на шоссе, удаляясь, запоздалые фургоны лазарета, враз посереди и смолкли улицы, в темных садах закружились оголтело галочки граи, и унылый монастырский звон до края наполнил собою дворы, панели, базары.

Из калиток, крылечек, окон просунулось обомшелое обличье с рысьими глазками. И потекли со двора во двор, от ларька к ларьку, вдоль пустынных, хвостатых заборов, шорохи, шопоты, причитанья.

Попрежнему светятся в мгlistых туманах огромные окна исполкома; попрежнему гудит там и сям, вспугивая мокрую немоту улиц, серый автомобиль, и несменно, как вестовые костры среди ночи, пылают на зорях заводские голоса: неугасима, неугасима, неугасима тоска их по веснам, по солнцу, по иной, небывалой, преображенной земле.

«Зина, родная, ты права!—писал Мартын из степи, со дна туманов, с неведомых, залесканных кровью дорог.—Ты права: я—эгоист! Был им все время, но не буду! Простил себе, потому что аз есмь продукт какой-то среды... Думал о своей бледнолицей

матери... Тосковал о лучшем человеке! И знаю — в огне, в гуле, в крови нашей армии рождается новое общество, а значит, и новый, лучший человек! Не забывай М. Баймакова».

Это письмо, заклеенное в хлопчатую бумагу, с адресом, наспех выписанным чернильным карандашом. Зина нашла у себя в губкоме среди деловых конвертов.

Было утро и было много вокруг людей, и, чтобы сохранить письмо, Зина заложила его в папку с бумагами о ремонте и пуске сахарного завода: толстое многолистное «дело», начинавшееся протоколом чека.

Только вечером, покончив с текущими заботами и выпроводив Памфилову, требовавшую докладчика на завтрашнее районное собрание, Зина вновь взяла письмо в руки и перечитала его не один раз: шопотом, полным голосом, напевом.

Никто не видел секретаря губкома в эти минуты. А в следующие — Зина уже перелистывала толстое «дело» о ремонте и пуске сахарного завода. И, перелистывая, старалась думать об этом провалившемся с треском ремонте, о шайке угодливых и льстивых мошенников, работавших на подрядах, и о странной роли здесь партийца Аристова.

Аристов! Он встал перед нею с сочными своими, как у обжоры, губами, со скрыто-трусливым взглядом больших, темных глаз, и вспомнился Зине недавний бурный вечер, когда судили Мартына, и вспомнился каркающий исподтишка голос Аристова в сторону подсудимого. Одновременно — чувство тем-

ной неприязни к Аристову и чувство певучей нежности к Мартыну поднялись в ее сердце.

Она завернула «дело», встала от стола и, не имея сил бороться с собою, отдалась мыслям о Мартыне.

В последние дни она любила каждое слово, доносившееся с фронта, и успехи наступления будили в ней восторг и гордость. Она гордилась за те толпы рабочих и крестьян, которые сражались в армии Панкратова, и за штаб этой армии, работником которого был Мартын.

Ее энтузиазм при известиях о победах разгорался тем сильнее, чем глубже сознавала она, что вся ее жизнь до последней капли связана с будущим революции.

Лишившись близости Мартына, проводив отца в первый далекий и опасный рейс, Зина, казалось бы, должна была остро ощутить свое одиночество. Но она не только не затосковала в эти дни, но и еще полнее почувствовала свою молодую, кипучую жизнь, связанную с огромнейшей партией, с армией, со всем народом.

Теперь она не удивлялась беззаветной выносливости Черноголового: ведь он дышал многими тысячами жизней, переливавших в его жилы неугасимый огонь,—его удивительная воля к борьбе, к победам, к бессмертию питалась из неисчерпаемого резервуара восставшего класса.

Как чудесно, что Мартын не обиделся на жестокое ее слово, сознал себя виноватым, вспомнил о ней.

«Зина, родная, ты права: я был эгоистом!»

Конечно, теперь уже ничто не помешает ему, вы-

матери... Тосковал о лучшем человеке! И знаю — в огне, в гуле, в крови нашей армии рождается новое общество, а значит, и новый, лучший человек! Не забывай М. Баймакова».

Это письмо, заклеенное в хлопчатую бумагу, с адресом, наспех выписанным чернильным карандашом, Зина нашла у себя в губкоме среди деловых конвертов.

Было утро и было много вокруг людей, и, чтобы сохранить письмо, Зина положила его в папку с бумагами о ремонте и пуске сахарного завода: толстое многолистное «дело», начинавшееся протоколом чека.

Только вечером, покончив с текущими заботами и выпроводив Памфилову, требовавшую докладчика на завтрашнее районное собрание, Зина вновь взяла письмо в руки и перечитала его не один раз: шопотком, полным голосом, напевом.

Никто не видел секретаря губкома в эти минуты. А в следующие—Зина уже перелистывала толстое «дело» о ремонте и пуске сахарного завода. И, перелистывая, старалась думать об этом провалившемся с треском ремонте, о шайке угодливых и льстивых мошенников, работавших на подрядах, и о странной роли здесь партийца Аристова.

Аристов! Он встал перед нею с сочными своими, как у обжоры, губами, со скрыто-трусливым взглядом больших, темных глаз, и вспомнился Зине недавний бурный вечер, когда судили Мартына, и вспомнился каркающий исподтишка голос Аристова в сторону подсудимого. Одновременно — чувство тем-

ной неприязни к Аристову и чувство певучей нежности к Мартыну поднялись в ее сердце.

Она завернула «дело», встала от стола и, не имея сил бороться с собою, отдалась мыслям о Мартыне.

В последние дни она ловила каждое слово, доносившееся с фронта, и успехи наступления будили в ней восторг и гордость. Она гордилась за те толпы рабочих и крестьян, которые сражались в армии Панкратова, и за штаб этой армии, работником которого был Мартын.

Ее энтузиазм при известиях о победах разгорался тем сильнее, чем глубже сознавала она, что вся ее жизнь до последней капли связана с будущим революции.

Лишившись близости Мартына, проводив отца в первый далекий и опасный рейс, Зина, казалось бы, должна была остро ощутить свое одиночество. Но она не только не затосковала в эти дни, но и еще полнее почувствовала свою молодую, кипучую жизнь, связанную с огромнейшей партией, с армией, со всем народом.

Теперь она не удивлялась беззаветной выносливости Черноголового: ведь он дышал многими тысячами жизней, переливавших в его жилы неугасимый огонь,—его удивительная воля к борьбе, к победам, к бессмертию питалась из неисчерпаемого резервуара восставшего класса.

Как чудесно, что Мартын не обиделся на жестокое ее слово, сознал себя виноватым, вспомнил о ней.

«Зина, родная, ты права: я был эгоистом!»

Конечно, теперь уже ничто не мешает ему, вы-

ковать в себе нового человека. Он преобразит свое мироощущение. Он приобщится к воле миллионов и вместе с ними одержит победу над ужасами прошлого.

Как жаль, что она не может написать ему. Но — терпение! Она увидит его лично и передаст ему открытый ею секрет: ключи к неслыханному счастью—когда личные желания сливаются с желаниями масс и когда вообще ничто не страшно...

Что-то подсказывало Зине, что в ключах от этого счастья Мартын все еще нуждается.

Только бы не наделал он каких-нибудь глупостей, только бы не утерять рассудка в своем устремлении к бесстрашию, к самоотверженности.

Что значила эта фраза из его письма: «был им, эгоистом, все время, но не буду!» Какие новые порывы одолевают Мартына, какие планы роятся в его беспокойной головушке?..

И зачем он послал ей это письмо, наполненное общими фразами? Разве не знал, как дорого было бы услышать ей о самых обычных и простых вещах: о его здоровье, например, об условиях работы, о степени опасностей, его окружающих.

Не продолжает ли сказываться здесь, в этом его письме, все та же жестокость сердца, упивающегося собственными дерзаниями?..

Может быть, было бы лучше вовсе не получать такого скупого письма! Ведь она чувствовала себя в последнюю неделю прекрасно: ни одна беспокойная мысль не посещала ее, все помыслы ее как бы парили над временем, и ее вера в будущее, в себя,

в Мартына жила заодно с верою в дело пролетариата... А это письмо... Нет, она решительно недовольна письмом!..

Зина подошла к телефону, подняла трубку. Впервые за все последние дни ей не хотелось возвращаться домой, в пустые комнатухи, к холодному самовару. (Бедный старый отец! Что-то с ним теперь?) Она назвала номер Черноголового, никто не откликнулся ей.

В дверь из коридора бубнили голоса, хохот, крики: там дежурил отряд особого назначения. Зина обернулась к зеркалу. В огромном трюмо, глубоком и прозрачном, как человечесьи глаза, таилась своя пасмурная жизнь. Стол в виде прилавка, крытый до пола серым сукном, казался в полумраке гробницей.

Зина торопливо сложила бумаги в портфель, стояла над «делом» Аристова, прихмурилась, отложила в ящик.

Она решила идти к Михаилу Ивановичу. Его еще нет дома, но он должен быть с часу на час. Михаил Иванович знает, вероятно, о Мартыне больше, чем знала она по этому его никудышному письму, и потом ей необходимо теперь же поговорить о «деле» Аристова: не все тут ясно! Она достала из ящика папку с бумагами о сахарном заводе, засунула в портфель и направилась к выходу.

Дорогою мысли, как осы над цветущими травами, упорно вились вокруг Мартына, и когда Зина пыталась отмахнуться, осы набрасывались с еще большею настойчивостью. Она попробовала представить себе отца в его паровозной будке, среди мокрых,

черных степей, но образ Мартына всплыл из-под руки Никифора Семеныча и застлал паровозную будку.

В ветру, в гуле железных кровлей лил над улицами дождь. За мокрыми заборами скрипели старые липы. Откуда-то, со стороны кадетского плаца, доносились винтовочные выстрелы: кто-то неумный, злой, скучающий палил в белый свет. И лаяли, откликаясь гулкому эху, псы за воротами.

Зине стало жутко. Поеживаясь и вслушиваясь в глухой голос ночи, бежала она то по одной, то по другой стороне улицы, выбирая дома, где еще светились окна. Так добралась она к общежитию. И когда, поднявшись по лестнице, устланной зеленоватой дорожкой, вошла она в номер Михаила Иваныча, невольно заулыбалась. Сбросив с себя мокрое пальто и наскоро оправив у зеркальца прическу, оглядела комнату и вдруг почувствовала благодарную нежность к хозяину. Михаила Иваныча не было дома, но, спокойный, уравновешенный, глядел он здесь отовсюду. Постель, строгая и жесткая, но опрятная, указывающая на многолетний навык одинокого, полагающегося только на себя человека; грубое, холщевое у водопроводной раковины полотенце, поражающее своей белизной; какие-то щеточки, коробочки, пузырьочки, аккуратно расставленные на стекле умывальника; два портрета в черных рамах—Маркс и Ленин—на стене, над рядом венских стульев, и, наконец, этажерка с книгами, небольшой письменный стол.

Милый, честный, невозмутимый, мудрый Михаил

Иваныч! Если бы она и не знала, что живет здесь Черноголовый, все вокруг подсказало бы ей об этом, и особенно письменный стол, этажерка с книгами.

Ну, кто же, кто, кроме Михаила Иваныча, мог в таком порядке держать книги, в такой опрятности — письменный свой стол! Книги стояли крепко и ровно, хороводом, и в этой тесной устойчивой семье (Маркс, Ленин, Лассаль, Плеханов) было что-то белоснежное, как голова Михаила Иваныча. А этот стол, темный, поблескивающий, с матовым чернильным прибором, с тонко отточенными карандашами, расположенными на особой стеклянной подставке... Этот стол, манящий к себе своим уютом, и строгий, почти суровый, как прилавок лаборанта!..

Одна из них, тяжелая, пожолтнувшая, лежала на углу стола. Она была раскрыта. Бисерные пометки пестрели на полях. Зина заглянула на титульный лист.

Гегель

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Часть II

ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ

Так вот над чем, пересматривая, склоняется Черноголовый в короткие часы своего отдыха, — в часы, свободные от исполкома, губкома, фронта, продразверстки, эпидемий!

Чувство ребячьего умиления охватило Зину. Она уселась в единственное здесь мягкое кресло и полузакрыла глаза. Уставшие за день ноги ее ныли, но сердце билось ровно, неслышимо. У нее было то самое состояние, какое испытывают очень молодые

черных степей, но образ Мартына всплыл из-под руки Никифора Семеныча и застлал паровозную будку.

В ветру, в гуле железных кровлей лил над улицами дождь. За мокрыми заборами скрипели старые липы. Откуда-то, со стороны кадетского плаца, доносились винтовочные выстрелы: кто-то неумный, злой, скучающий палил в белый свет. И лаiali, откликаясь гулкому эху, псы за воротами.

Зине стало жутко. Поеживаясь и вслушиваясь в глухой голос ночи, бежала она то по одной, то по другой стороне улицы, выбирая дома, где еще светились окна. Так добралась она к общежитию. И когда, поднявшись по лестнице, усталенной зеленоватою дорожкой, вошла она в номер Михаила Иваныча, невольно заулыбалась. Сбросив с себя мокрое пальто и наскоро оправив у зеркала прическу, оглядела комнату и вдруг почувствовала благодарную нежность к хозяину. Михаила Иваныча не было дома, но, спокойный, уравновешенный, глядел он здесь ото всюду. Постель, строгая и жесткая, но опрятная, указывающая на многолетний навык одинокого, полагающегося только на себя человека; грубое, холщевое у водопроводной раковины полотенце, поражающее своей белизной; какие-то щеточки, коробочки, пузыречки, аккуратно расставленные на стекле умывальника; два портрета в черных рамах—Маркс и Ленин—на стене, над рядом венских стульев, и, наконец, этажерка с книгами, небольшой письменный стол.

Милый, честный, невозмутимый, мудрый Михаил

Иваныч! Если бы она и не знала, что живет здесь Черноголовый, все вокруг подсказало бы ей об этом, и особенно письменный стол, этажерка с книгами.

Ну, кто же, кто, кроме Михаила Иваныча, мог в таком порядке держать книги, в такой опрятности — письменный свой стол! Книги стояли крепко и ровно, хороводом, и в этой тесной устойчивой семье (Маркс, Ленин, Лассаль, Плеханов) было что-то белоснежное, как голова Михаила Иваныча. А этот стол, темный, поблескивающий, с матовым чернильным прибором, с тонко отточенными карандашами, расположенными на особой стеклянной подставке... Этот стол, манящий к себе своим уютом, и строгий, почти суровый, как прилавок лаборанта!..

Одна из них, тяжелая, пожолкнувшая, лежала на углу стола. Она была раскрыта. Бисерные пометки пестрели на полях. Зина заглянула на титульный лист.

Гегель

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Часть II

Философия природы

Так вот над чем, пересматривая, склоняется Черноголовый в короткие часы своего отдыха, — в часы, свободные от исполкома, губкома, фронта, подразверстки, эпидемий!

Чувство ребячьего умиления охватило Зину. Она уселась в единственное здесь мягкое кресло и полужакрыла глаза. Уставшие за день ноги ее ныли, но сердце билось ровно, неслышимо. У нее было то самое состояние, какое испытывают очень молодые

и очень нервные люди после душной бессонной ночи, когда, распахнув на рассвете окно, они отдаются внезапному сладостному, забытью среди веяния утра.

И, успокаиваясь, отдыхая от шумного, толкучего и бестолкового дня, Зина вновь чувствовала тихое и ласковое волнение: незримые нити вновь тянулись от ее сердца через ночь, через слякоть, через мокрые, бушующие ветры к людям, к заводам, к фронтам, к будущему родной страны и... к своему маленькому, личному, счастью!

Письмо Мартына начинало казаться ей простым и ясным, какими изредка бывали у этого человека синие его глаза.

В порыве бездумной благодарности к комнате, приютившей ее тревогу, и к хозяину, всех этих чинно покоявшихся под голубым светом вещей Зина поднялась с кресла, раздумчиво и зорко огляделась вокруг и с тихой, но хитренькой улыбочкой на тонких завитушках губ ухватила из угла половую щетку. Не то, чтобы в ее усердии особо нуждались старенькие, но вполне чистые полты, но там кое-где валялись клочки бумаги, а Зине досмерти хотелось внести что-нибудь свое, хотя бы самое крошечное, в эти стены!

И тут неслышно вошел Михаил Иванович.

— А, Кудрявцева!—произнес он с порога, стянул с себя взмокшее пальто, отер руку о носовой платок и, протягивая ее девушке, сдержанно заметил:—Это что же, Зина, инстинкт хозяйки?..

Она, покрасневшись, рассмеялась, отмела бумажки

в угол и, возвращаясь к столу, прихватила свой портфель.

— Никак не разберусь с проклятым этим делом!— говорила она, доставая папку и еще гуще краснея. на этот раз за свой грязный, затрепанный, мокрый портфель: только теперь заметила.

— Сухарный завод...— рассеянно откликнулся Черноголовый, отодвинул в сторону Гегеля и сел у стола.— Безобразное дело... Вошь и лихоимство—бич русской земли... Даже после грозы воздух у нас не вполне чист!

Он говорил, как всегда, с уклоном к афоризму и посмеивался, но за толстым стеклом его очков чадил беспокойный зеленоватый огонек. Зина заметила, насторожилась и, как это обычно бывает у простодушных или совсем юных людей, тотчас же перенеслась мыслью к своему личному, тревожащему ее—к Мартыну: не тут ли причина плохого скрытого беспокойства Михаила Ивановича?

— А я получила от Баймакова писульку!— сказала она без всякой связи с делом о сухарном заводе и присела у стола, положив свои обе руки поверх папки.

— Ну, и что же?...— отозвался он вяло, достал из жилетного кармана щеточку и начал разглаживать свои еще совсем темные и тщательно подстриженные усы.— Что же... попрежнему философствует?... Кстати, ты знаешь...— несколько оживился он.— Со штабом у Мартына не вытанцовалось!..

Красноватые, в заусеницах, пальцы Зины дрогнули.

— Как! Он покинул штаб?...— воскликнула она.

— Представь, покинул! Он нашел, что в штабе достаточно политкомов, и отправился в строй, в пехоту, под ружье.

Она взглянула в лицо Михаила Ивановича почти с испугом. Холодная белизна медленно начала проступать на ее щеках.

— Значит, он... в строю?—сдавленным голосом проговорила она.—Под огнем?..

Михаил Иванович сунул свою щеточку обратно в жилет.

— Если в строю, то, конечно же, под огнем!.. Разве может быть иначе?..

Он сбросил очки, отвалился на спинку кресла, рассеянно тарашил свои близорукие, в натруженном тумане, глаза. Глаза эти были зеленоватые, с глубокими и темными, маслянисто-расплывающимися зрачками, и на переносице, там, где держался металлический хомутик очков, резко проступали оранжевые полосы.

— Мартын остается верным себе!—заметил он, чуть погодя.—Но, по совести говоря, он не должен был покидать штаб... У него достаточно знаний, чтобы быть полезным именно мозгу армии... Да-с... Как видишь, товарищ Кудрявцева, помимо вши и лихоимства старый наш быт оставил нам в наследство много всяких болячек, зримых и незримых!..

Тут Михаил Иванович встал и заходил из угла в угол, и по тому, как он сосредоточенно глядел при этом себе под ноги, Зина угадала, что Черноголовый чем-то расстроен.

— Может быть, у Мартына были свои особые

основания!—проговорила она, думая, что Михаил Иванович встревожен именно известием о Баймакове.

Михаил Иванович махнул рукою, круто повернул к столу и опустился в кресло.

— У нас не все благополучно, Кудрявцева!.. Пару часов назад из чека мне сообщили...

Он снова вытащил свою щеточку, провел по усам, отшвырнул, поправил: положил прямо — щетинкою вниз, зеркальцем вверх.

— Жаль до чорта людей... работников!..

И, не спуская с нее затуманенных, невидящих глаз, продолжал:

— В Меловатской волости произошли беспорядки... Кулацкая сумятица!.. Подробности еще не выяснены... Дело в том, что... пятеро наших погибли... Повалишин... Прищепчик... Петр Пятачок—знаешь? Упит...

— Упит!—горестно воскликнула Зина.

— Да, и еще один... Клепиков!.. Только что, понимаешь, прибыл на место...

Он снова встал и принялся шагать из угла в угол.

— Нападение произведено ночью, на сонных... Кое-кому удалось бежать!..

— Кому же?—шопотом спросила Зина.

— Литейщики спаслись все... Уцелел и этот... как его?.. Приятель Пятачка!..

— Иван Байдученко?

— Да, очевидно.

Михаил Иванович рывком поднял трубу телефона.

Зина сидела, опустив голову, прикрыв рукою глаза. Грудь ее подымалась высоко и неровно. Из-под пальцев катились поблескивавшие капли, падали, расплы-

вались звездами на синей обложке дела о сахарном заводе.

XVIII

Остаток этой ночи Зина провела беспокойно. Мучили сновидения. Кто-то невидимый, жуткий преследовал ее. Она бежала, падала, летела в пропасть. Тоненько, визгом вскрикнув, проснулась и услышала гулкие удары своего сердца. Светало.

Отдаваясь привычному с детских лет порыву, она позвала отца. Никто не откликнулся ей. Тогда враз она вспомнила все: и то, что уже вторую неделю от старика не было вестей, и то, что Мартын—в окопах, под огнем, и то, наконец, что сегодня в город доставят бездыханными тех... пятерых!..

И на минуту ощутила Зина тревогу, острую и жуткую, какую только что пережила во сне. Она прижала колени к животу, накрылась с головою одеялом и так, скорчившись, лежала недвижно.

И вот в сердце ее поднялись печальные, певучие слова:

«Не плачьте над трупами павших борцов»...

Она отпахнула одеяло, встала, принялась одеваться, но слова—«Не плачьте над трупами»—продолжали наполнять ее всю.

Пройдя в кухню и став машинально у раковины умывальника, она попробовала вслух передать немолчную, звучащую внутри ее песнь:

«Не плачьте над трупами павших борцов»...

И как только услышала себя, почувствовала, что не в силах сдержать слез.

Плескала из-под крапа в лицо, и слезы мешались с холодной водою.

На улицах было пасмурно. Дождя не было, но, казалось, сам воздух сочился влагою, и у бурых, с темными подтеками, заборов липы роняли на асфальт тяжелые капли.

Зина запоздала. Когда подошла она к зданию исполкома, грянул оркестр; со двора, через отпахнутые ворота, двинулись людские ряды. Зина остановилась, поджидая кого-нибудь из губкомцев. Лица у всех были напряженные. Спешили друг за другом, стараясь на ходу равняться по-фланговому. Голосов почти не было слышно. Кто-то зажал в руке цыгарку, пряча от себя и других; искры сыпались в мокрые полы.

За воротами была лужа; подходя к ней, люди разрушали строй, обегали и вновь смыкались. Картузы, кепки, платочки; плечи, темные от влаги; заплаты на спинах, клочью хлопка у затрепанных пол и много ног—тяжелых, неподатливых и легких, прыгающих, торопящихся.

Катюшка-бомбометчица застряла в проходе, придушенно взвизгнула, вырвалась, окинула Зину из-под своей папахи курносой улыбкой, и кто-то, похожий на профессора, с волосами, белыми, вьющимися, прикрытыми соломенной шляпой, важно вышагивая в ногу с соседом, низкой октавой рокотал в тон оркестру: «Там-там-там»...

Оркестр удалялся. Голоса, напряженные боевой радостью, колыхались у серого неба, согревая и расцвечивая его.

Зина увидела Сухорукова.

— Можно?—кинула она ему.

— А ну!

Сухоруков казался злым, но, когда вышли на середину улицы и оркестр застонал и забился в тоске почти человеческими криками, губы Ильи Ильича запрыгали, как у обиженного подростка.

Было что-то отрешенное и вместе с тем грозное, как вызов, как предостережение врагу, в этих рыдающих звуках оркестра и в траурных стягах, похожих на орлиные, обрызганные кровью крылья, и в размеренной гулкой поступи шеренг.

Прохожие жались на тротуарах, извозчики сворачивали в переулки; там и сям открывались створчатые двери, и оттуда выглядывали немые встревоженные глаза. Зина ловила испуг, недоумение, ненависть и—просто любопытство. Но были и такие глаза, в которых неожиданно расцветала печаль, светлая, крылатая, и Зина знала, что тут—сердце, предчувствующее далекие времена, когда у человека будет только один враг—смерть, неумолимая и ненавистная всем своею неотвратностью.

На вокзале темными тесными рядами выстроились по перрону.

Поезда с останками погибших ожидали ровно в семь. Стрелка на белом, висящем под навесом кругу показывала без десяти.

Сухоруков вышел из строя и замешался в толпе, что-то покрикивая. От мастерских, громоздившихся за бурым разливом вагонных крыш, прямо по путям, торопливо бежали в одиночку и кучками деповские рабочие. Лица у них были в масле, в поту, в копоты.

Синие, зашарканные дотемна расташонки их трепались под ветром. Кареглазый слесарек, председатель месткома и член первого революционного комитета железнодорожников, вскарабкался на перрон, поднял руку с фуражкой и зычно покричал своим:

— Стройся... Равнение на меня!

И едва деповские утолкались в правое крыло, из дверей вокзала вышел Михаил Иванович. Торопливо пробрался он через стену партийцев и стал впереди, у самой каймы перрона. Рядом поместились: Синицын, Губарев, Лузгин. Потом подошли секретари районных комитетов, депутаты—по два от каждого завода, знаменосцы советских учреждений.

Голова у Михаила Ивановича была обнажена. Ветер шевелил белизну ее волос, как ворох цветущей гречи. Через плечи Михаила Ивановича видела Зина кровли недвижных вагонов, уходившие к мастерским, и эти мастерские—чумазы и чадные. В воздухе было влажно и сине, пахло олеонафтом, горелым углем. По рядам густела тишина, отчего еще отчетливей доносились звоны стали со стороны мастерских и рокот земли под маневрирующими паровозами.

Прозвучал колокол, сорвалась медная поющая капля и затонула в тупом шорохе толпы. Зина взглянула на белый круг: стрелка дрогнула, воткнулась в цифру VII. Справа, из-за потока вагонных козырьков, там, где водокачка упиралась рогом в серое распухшее небо, за клубился дымок. Шелест прошел по рядам: повинувшись безотчетному внутреннему трепету, люди обнажили головы. Солнечная труба оркестра под-

нялась над головами и сторожко нацелилась в небо. И вдруг спорый мелкий дождик опылил воздух.

Султаны дыма, падавшего за водокачкой, быстро приближались и никли по сторонам на заглянцовевшие от дождя вагоны.

Из-за поворота глянула черная, пышущая жаром грудь паровоза.

Черноголовый взмахнул рукой, оркестр сорвался и застонал множеством истосковавшихся голосов.

Зина встретилась с глазами Михаила Ивановича: глаза эти были светлы и прозрачны, как слезы.

Могуче и протяжно, вздувая воздух белым пылем, заголосили гудки мастерских: одни—густые и тяжкие, как гул канонады, другие—пронзительные, побелевшие в срывах отчаяния.

И опять, осыпая спину колючим холодком, запели в сердце Зины слова:

«Не плачьте над трупами павших борцов»...

Плавню, как бы боясь потревожить сладкий покой мертвых, катился паровоз вдоль перрона, и катился за ним один только вагон—открытая площадка с белыми, ничем не покрытыми гробами. Четыре армейца вытянувшись, стояли у гробов; мокрою сталью отсвечивали винтовки.

Оркестр внезапно смолк, оглушая людей тишиною, но мастерские все еще голосили, и сетчатый дождик пружинился под тяжелыми звуковыми волнами.

Из будки паровоза вылез и важно, чинно, ни на кого не глядя, направился к вагону рослый человек в шинели. Лицо его было серо, сухо, все в буйном волосе, и Зина тотчас же узнала Ивана Байдученко.

Он встал в ее памяти таким, каким она видала его последний раз, рядом с Петром Пятачком. Был он тогда бритым, корявые его пальцы все время оглаживали непривычно голый подбородок.

Она невольно потянулась к нему, но он уже подошел к вагону и, все так же важно и чинно, как бы выполняя завет усопших, скомандовал:

— Давай!

Двое в фуражках, торопясь, вдвинули дощатые сходни с перрона на площадку вагона. Черноголовый с траурным знаменем в руках взошел и накрыл сосновые, желтоватые от влаги домовины.

Он хотел говорить, но на сходни взобрался Сухоруков. Голо остриженная голова его, крутые его скулы, подбородок, тугой и синий, были мокры. В глазах ворочалось что-то большое и горестное, оскал рта налит был немым отвращением.

— То... то... товарищи!—выдохнул, выкрикнул он.— Это что же с нами делают?.. Вить это... что же... такое?..—протянул он руку к желтым и мокрым, как бы оплывающим воском гробам.

Затем тяжелая волосатая рука упала, и Илья Ильич, зашурившись, молча пошел вниз. Было видно, как человек этот собирал все силы, чтобы стянуть, сомкнуть, застудить свои судорожно перекошенные челюсти.

А Черноголовый говорил. Черноголовый был несравненно спокойнее Ильи Ильича, и потому голос его звучал ровно и крепко и слова были стремительны и остры—он как бы вбивал гвозди.

нялась над головами и сторожко нацелилась в небо. И вдруг спорый мелкий дождик опылил воздух.

Султаны дыма, падавшего за водокачкой, быстро приближались и никли по сторонам на заглянцовевшие от дождя вагоны.

Из-за поворота глянула черная, пышущая жаром грудь паровоза.

Черноголовый взмахнул рукой, оркестр сорвался и застонал множеством истосковавшихся голосов.

Зина встретилась с глазами Михаила Ивановича: глаза эти были светлы и прозрачны, как слезы.

Могуче и протяжно, вздувая воздух белым полымем, заголосили гудки мастерских: одни—густые и тяжкие, как гул канонады, другие—пронзительные, побелевшие в срывах отчаяния.

И опять, осыпая спину колючим холодком, запели в сердце Зины слова:

«Не плачьте над трупами павших борцов»...

Плавню, как бы боясь потревожить сладкий покой мертвых, катился паровоз вдоль перрона, и катился за ним один только вагон—открытая площадка с белыми, ничем не покрытыми гробами. Четыре армейца вытянувшись, стояли у гробов; мокрою сталью отсвечивали винтовки.

Оркестр внезапно смолк, оглушая людей тишиною, но мастерские все еще голосили, и сетчатый дождик пружинился под тяжелыми звуковыми волнами.

Из будки паровоза вылез и важно, чинно, ни на кого не глядя, направился к вагону рослый человек в шинели. Лицо его было серо, сухо, все в буйном волосе, и Зина тотчас же узнала Ивана Байдученко.

Он встал в ее памяти таким, каким она видала его последний раз, рядом с Петром Пятачком. Был он тогда бритым, корявые его пальцы все время оглаживали непривычно голый подбородок.

Она невольно потянулась к нему, но он уже подошел к вагону и, все так же важно и чинно, как бы выполняя завет усопших, скомандовал:

— Давай!

Двое в фуражках, торопясь, вдвинули дощатые сходни с перрона на площадку вагона. Черноголовый с траурным знаменем в руках взошел и накрыл сосновые, желтоватые от влаги домовины.

Он хотел говорить, но на сходни взобрался Сухорук. Голо стриженная голова его, крутые его скулы, подбородок, тугой и синий, были мокры. В глазах ворчалось что-то большое и горестное, оскал рта налит был немим отвращением.

— То... то... товарищи!—выдохнул, выкрикнул он.— Это что же с нами делают?.. Вить это... что же... такое?..—протянул он руку к желтым и мокрым, как бы оплывающим воском гробам.

Затем тяжелая волосатая рука упала, и Илья Ильич, зашурившись, молча пошел вниз. Было видно, как человек этот собирал все силы, чтобы стянуть, сомкнуть, застудить свои судорожно перекошенные челюсти.

А Черноголовый говорил. Черноголовый был несравненно спокойнее Ильи Ильича, и потому голос его звучал ровно и крепко и слова были стремительны и остры—он как бы вбивал гвозди.

Но Зине казалось, что сильнее всех слов—белоснежная, склоненная к гробам голова Михаила Ивановича.

Оркестр заиграл «Вихри враждебные». Под его звуки, при настороженном молчании толпы, Илья Ильич, Иван Байдученко, Семен Разноуздов и еще двое в замасленных дотемна блузах подымали гробы и несли их по сходням в толпу, передавали с рук на руки.

От гробов шел смешанный запах сосны и разложения—горьковато-сладкий запах меда и желчи.

Гробы казались большими и тяжелыми. Илья Ильич, слесарек, Разноуздов и другие кряхтели под ними и перекликались сторожко, деловито, с тем самым терпением, с каким рабочие подносят сырой материал к своим станкам.

— Заноси на себя, балда...

— Подхватывай с пододнища...

— Осторожно!..

С грубоватыми перемолвками, стемнев в лице, подвигались двое лицом к толпе и двое, придерживая гроб на весу, пятились, скребли по сходням коваными каблуками.

На каждом гробу, с боков, у забитых крышек, кем-то заботливым каракулями были выведены имена покойников.

И на первом, по лоснящейся желтизне, срываясь у коричневого засучья, алела надпись:

«Т-щ Повалишин».

Зина поймала эту расплывающуюся от влаги строку, и вдруг перед нею встал человек,—таким она видела его совсем недавно у себя, в губкоме: тщедушный и

вертлявый, с высоким покатым лбом, с очень маленькими, девичьими руками.

И вспомнила Зина, как он, похожий на пойманную белку, метался из угла в угол и выкрикивал с горькою усмешкою:

«Потомственный почетный интеллигент, существо высшее, сложное, лишенное классовых инстинктов»...

Именно так, в таких выражениях, посмеивался над собой Повалишин, и, может быть, была тут своя, особая, мученическая правда.

И любимый припев Повалишина вспомнила Зина: «Verba volant, scripta manent»...

Слова улечиваются, написанное... жизнью остается!..

Молодая женщина в короткой драповой жакетке, туго обтягивавшей крепкую грудь, тянулась к гробу, не спуская с него своих настороженных глаз, как будто в дощатом, наглухо заключенном гробу покоилось не бездыханное тело.

Когда Илья Ильич, спускаясь по сходам, оступился, и гроб с надписью «т-щ Повалишин» едва не выпал у него из рук, молодая женщина вскрикнула. бледное ее лицо перекошилось в жалостливом испуге и руки, ладошками вверх, подхватили угол гроба.

Она не рыдала, не жаловалась, но из широко раскрытых глаз ее, полных немого ужаса, все время катились слезы.

Зина поняла, что перед нею—жена покойного, и опять в ушах ее зазвучал печальный и насмешливый голос Повалишина:

«Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду отцом».

Но Зине казалось, что сильнее всех слов—белоснежная, склоненная к гробам голова Михаила Ивановича. Оркестр заиграл «Вихри враждебные». Под его звуки, при настороженном молчании толпы, Илья Ильич, Иван Байдученко, Семен Разноуздов и еще двое в замасленных дотемна блузах подымали гробы и несли их по сходням в толпу, передавали с рук на руки.

От гробов шел смешанный запах сосны и разложения—горьковато-сладкий запах меда и желчи.

Гробы казались большими и тяжелыми. Илья Ильич, слесарек, Разноуздов и другие кряхтели под ними и перекликались сторожко, деловито, с тем самым терпением, с каким рабочие подносят сырой материал к своим станкам.

— Заноси на себя, балда...

— Подхватывай с пододнища...

— Осторожно!..

С грубоватыми перемолвками, стемнев в лице, подвигались двое лицом к толпе и двое, придерживая гроб на весу, пятились, скребли по сходням коваными каблуками.

На каждом гробу, с боков, у забитых крышек, кем-то заботливым каракулями были выведены имена покойников.

И на первом, по лоснящейся желтизне, срываясь у коричневого засучья, алела надпись:

«Т-щ Повалишин».

Зина поймала эту расплывающуюся от влаги строку, и вдруг перед нею встал человек,—таким она видела его совсем недавно у себя, в губкоме: тщедушный и

вертлявый, с высоким покатым лбом, с очень маленькими, девичьими руками.

И вспомнила Зина, как он, похожий на пойманную белку, метался из угла в угол и выкрикивал с горькою усмешкою:

«Потомственный почетный интеллигент, существо высшее, сложное, лишенное классовых инстинктов»...

Именно так, в таких выражениях, посмеивался над собой Повалишин, и, может быть, была тут своя, особая, мученическая правда.

И любимый припев Повалишина вспомнила Зина: «Verba volant, scripta manent»...

Слова улетучиваются, написанное... жизнью остается!..

Молодая женщина в короткой драповой жакетке, туго обтягивавшей крепкую грудь, тянулась к гробу, не спуская с него своих настороженных глаз, как будто в дощатом, наглухо заколоченном гробу покоилось не бездыханное тело.

Когда Илья Ильич, спускаясь по сходням, оступился, и гроб с надписью «т-щ Повалишин» едва не выпал у него из рук, молодая женщина вскрикнула. бледное ее лицо перекосилось в жалостливом испуге и руки, ладошками вверх, подхватили угол гроба.

Она не рыдала, не жаловалась, но из широко раскрытых глаз ее, полных немого ужаса, все время катились слезы.

Зина поняла, что перед нею—жена покойного, и опять в ушах ее зазвучал печальный и насмешливый голос Повалишина:

«Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду отцом».

Вглядываясь в лицо молодой женщины, быть может, уже хранящей в своем теле завязь новой жизни, Зина как бы осязала дыхание той грозной и непереносимо прекрасной силы, которая создает и рушит, сковывает землю льдами и вновь гонит из нее буйную порось.

Пронесли Упита, голубые доверчивые глаза которого всегда напоминали Зине лучшую пору ее детства. Спустили на руках ящик с круглолобым, чернобровым Прищепчиком. Подняли и передали толпе, жадно тянувшейся десятками своих рук, самый большой гроб—с бородатым Петром Пятачком.

Но еще оставался там, на мокрой, рябой от лужиц платформе, гроб—пятый, последний. И со странным, детским любопытством в заострившихся от страдания глазах поджидала Зина этот последний, пятый гроб.

Наконец и его подхватили на руки.

На желтой взмокшей доске лиловые каракули гласили:

«Тов. Клепиков».

Заколыхались знамена, дрогнула, двинулась вперед темная, осененная желтизной гробов толпа, заиграла музыка, не выдержали—подняли в голос, в крик горе свое женщины—жены, сестры, матери мучеников, и, рванувшись вперед, настигла Зина пятый, последний, гроб, подняла руку, приняла на ладонь тяжесть.

Было жуткое, волнующее своей необычайностью изумление: не этот ли человек, чья мертвая тяжесть касается теперь ее руки, всего лишь месяц назад, под гул небывалой борьбы за совершенный, прекрасней-

ший мир, пытался с такою безумною жадностью осуществлять свое право на крошечные первоначальные радости!

Из узкого прохода—стены вокзала и чахлый сквер—процессия выбралась на главную улицу, на простор, под широко разверстое небо. Дождевая метелица пеплом осыпала дали, в даях мертвыми солницами вылупливались монастырские главы, и тут, под ногами, уныло зеркалилась булыжная мостовая.

С тихим жестяным рокотом струилась вода по трубам, хлестала о камень, желтые брызги летели далеко за тротуары.

Мерно и тупо глядели людские волны, уносили в вечность белые, под алыми парусами, ладьи мертвых.

И, глядя вдаль поверх обнаженных голов толпы, Зина думала, что никогда не будет у нее счастья с Мартыном, и не будет самого Мартына, непрочно его повозка, бешены кони, гибелен путь, осиливаемый этим человеком.

В порыве смутной нежности она нагнала Михаила Иваныча и пошла с ним рядом, касаясь плечом своим его плеча.

Он взглянул на нее из-за стекол рассеянно и, как бы размышляя вслух, проговорил глухо:

— Смерть должна служить человеку... Это одно из орудий борьбы за параллелограмм жизни... Иначе—все бессмысленно!..

Затем, слегка склонившись к ней, неожиданно трезвым тоном сказал:

— С кладбища мне надо быть у Лузгина... Тебя же прошу забежать в губпродком, к Синицыну...

Он должен выехать вместе с чоновцами—не иначе!.. Ты поняла?..

Она поняла его.

— Хорошо, я пойду к Синицыну!

В тусклом зале губпродкома, в грязных, заплеванных коридорах былолюдно. Еще у главного входа, на улице Зина повстречала людей, хлопотавших около повозок. Были люди в походном снаряжении, с винтовками за плечами.

Дождь унялся; среди туч, разодранных в клочья, зеленело; лужи на мостовой отсвечивали синькою; в студеном, ветреном воздухе резко, как из-за только что начисто протертого стекла, проступали дома, заборы.

Кони отфыркивали, сбруя позванивала. Люди говорили высокими, кручеными голосами, точно находились на большом друг от друга расстоянии.

Чубатый человек, рыжими, что-то угадывающими глазами глянул на Зину, подмигнул соседу и напевно гаркнул:

«Эх, девонька, куда котишься...»

Синицын стоял посреди своего кабинета, торопливо застегивая ременный пояс с подсумком для патронов и отдавал последние распоряжения своему заместителю. Заместитель держал в руках обширную ведомость и все пытался перебить Синицына, спросить его о чем-то своем, более, как казалось ему, неотложном и важном. Заместитель был сутул, долговяз, щеки его глубоко ввалились, как у больного, но в глазах холодело неукротимое упрямство, и жесты его рук были размеренно четки.

Заметив Зину, Сеницын отстранил заместителя.

— Кудрявцева, ты что?..

В его обычно тусклом лице теплился теперь румянец, глаза сосредоточенно посверкивали.

— Ничего особенного!—поспешила успокоить его Зина.—Михаил Иванович хотел бы, чтобы ты выехал со своими людьми несколько позже нашего чона... или вместе с ним!..

— Это же почему?

И видя, что Кудрявцева замялась, Сеницын обратился к своему заместителю:

— Товарищ Дронин, пройди к ребятам... Пусть управляют с завтраком!..

— Видишь ли, Сеницын...—заговорила Зина, когда заместитель, втянув голову в плечи и широко размахивая руками, вышел.—Михаил Иванович беспокоится, что тебе... будет трудно... Нет, нет!..—подхватила она, заметив недовольную гримасу в лице Сеницына.—Конечно, он не сомневается в твоём опыте, такте, уменье... Но, Сеницын! Весь район наводнен бандитами. Деревни действуют вслепую... Может быть, там даже белогвардейцы!.. Все это говорит за необходимость крайней осторожности...

— Ну-с!—ссохшимся голосом откликнулся Сеницын и присел у стола на кончик стула.—Дальше, Кудрявцева!..

Зина удушливо улыбнулась.

— Это все, товарищ Сеницын!

— Мало! Незачем было трепаться сюда...

Он встал и решительно нажал кнопку в углу своего стола.

Зина потемнела в лице.

— Синицын, в чем дело?—она захватила его руку и отвела от кнопки.—Скажи, пожалуйста... Ты даже не согласовал свою поездку с губкомом!... Михаил Иванович, например, не совсем согласен, что ты, оставляя общее руководство, летишь с отрядом сам...

Синицын взволнованно прошелся от стола к окну и обратно. Затем, приблизившись к Зине вплотную, он глухо, срываясь, заговорил:

— Я ценю заботы товарища Черноголового... Уважаю, и прочее... Но... на этот раз он близорук, чорт возьми!.. Именно я, руководитель всего дела, должен разобраться в этой чехарде!—Голос его вырос.—У меня имеются данные о положении на других участках и о настроениях там наших людей... Данные говорят о необходимости самых срочных мер... Надо многое уладить, исправить, восстановить.... И надо поднять дух наших работников... Поняла?..

— Да, но...

— Нам не о чем дальше рассуждать. Я отвечаю за все перед центром!...

Он снова протянул руку к кнопке, и снова осторожно отвела эту руку Зина. Веки ее дрогнули и сузились так, что Синицыну невозможно было разобрать выражение ее глаз.

— Видишь ли, Синицын...—Она скрыто передохнула.—Партия еще могла бы рискнуть твоей головой, но рискнуть судьбой всей хлебной кампании...

Румянец сошел с лица Синицына.

— Значит, я нуждаюсь в опеке?..—выкрикнул он.—Может быть, вы там думаете, что Синицын—

круглый идиот?.. Или что Синицын может сдрейфить... потеряться... сбежать из огня вроде... вроде этого мальчишки Баймакова?..

Зина вздрогнула, вски ее на момент совсем сомкнулись.

— Синицын...—проговорила она нетромо.—Зачем ты выходишь из себя? Если Юпитер сердится, значит, он не прав!..

— Пожалуйста, без ученых пословиц... Плюю я на твои пословицы!..

Синицын, всегда спокойный, ровный, был решительно неузнаваем.

Зина укорчиво покачала головою.

— Конечно, не мне указывать тебе, Синицын... Но... что за тон у тебя?.. И к чему все эти подозрения?.. К чему, наконец, эта ссылка на несчастье другого товарища?..

— Ладно, ладно...—проговорил он и с силою нажал кнопку.

На пороге показался человек в шинели. Зина узнала в нем Разноуздова.

Не глядя на нее, Синицын отдал распоряжение:

— Скомандуй там... Сюю же минуту выступаем!..

Разноузов, ответив по-военному: «Слушаю, товарищ», вышел.

Зина молчала. Молчал Синицын. В желтом сумраке лицо его казалось мертвым. В коридорах гудели гортальные шаги. За окном было сине, ветрено.

— Чошовцы должны выступить ровно в шесть!..—проговорила Зина сухо, но так, точно слова ее ни к кому не относились.—Сейчас—без четверти три... Зна-

чит, отряд твой может выступить не ранее, как через три часа!..

— Будет тебе ломать комедию!—круто повернулся от окна Сеницын.—Слышала? Я отдал распоряжение!..

— Распоряжение надо отменить...—все так же вполголоса откликнулась Зина.

— Я этого не сделаю!.. Нам дорога каждая минута... Поезд отходит около четырех...

— Чоновцы едут с особым составом ровно в шесть... Ночевка—в Семилуках!..

— Ха... Есть когда нам заниматься ночевками!..

— Что? Ты хочешь явиться на место к ночи?.. Сеницын!..

— В чем дело?..

— Поторопись отменить... Незачем дурачить людей.

— Это... губком их дурачит!..

— Хорошо, пусть будет по-твоему... Но ты все же распорядись!

— Н... вет!

— Распорядись, Сеницын!..

Вдруг он сжал кулаки и прошипел в лицо ей отборное ругательство.

За окном высоко и протяжно запел рожок. Сеницын потрогал пояс патронташа, захватил со стола фуражку, надвинул ее на голову и молча направился к выходу. Но перед самой дверью остановился, постоял молча, молча повернул обратно, сдернул с себя фуражку и бросил так, что она покатилась со стола на пол. Затем он опустился на стул.

Зина нажала кнопку, подняла дрожащей рукою фуражку, потряхнула ее.

Дверь распахнулась. Вошел человек в бешмете, в папахе, с нагайкою в руке.

Зина взглянула на Синицына. Синицын встал.

— Скажи там, чтобы не спешили... Выступаем через пару часов... Только... не расходиться!..

Человек в бешмете, ничего не сказав, вышел за дверь..

— Пока!—проговорила Зина.

Она спешила уйти, ей почему-то казалось, что оставаться здесь далее не следует. В то же время в ушах ее ещё звенели слова Синицына о «мальчишке Баймакове», и была ноющая тревога: с какой стати брякнул он это? Неужели проклятая история в Липках будет вечно преследовать человека? Синицын близок Мартыну! Как же будут держать себя другие?

Синицын ожидающе глядел на Зину. Она поймала этот взгляд, суровый, озабоченный, и не решилась говорить.

— Счастливого пути, товарищ!..

В коридоре, наполнявшемся шинелями, бешметами, тужурками и табачным чадом, кто-то подхватил Зину под руку. Она взглянула, встретила голубые глаза Уткина.

— Вы здесь, Уткин?

— Ну да!—заговорил он торопливо и возбужденно.—Вот уже с месяца прилагаю познания в канцелярии продкома... Но теперь... со всем этим покончено!..

— Почему же?

— Еду с отрядом Синицына... в действие!..

Он сказал это с подчеркнутым восхищением, и только тут заметила Зина, что на Уткине не было крылатки. Она даже отступила на шаг, рассматривая его с нескрываемым смешливым удивлением.

— Что, поражены, возмущены?..—воскликнул он.— Признаю: военное сие обмундирование идет ко мне так же, как седло к корове. Но... суть совсем не в том! Суть—внутри человека, товарищ Кудрявцева!.. Да вы спешите? Нет? Зайдемте-ка сюда вот...

И он потащил ее к первой полуоткрытой двери. За дверью была крошечная комната со скамьей и какими-то баками в углу.

— Одну минуту, товарищ Кудрявцева!—торопился Уткин, отводя ее к бакам.—Жаждал видеть вас весь день! Был чрезвычайно огорчен, полагая, что не увижу... вообще... никогда уж не увижу!.. Вы понимаете: этот поход чреват всяческими последствиями... Да, да, конечно!.. И не надо никаких ободрений... Я отчетливо сознаю, на что иду... Да, да! И я вне себя от счастья, ей-ей!.. Только решившись действовать, понял я наконец, что такое человек в действии!..

Он еще что-то говорил, спеша и заикаясь, побрызгивая слюною, но Зина плохо понимала его. Из головы у нее не выходили мысли о Мартыне, только что обиженном Синицыным, сердце ее щемило, перед глазами всплывали видения траурной процессии: темная толпа с белыми ладьями над нею; алые полотнища знамен, поникшие от влаги; далекие монастырские главы, похожие на глаза бестелого чудовища... И почему-то все это—мысли о Мартыне, злые слова Синицына, белые ладьи над толпою—казалось теперь

чем-то единым, тесно связанным меж собою и глубоко горестным, как скорбный напев похоронного марша, как тревожные и темные удары ее сердца в эту вот минуту.

И, не замечая Уткина, вовсе не слушая его, она тихонько подвигалась к двери. А он цеплялся своими холодными пальцами за ее руки и все говорил. И только уже за порогом Зина пришла в себя. И как только оторвалась она от своих дум и перестала слышать свое сердце, кто-то, безмерно обиженный, умирающий от желания задержать на себе внимание, вошел в ее сознание и опалил его.

Приподнимаясь на носках, весь вытягиваясь и то и дело хватая пальцами за руку девушку, Уткин не рассказывал, а выплевывал вместе со слюною, вместе с влагою в глазах, вместе с глазами, счастливо скачущими, удивительную свою повесть о некоем жалком, ничтожном, никем не признаваемом человеке, вдруг вот решившемся действовать, бороться в ногу с пролетариатом, умереть... на глазах всей страны, всего мира!..

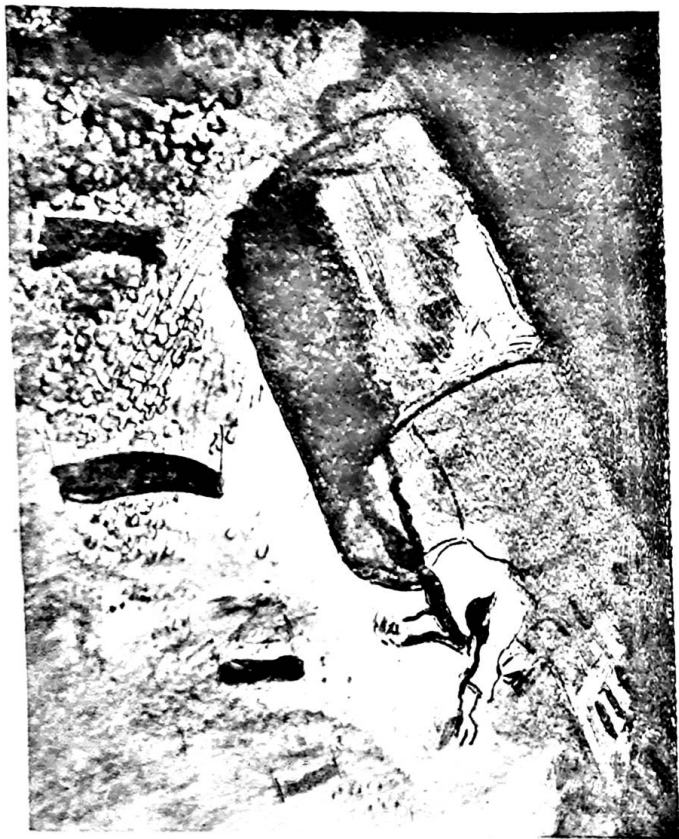
Зина вдруг забыла о всем своем личном, вслушалась, взгляделась и, не в силах сдержать себя, начала смеяться.

Уткин с ужасом, как на сумасшедшую, взглянул на нее, оборвал шумный поток своих слов.

— Продолжайте, продолжайте!—гозорила Зина голосом, прыгающим от еле сдерживаемого смеха.—Я вас слушаю, чорт возьми! Итак... вы говорите, что идете с отрядом... Но куда же, куда?..

Уткин недоуменно вскинулся на нее, но он уже

хотел вновь верить ей. И он продолжал рассказ о чудесном своем обращении к действительным силам революции (именно так он и выражался). Ведь, собственно говоря, какой смысл в жизни, если она напоминает растрепанную клячу? Никакого нет смысла в такой жизни! Человек живет только раз—это так же верно, как то, что земля вертится! Но если уж жить только раз, то жить по-настоящему! Он, Уткин, и не предполагал в себе особого запаса воли, решимости. Он уже готов был поставить над собой крестик (именно—крестик, а не крест)... Но вот сегодня утром все это совершенно изменилось! Сегодня утром он сказал себе: «Да, ты болен, Уткин, и ты имеешь право на снисхождение, но ты, сам-то ты не должен снисходить к себе!...» Сегодня утром он заявил о своем решении товарищу Синицыну, и вот—уже в полном облачении воина... Теперь ему и смерть не страшна! Невидаль какая—смерть Уткина! Тысячи отдадут свою жизнь на алтарь будущего... И разве он хуже всех этих тысяч? Разве он не имеет права пожертвовать собою?.. Вполне вероятно, что по злостности духовного склада своего люди могут сказать: легко тебе, Уткин, жертвовать жизнью, ежели ты и так дышишь на ладан, ежели от легких твоих остались одни тряпицы... Так нет же, дорогие товарищи! Всякой твари дорога жизнь, и Уткин не меньше, а больше и глубже многих других ценит ее... Ах, чудаки вы милые! Даже наука не проникла в тайны смерти, и никакое научное светило не сможет сказать, действительно ли Уткин обречен на гибель... Нет, право, только сегодня он, наконец, почувствовал себя в своей тарелке, оценил как



хотел вновь верить ей. И он продолжал рассказ о чудесном своем обращении к действенным силам революции (именно так он и выражался). Ведь, собственно говоря, какой смысл в жизни, если она напоминает растрепанную клячу? Никакого нет смысла в такой жизни! Человек живет только раз—это так же верно, как то, что земля вертится! Но если уж жить только раз, то жить по-настоящему! Он, Уткин, и не предполагал в себе особого запаса воли, решимости. Он уже готов был поставить над собой крестик (именно—крестик, а не крест)... Но вот сегодня утром все это совершенно изменилось! Сегодня утром он сказал себе: «Да, ты болен, Уткин, и ты имеешь право на снисхождение, но ты, сам-то ты не должен снисходить к себе!..» Сегодня утром он заявил о своем решении товарищу Синицыну, и вот—уже в полном облачении воина... Теперь ему и смерть не страшна! Невидаль какая—смерть Уткина! Тысячи отдают свою жизнь на алтарь будущего... И разве он хуже всех этих тысяч? Разве он не имеет права пожертвовать собою?.. Вполне вероятно, что по злостности духовного склада своего люди могут сказать: легко тебе, Уткин, жертвовать жизнью, ежели ты и так дышишь на ладан, ежели от легких твоих остались одни тряпицы... Так нет же, дорогие товарищи! Всякой твари дорога жизнь, и Уткин не меньше, а больше и глубже многих других ценит ее... Ах, чудаки вы милые! Даже наука не проникла в тайны смерти, и никакое научное светило не сможет сказать, действительно ли Уткин обречен на гибель... Нет, право, только сегодня он, лаконец, почувствовал себя в своей тарелке, оценил как

следует свои силы и счастлив, счастлив... как никогда!.. Он даже верит теперь в особое свое призвание (в конце концов, не важно, в какое именно), и он готов верить в свое будущее, в ладью своей жизни, в светлые берега, уже намечающиеся среди косматых бурунов...

— Как это у Пушкина, помните?—сиял Уткин, принимая к Зине.—Помните... насчет девятого вала!..

На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал!..

Поддакивая, кивая головою, добралась Зина к выходу, и, как только скрылась, Уткин побежал вдоль коридора, заглядывал встречным в лица, присоединялся к разговорам, покрикивал там, где кричали, смеялся, если смеялись, и, наконец, захватив кого-то нового под руку, увлек за собою, осыпая ворохом своих восторгов.

Ровно через три часа Синицын нажал кнопку в углу стола, и коридоры огласились шумом последнего, торопливого сбора в путь.

И когда уже взялся губпродкомиссар за фуражку, влетел в кабинет Уткин.

В руке у него развевался носовой платок, платок был в свежих пятнах крови:

— Товарищ Синицын!—закричал он.—Видите? Опять с кровью!... Где уж тут воевать... Освободите!..

Он беспокойно дергал белесыми своими бровями, но голос его захлебывался от радости.

Поздно ночью, укладываясь в постель и поеживаясь от нестерпимой тишины в комнатках, услышала Зина охрипший звонок телефона.

Сбросив одеяло, она перебежала, босая, от койки к столу, сорвала трубку, прищипла к ней. Лицо её осветилось.

Говорил Черноголовый.

Новости с боевого фронта... Наше наступление развивается по всем направлениям. Господа-генералы не успевают убирать свою артиллерию. Конные полки их ущемлены с флангов и терпят неслыханный урон. Если так пойдёт дальше...

Что? Кудрявцевой не спится? Можно ли приехать к нему? На чем же приехать и зачем? Просто, посидеть? Это в час-то ночи?! В конце концов, он не возражает... Тем более, что надо кое-что подготовить к завтрашнему заседанию губкома... Да, да, конечно, он будет ожидать её.. Впрочем, одна минута!.. Нет, он не может принять её! Нет, решительно нет! В чем дело? Он должен сосредоточиться... побыть наедине... Спокойной ночи!..

XIX

На фронте назревали решительные события. Армия готовилась к прыжку, который должен был опрокинуть, смять, уничтожить врага. Из штаба по фронту и в тыл летели воззвания, приказы, требования. Потрёпанные части спешно отводились в тыл, другие, менее пострадавшие, пополнялись свежими силами. Посзда подвозили снаряжение и артиллерийские резервы. Из городов, прямо с фабричных дворов, с митингов, потоками вливались в казармы добровольцы. В полях возникали новые пехиные и конные полки, круто замешанные рабочими пополнениями, комиссарами, политруками.

Губисполком, продком, совнархоз потеряли свои очертания. Видимые между ними границы стерлись: старое белое здание исполкома и губкома, бывшее губернское присутствие, вобрало в себя все силы. Был как бы один штаб—штаб партии, штаб рабочего класса.

Никогда, с самого того момента, как над белым зданием взвилось алое полотнище, не напрягала так своих сил Кудрявцева, и никогда ранее не чувствовала она на своих плечах такой огромной ответственности. Все положения, все плоскости, все взаимоотношения между людьми изменились. Не было предисполкома,—был Черноголовый с чрезвычайными полномочиями от реввоенсовета фронта. Не было губпродкомиссара,—был некто, получающий телеграммы из Кремля и располагающий всеми вооруженными и агитационными силами губернии: хлеба, хлеба, хлеба.. И не было в роли секретаря губкома смуглолицей, еще не отвыкшей краснеть девушки, которую все запросто окликали Зиной,—была известная всему городу Кудрявцева, секретарша партии, машинистовичка. Полномочия ее—от всех рабочих слободок, не сдававшихся холоду, голоду, мору. И уже не бегала эта новая Кудрявцева за советами к председателю губкома Черноголовому, не звонила с затаенным волнением к тому или иному члену партбюро, ожидая одобрения; не засматривала в глаза рабочим, ища в них упрека, недоверия, едкой усмешки.

Потеряла Зина отца: вез старый машинист на фронт штабу, полкам динамит, ометы патронов и—на возвратился. Перебралась Зина с узелком, с материнским

Сбросив одеяло, она перебежала, босая, от койки к столу, сорвала трубку, припнула к ней. Лицо ее осветилось.

Говорил Черноголовый.

Новости с боевого фронта... Наше наступление развивается по всем направлениям. Господа-генералы не успевают убирать свою артиллерию. Конные полки их ущемлены с флангов и терпят неслыханный урон. Если так пойдет дальше...

Что? Кудрявцевой не спится? Можно ли приехать к нему? На чем же приехать и зачем? Просто, посидеть? Это в час-то ночи?! В конце концов, он не возражает... Тем более, что надо кое-что подготовить к завтрашнему заседанию губкома... Да, да, конечно, он будет ожидать ее... Впрочем, одна минута!.. Нет, он не может принять ее! Нет, решительно нет! В чем дело? Он должен сосредоточиться... побыть наедине... Спокойной ночи!..

ХІХ

На фронте назревали решительные события. Армия готовилась к прыжку, который должен был опрокинуть, смять, уничтожить врага. Из штаба по фронту и в тыл летели воззвания, приказы, требования. Потерянные части спешно отводились в тыл, другие, менее пострадавшие, пополнялись свежими силами. Поезда подвозили снаряжение и артиллерийские резервы. Из городов, прямо с фабричных дворов, с митингов, потоками вливались в казармы добровольцы. В полях возникали новые пехотные и конные полки, круто замешанные рабочими пополнениями, комиссарами, политруками.

Губисполком, продком, совнархоз потеряли свои очертания. Видимые между ними границы стерлись: старое белое здание исполкома и губкома, бывшее губернское присутствие, вобрало в себя все силы. Был как бы один штаб — штаб партии, штаб рабочего класса.

Никогда, с самого того момента, как над белым зданием взвилось алое полотнище, не напрягала так своих сил Кудрявцева, и никогда ранее не чувствовала она на своих плечах такой огромной ответственности. Все положения, все плоскости, все взаимоотношения между людьми изменились. Не было предисполкома, — был Черноголовый с чрезвычайными полномочиями от реввоенсовета фронта. Не было губпродкомиссара, — был некто, получающий телеграммы из Кремля и располагающий всеми вооруженными и агитационными силами губернии: хлеба, хлеба, хлеба... И не было в роли секретаря губкома смуглолицей, еще не отвыкшей краснеть девушки, которую все запросто окликали Зинтой, — была известная всему городу Кудрявцева, секретарша партии, машинистова дочь. Полномочия ее — от всех рабочих слободок, не сдававшихся холоду, голоду, мору. И уже не бегала эта новая Кудрявцева за советами к председателю губкома Черноголовому, не звонила с загасшим волнением к тому или иному члену партбюро, ожидая одобрения; не засматривала в глаза рабочим, ища в них упрека, недоверия, едкой усмешки.

Потеряла Зина отца: воз старший машинист на фронт штабу, полкам динамит, ометы патрjнов и — не возвратился. Пересобралась Зина с узлом, с материнским

стеганым одеялом подмышкою в старое здание губернского присутствия, в ту самую бывшую гардеробную, где когда-то впервые коснулась она тайны чужой животной силы. Но не волновали здесь девушку воспоминания о далеком вечере: забылась, стерлась неприязнь к себе, и не было обиды на человека, самоуверенного и жадного до темных радостей, — не было Клепикова, давно смешалось тело его с землею, а имя — с именами славных бойцов, покоявшихся в братской могиле. И когда перебирала Зина в памяти дела и дни, недавние и странно далекие, навсегда отодвинутые в прошлое новыми событиями, покойно и ровно билось ее сердце: И даже старого Никифора Семснуча, заменявшего ей с детства мать, вспоминала она без боли: так велика и радостна была гордость дочери, потерявшей отца в борьбе за жизнь революции.

Какие дни, какие невозможные, незабываемые дни!

Утром, с рассветом, под студенными ветрами тревожно гудели телефонные провода, разносили по городу жесткий, чуть-чуть хриповатый голос секретаря губкома.

— Пятый сводный лазарет? Получите наряд в отделе медснабжения. Вопрос согласован!

— Чрезвычайком? Дайте председателя! Карточки на мыло заготовлены... Распределители имеют приказы!

— Коммунхоз? Попросите завжилотдела.. Эти семьи мы должны устроить во что бы то ни стало! Очистить сегодня же монастырское подворье... Да, согласовано...

И потом, часом позже, клюкочущая мотоциклетка,

чем-то, в мокрети, в хлестком ветру, напоминавшая подстреленную птицу, неслась по мостовым — от Жданова к Добрынину, от Добрынина к Лузгину. Но не за советами, а с готовыми решениями металась Кудрявцева из коммунахоа в совнархоз, из совнархоза в наробраз, из наробраза в здравоотдел, в казармы, в больницу, к самому Сухорукову, Илье Ильичу.

Сухоруков — председатель чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями. В помощниках у него — Катюшка-бомбометчица: выросла вдруг, отвердела, приняла на жилистую свою спину всю тяжесть выселения, вселения, переселения — из рабочих слободок в центр.

И только к обеду перехватив в столовой свою осьмушку хлеба, возвращалась Зина в кабинет губкома, усаживалась за массивный свой стол, принимала партийных и беспартийных, рабочих и мещан, модисток и врачей, военных и монахов... последних потому, что не соглашался преосвященный очистить монастырское подворье под семьи рабочих, искали монахи правосудия в бывшем губернском присутствии.

А вечером — совещания, обычные, без Черноголового, и экстренные, широкие, объединенные, с участием его. Сидела Кудрявцева по правую руку от председателя, писала протокол и впервые за весь день отдыхала: уже не надо было думать, решать, предпринимать что-то по своему разумению, — возвышалась над столом надежная, думающая белоснежная голова Михаила Ивановича.

И когда, наконец, поздно ночью прохиралась Зи-

на в бывшую гардеробную, сбрасывала с себя рывками платье и укладывалась под ватное материнское одеяло, вспоминала Мартына. Но в коротеньких, отуманенных усталостью мыслях ее уже не было ни радости, ни боли, ничего такого не оставлял ей минувший день, бешеный, жаркий, пепельный в последний свой час.

И, засыпая, улыбалась Кудрявцева от счастья, не желая для себя ни единой капли больше того, что имела.

В эти самые дни пришло второе письмо от Мартына, пространное, в несколько мелко исписанных листков. Писал Мартын с одного из привалов, в часы боевого роздыха, рассказывал по порядку о всем пережитом.

И единственный раз за последний месяц раньше положенного часа покинула Зина губкомский свой стол, ушла, скрылась в старой гардеробной. Читала и перечитывала, жила вместе с Мартыном, радовалась, горевала, волновалась с ним.

В штабе Панкратова пробыл Мартын недолго, но и этого короткого времени оказалось для него достаточно, чтобы понять, почувствовать, ощутить слухом, зрением величие разворачивавшихся событий.

Ничего подобного не представлял себе Мартын. Он был поражен, смят. Вдруг он нашел себя школьником, мальчишкой и почти с испугом вглядывался в людей, казавшихся ему чародеями. Даже курьеры реввоенсовета, бестрепетно мелькавшие в квартирах штаба, представлялись ему выходцами из какой-то нездешней, богатырской земли.

Огромный заводской поселок, в который свалился штаб армии, трещал, как кафтан подростка на богатырских плечах. Улицы, широкие, как столбовая дорога, давились густой кашей человеческих тел, конских круп, железных повозок, мотоциклеток; все это толкалось, гоготало, трещало, выло и устремлялось за околицу, к станции железной дороги, в степи. Бешеный водоворот не унимался даже ночью, когда смирялись заводские корпуса и покорно затихали темные вокруг степи.

Первое впечатление Мартына от штаба Панкратова было таково, что вся эта шумная жизнь беспорядочна, бестолкова, лишена единой, направляющей воли. Всадники скакали нивесть куда, машины грохали и кружились, точно ошалелые, люди сходились и расходились без особой цели. Но стоило Мартыну продежурить свои первые часы в штабе, как уже вся уличная охолтелая суэта предстала ему в ином свете. Теперь он знал, что и конные, и пешие, и мотоциклетки заняты одним, напряженным, строго, до последней детали, рассчитанным трудом. Он знал, что тот вон курносый, чубатый парень, усаживающийся в седло, только что засунул к себе под фуражку хлопчатый пакет с последнею сводкою хозотдела; что этот серолицый человек с поджатыми, как у обиженного старца, губами спешит к мотоциклетке, чтобы через пять минут открыть заседание в особом отделе; что тот зеленый автомобиль, прыгающий в ухабах с риском лишиться своих шин, должен в положенную минуту высадить седока на станции, и что седок

этот не просто седок, а сам начальник лечебно-санитарных сил армии.

И, уходя с дежурства ночью, пробираясь во мраке, в слякоти улиц к себе, в свой угол, на отдых, знающими глазами оглядывал Мартын черное небо, тонким слухом ловил призывные крики рожка и, не останавливаясь, естречал бешеный галоп курьера.

Большое каменное здание, похищенное армией у заводов, пылало в темени, подобно неугасимому костру на больших дорогах. Незримые лучи его изломами хлестких молний втыкались в пространства, двигали полками, заряжали новой энергией вооруженные толпы.

Мартын сидел в политотделе над ворохом воззваний и приказов, но мысли его рвались туда, в операционную штаба, и на улицы, сходявшие с ума от торопливости. В свободные минуты, чужой, но зоркий, бродил Мартын грязными коридорами штаба, вдыхал пьяный аромат перегоревшего пота, ловил жаркие от страсти голоса.

«Зина, милая!—писал Мартын.—Не было никакой возможности разобрать, кто и в каком именно отделе служит, кто и как связан с тою или другою частью армии, где начальник и где его прямой подчиненный: все лица, все голоса, все жесты обращены к одному невидимому, но властному центру, где крепким узлом затягивались чаяния побед».

Только по особо отточенному шагу да по напряженным изнутри движениям, отменным среди валкой и тяжелой поступи вчерашних рабочих, угадывал Мартын военспеца. Но то же, что и у других многих,

выражение жаркой сосредоточенности было на лицах старых офицеров, и то же, завлакивающее глаза желчью, возбужденное светилось здесь. Едва ли вполне отдавая себе отчет, военспецы заражались общим подъемом, как мастера своего дела, как люди искусства, внезапно оказавшиеся среди неслыханных возможностей. И с рвением, завидным для скряг, служили они искусству войны, забывая о своих убеждениях, о вере своей, о путях своих, еще вчера насмерть расходившихся с народом.

«Но было и по-иному, Зина! Вдруг открывалась ложь, лицемерие, лукавство, и из-под бровей, покорно перед тем наполненных заботами, преступали непримиримая вражда».

Мартын помнит несныи-бледное лицо человека, однажды возникшее перед ним в сумрачном штабном коридоре: двое армейцев с наганами на входе вели по коридору от темной, согретыми рук залатанной двери высокого жилистого человека. Шел человек привычною машинною поступью служакки, но во всей его фигуре уже тяжелела сознаваемая обреченность: то был один из офицеров, обманувших доверие реввоенсовета.

Многое успел Мартын уловить, подглядеть и понять здесь, в штабе Панкратова. И прежде всего понял он, что боевая стратегия армии выковывается не только в штабе, но и где-то за его пределами, и что старым военрукам стратегия эта не всегда была доступна. И не удивлялся Мартын, когда иерархический ефрейтор, малограмотный ткач Алеев, выполняя свои обязанности в штабе, одним летучим замечанием,

какою-нибудь одною фразою приводил в смущение человека, увенчанного в свое время чинами и регалиями. О Панкратове и говорить было нечего! Перед Панкратовым стояли навтыжку и не потому только, что этого требовала дисциплина.

Гордый сознанием, что и он является одним из тех, кому открыты были тайны стратегии, не поддающейся учету военной науки, Мартын как бы вовсе забыл о недавнем своем прошлом, о несчастном случае в Липках, обо всем том, что еще вчера так мучило его. День за днем, зас за часом свыкался он с необычною обстановкою, преодолевал растерянность и медленно, но настойчиво, как равный, втягивался в дружную работу штаба.

Никто не интересовался его прошлым, никому не было дела до того, чем он жил раньше. Люди слишком были заняты своею, ни с чем несравнимою ношею, взваленной на их плечи десятками тысяч бойцов.

Но вот, проходя как-то в полдень со станции в штаб, столкнулся Мартын лицом к лицу с длиннорылым, грудастым Остапенко. Движимый странным испугом, Мартын торопливо отвернулся, но был узнан.

— Ай-гай!—завопил Остапенко.—Да это же вы, товарищ Баймаков...

На литейщике болталась шинель в накидку, подмышкой он держал желтый ящик походной аптечки, из-под козырька на лоб ему стекали взмокшие и жирные, как олифа, волосы.

— А я ж тут пятый день, товарищ земляк... Позоркуй, каким воякой сделался Тарас Остапенко!..

Он был весел, бездумен, горячеглаз и шагал рядом

с Мартыном, осыпая его рассказами о своих приключениях.

Мартын слушал и думал только о том, как бы поскорее отделаться от земляка.

Прощаясь, Остапенко легко и весело напомнил о том, как ему, Остапенко, удалось тогда, на партсобрании, отчитать этого жмыгу, желтолицого Жданова!..

Пробежав это место письма, Зина без труда представила себе волнение Мартына, и она не удивилась последующим строкам его письма:

«Я поспешил уверить Остапенко, что завтра же уезжаю на фронт. Остапенко обрадовался, нашел, что и ему не следует сидеть здесь, на штабных харчах...—Ты поезжай,—говорил он,—а я за тобой следом»...

С этой минуты Мартын потерял спокойствие. Прежние сомнения нахлынули на него. И вдруг, сидя вечером того же дня за бумагами, понял он, что, в сущности, Мартын Баймаков здесь только гость. И ему стало казаться, что еще с самого начала работы в штабе он только и думал о том, чтобы окунуться по-настоящему в войну, быть там, где люди несут в жертву будущему свою жизнь, об руку с ними бороться, вместе с ними ненавидеть.

Ночью Мартыну не спалось. Снова перебирал он в памяти события последних недель и снова с явным подозрением прощупывал каждый свой шаг. Как это мог он столь легко забыться, свести все свои страдания, все неразрешенные свои вопросы к работе в штабе! Конечно, здесь-то ничто его жизни

не угрожает, картечь не рвется над его головою и пули не свистят вокруг. Нет, видно, навеки останется он слабым человеком, и Зина, конечно, права, бросив ему в лицо обвинение в эгоизме, в самолюбовании.

Утром Мартын подал рапорт об откомандировании его в действующие части и тогда же послал он первое свое письмо Кудрявцевой:

«Зина, родная! Ты права—я эгоист. Был им все время, но не буду!»

Когда, в этот же день, сумерками, товарный вагон уносил Мартына в глубь степей, навстречу войне, сердце прыгало у него в груди от смешанных чувств: была тут и гордость за себя, и жалость к себе, еще такому юному, не испытавшему личного счастья и не желающему этого счастья... потому что нет и не может быть иного счастья, кроме как в самоотверженной борьбе вместе с рабочим классом!..

Он долго стоял у открытых дверей вагона, слушал гулкий мужичий говор за спиною и не сводил глаз с темного крылатого предмета, летевшего над березами, не опережая и не отставая от поезда. Музыкальный рев, похожий на колокольное эхо, врывался порою в шум поезда и наполнял душу звуками скорбной песни, отрешенной от всего мелкого, повседневногo.

Степь вечерела, слепла, небо набухало влажною теменью, и все летел, не отставая и не опережая поезда, крылатый челнок, и падали, орошали сизую засыпающую степь упрругие перезвоны.

Нет, жизнь еще далеко не окончена! Борьба только

вперед. Мартын должен возвратить общее к себе уважение и, главное, веру в себя, в свои силы, в свое призвание революционера.

Так, рельсами, в повозках, в пешем строю — сверху вниз, от штаба к штабу, подвигался Мартын Баймаков к своему полку, к своей роте, к своей 18631-й винтовке армии Панкратова.

И на этом пути не раз охватывало Мартина чувство восхищения и гордости за свой класс, за свою партию.

Приближаясь к концу, он мысленно восстанавливал за собою все те треугольники, круги, клеточки и ячейки, из которых построено было огромное здание армии. От самого центра, от Панкратова, через дивизии, бригады и полки, к батальонам, к ротам и взводам вожжами тянулись стальные нити, и непрерывные токи шли по ним — вниз и вверх, как кровь — от сердца, к мускулам и от мускулов к сердцу, к мозгу.

И еще увидел Мартын, пробираясь день за днем, верста за верстой к своей винтовке, что чем ближе были боевые участки, тем меньше было вокруг торопливости, тем увереннее, холоднее и суровее двигались люди, пока, наконец, не уткнулся он в кучу армейцев: с удивительным спокойствием ползли они полем, от ямки к бугорку, от кочки к выбоине — под бешеным клекотом пулеметов, под визг и свист свинцовых стрелок, под непрерывное гулкое медвежье рычание в небе.

Лег он в сухую траву рядом с коломенским мастером Пикитою Голомедовым по одну сторону

и рязанским мужиком Шаповаловым — по другую, приложился к винтовке и выстрелил в невидимого врага. И как только услышал в гуле залпов первый свой выстрел, так сейчас же и понял, что с этой минуты будет он, как все вокруг: холодным, суровым и неторопливым.

Застуженная неторопливость кричала о себе всюду, и она оставалась нерушимой даже в самые критические для полка моменты. Так, на пятый день по прибытии Мартына правый фланг полка потерпел крушение, враг ворвался своей конницей в цепи, измыв их и залег в перелесках, а на левом секторе появились броневые машины. Положение становилось угрожающим. Ночь дала передышку, но к утру, с рассветом, отдан был по ротам приказ об отступлении. Враг заметил, рванулся вперед. Сдерживаемый пулеметным прикрытием, открыл огонь по тылу. И вот Мартын видел, как колоннами, шагом крепким, неспешным, с тугими округленными жестами рук, проходили под холмиком роты, и двое — командир и комиссар, — как на смотру, плясали на своих конях, покрикивая что-то в ряды и даже не оглядывались в сторону перелесков, откуда с кашлем, с лаем, с завываньем сыпалась в небо шрапнель. И, когда дошла очередь до второго взвода третьей роты, Мартын также двинулся среди колонны, но его ноги дрожали, в груди разливался холодок, и было чувство нестерпимого отвращения, точно шел он по горячим углям и кто-то жестокий требовал, чтобы шаг его был тверд и нетороплив. Вскользь, насколько позволяло приличие, поглядывал он в разрезы холма, на чадные

перелески и чувствовал, как глаза его накаляются страхом. А рядом, шмыгая носом и утираясь рукавом шинели, шел коломенский мастеровой Никита Голомедов—олицетворение равнодушия, будничного какого-то покоя. И этот человек раздражал Мартына, будто не те вон двое, пляшущие в седлах, держали в своих руках размеренную поступь колонн, а он, коломенский мастеровой Никита Голомедов. Утерев всякое представление об опасности, тупой, как животное, отбивает он своими рваными обутками медленный такт (ас-два, ас-два) и тянет, точно на привязи: справа—его, Мартына, слева—рязанского мужика Шаповалова.

И Мартын слышал хриплый голос этого Шаповалова:

— А ведь обойдут, сукины сыны!..

Но Голомедов поднял голову, отозвался:

— Почто обойти! Не полагается...

Только много позже узнал Мартын, что за бессмысленною фразою Никиты Голомедова таился холодный расчет, построенный на огромном боевом опыте солдата.

Опасность обхода со стороны, перелеском, несомненно, была, но не такая, какой рисовалась Мартыну. Полторы сотни красных стрелков, залегших с пулеметами за холмом, представляли ограду, достаточную по силе, чтобы пропустить за своей спиной отряд вдвое, втрое многочисленней, и не десять и не двадцать минут, а весь час был в распоряжении марширующего в тылу батальона.

И тут впервые Мартын понял, что в основе нетопливости, с какою проделывались операции на фронте, было прежде всего знание ремесла.

«Я не помню, Зина, кто так сказал, но кто-то сказал, что война есть ремесло... Это верно! Война есть работа, в которой участвуют тысячи и десятки тысяч людей, и, как на фабрике, в армии—строгое разделение труда, свои прогулы, своя успешная или неуспешная затрата сырого материала, та или иная степень производительности. Лучшую работу здесь, как и на фабрике, почитается та, которая дает наибольшие результаты при наименьшей затрате сил и средств.

И недаром тяжелые пушки называются у нас мартеновками, пулеметы—строгальщиками, а команды у батарей—формовщиками.

И недаром комбриг Дзюба, желая высказать горечь и неудовольствие, кричит обычно в сторону армейцев:

— Нечего сказать, работнички! Последнее с вами профукаешь...

Да, война—это работа, но работа... с орудиями смерти, и смерть здесь, Зина, обычна и естественна, как голод, как любовь, как сон».

Мартын встречал бойцов, измученных бессонными ночами, голодных, равнодушных к смерти и жизни. Он сам—правда, на короткие минуты—испытывал нечто подобное: вдруг зрение его затуманивалось, слух переставал ловить свист пуль, и каждою клеточкою тела тянулся он к покою, ко сну—во что бы то ни стало, хотя бы и с мыслью, что потом никогда уже не проснешься.

На языке армейцев это называлось «блажью».

— Опять, паралич те разбери, блажь в голове у мене...

Слыша злое это словечко, соседи по цепи подползали к товарищу, поталкивали его в бок, балагурили, причитали вслух о семье, о бабах, о всесветной революции: авось, что-нибудь зацепит земляка! И усилия эти оказывали свое действие: кошачьи зовы жизни подымались, крепи; из уст, перед тем туго сомкнутых, срывалась ревучая матерная брань. Но случалось и так, что жажда покоя брала верх, сигнальные огни рассудка угасали, кровь свертывалась в жилах, человек полз еще некоторое время, потом неожиданно усаживался по-бабьи на колени, озирался вокруг оловянными глазами и, если пуля находила его, с сладкою улыбкою ребенка валился в траву.

Никита Голомедов замечательный человек!

Соседство Голомедова в цепи и при переходах Мартын не променял бы ни на что! Теперь только оценил он по-настоящему неторопливый шаг колюченца. Итти рядом с ним рука об руку было надежно, весело. Казалось, что у тебя под боком вышагивает само бессмертие: столь удивительно увесиста была походка Никиты, так ровно подымалась его крутая грудь, столь несокрушимо спокойно глядели вдаль голубые его глаза.

Мартын видел, что Голомедов следит за ним, как бы взвешивая его силы, и не раз, в часы жарких схваток с врагом, голубоглазый сорокалетний вояка этот озадачивал Мартына выкриками: «Подтяни живот», «Не дышь овцою», «Крути больше курдюком-то!..»

Недалеко от Дона разыгрались упорные бои. Рота Мартына, имевшая перед тем передышку, накопила сил, лица у людей посвежели, движения рук и ног вновь стали упруги. Шли в цепи с прибаутками, с хохотком, и Мартын не отставал от общего настроения: никогда, казалось ему, не чувствовал он себя таким сильным, бодрым, надежным. Когда прокатилась первая ядерная команда, и стрелки начали переползать, а затем и перебегать вперед по полю, волнение, знакомое ему по охоте в тайге, охватило Мартына. «Ага!—сказал он себе.—Теперь-то уж Баймаков не позволит разыграть зайца». По сторонам, справа и слева, люди поднялись во весь рост, ощерились. Они бежали, как волки, прыжками, и кричали дико, призывно. И как только услышал Мартын свой голос, крепкий, отдающий металлом, небо запрыгало у него в глазах, тело стало воздушным и как бы отделилось от земли. В неистовом порыве злобы (к себе, к людям?) бежал он и не оглядывался вовсе на соседей. Но кто-то нагнал его, заорал сбоку и вдруг со всего маху поддал ему в ноги. Мартын упал... Голомедов лежал рядом, закладывал трясущимися пальцами новую обойму,—кричал:

— Белены ты объелся? Пулемет!..

Позже, уже ночью, Никита говорил Мартыну:

— Ты, Баймаков, смерти не ищи... Она, братец, сама тебя сыщет... Понял?

И мягко, улыбаясь, отвечал тогда Мартын коломенскому мастеровому:

— Понял, товарищ!..

Нельзя, гадко, безумно при каком бы то ни было

положении отворачиваться от жизни! Ведь это же она, жизнь, наливает силою мускулы борцов; она зовет и манит сражающийся народ вдаль, к новому солнцу, к неосязаемому, но принимаемому безоговорочно, будущему.

Нет, не в равнодушии истощенного тела, и не в презрении аскета к жизни, и не в пьяной животной жажде боя, крови, разрушения кроются силы гордого, мужественного сердца, того, о каком с тоскою мечтает Мартын.

«Но где же, где черпать эти силы, где их источник?.. Кажется, я кое-что нащупал, Зина, хотя далеко еще не все».

На этом кончалось большое и все же — смутное, напряженное какими-то скрытыми, невысказанными настроениями, письмо Мартына.

Второе и последнее письмо!

Потом Зина уже не получала от него ни одной строчки.

Прошла зима, отшумела невиданными в этих краях метелями, и снова по-бывалому, горячо и ласково светило над городом солнце, просыхали, проветривались каменные улицы, пресгорней и глубже становилось над ними небо, и в саду, прямо за окнами губкома, зацветали, пенились первою зеленью старые липы.

Работа не убывала. Дивизия Панкратова об руку с другими, победоносными, добивала врага у моря. Но вооруженные ватаги белых перебирались в Крым, перестраивались, готовили новые вылазки. И с запада вместе с первыми проливными дождями ранней весны

нарастали тревожные слухи: шевелились там белополяки, гремели оружием. Попрежнему надо было думать о хлебе, о снаряжении, о боевых припасах... Хлеба—армии, хлеба—северным городам, голодающим заводам, фабрикам!..

Несколько затихла за зиму тифозная эпидемия, но к весне вспыхнула вновь. Нехватало медикаментов, мыла, белья, топлива. Недели боевой работы—«неделя бань», «неделя чистоты», «неделя топлива»—помогали мало. А тут еще вместе с разгорающимся солнцем потянулись через город к покинутым местам, на юг, в гнезда свои, беженцы. Подвигались в вагонах, эшелонами, ползли в обозах, запружали станцию, слободы, степи вокруг города.

И была взвалена на Зину еще одна новая забота: замещала она председателя комиссии по устройству беженцев и по разгрузке от них города. Вышло это как-то само собою. Ей доверяли, а она не знала границ своим силам, брала все, что подвертывалось под руку, и ни от чего потом не отступала.

Председательствовал в комиссии Туляков, но он в то же время возился и в финотделе, забегал к Кудрявцевой два-три раза в неделю, молча выслушивал ее сообщения, соглашался с нею одними глазами, белесыми, северными своими глазами, и убегал. Сухоруков как-то на заседании подметил—еле сидит за столом осунувшаяся до нельзя секретарша,—пожалел ее, настоял дать помощников. Пришли на утро в кабинет губкома—сивскудлая Памфило: а из района и голубоглазый Уткин в несменяемой своей накидке: помощники! Памфилову услала Кудрявцева на стан-

цию заведывать беженскими бараками, а с Уткиным не знала, что делать. Вертелся у стола весь день, кашлял кровью в платок и все говорил о странных каких-то вещах, мечтал, бредил вслух, и когда вышла Зина, пользуясь обеденным перерывом, в старый липовый сад, следовал Уткин за нею неотступно, жаловался на нелепость, на все безумие того, что вот должен он скоро умереть, утаснуть, как свеча под ветром, а жизнь будет продолжать свою песенку... О, нет! Пока смерть существует, не может быть вполне счастливым человечество... Глупо, мерзко говорить с ним, Уткиным, о каком-то прекрасном будущем, о мировой коммуне, о новом, счастливом царстве, когда он, не сегодня—завтра, свернется прокисшим молоком и будет выплеснут в гомойную яму!

Украдкой ловила Зина в мягкой и нежной, как цыплячий пух, зелени солнечную игру и старалась не встречаться с глазами Уткина. Эти его глаза, обложенные набухшими, воспаленными веками, все время настороженно следили за нею: присасывались к ее губам, улыбающимся даже в минуты крайней усталости, ловили каждый взмах темных ее ресниц. Казалось, он ждал слова утешения (что ей, в самом деле, стоило рассказать ему о каком-нибудь случае, когда и чахоточные излечивались, становились на ноги, жили до ста лет!). Но она молчала и пряталась, стараясь не выдать своего восхищения перед безумно горячим солнцем, перед буйною, никогда на земле не увядающею зеленью.

Она думала о Мартыне, невучая струнная грусть колебала ее сердце, ей не хотелось слышать о зло-

ленных слов о смерти, о страданиях, она желала только одного, и только об этом сейчас думала: еще раз увидеть Мартына, приласкать его, сказать ему, что она не забывает о нем и верит в него!

Какое горячее солнце, и как чудесна зелень на липах, и как сладок вешний липовый воздух, голубой и кроткий среди влажных темных стволов!

— Нет, Уткин, вы не правы! Вы никогда не умрете... Никогда!..

Сказав это, она рассмеялась, поднялась со скамьи.

— А, впрочем, все мы умрем, товарищ Уткин, рано или поздно. Но из этого не следует, чтобы мы тут с вами вовсе забыли о беженцах... Они-то живут и хотят кушать!..

Уткин смолчал и не пошел за нею. И когда остался один, вытащил из кармана пакет, обшипанный, небрежно вскрытый, извлек из него бумажку и бегло (не в первый уже раз) прочитал короткие строки с пометкою: «Полевой штаб N дивизии».

Отлично, товарищ Зина! Сейчас вот Уткин отправится к тебе, станет у твоего стола и положит перед твоими глазами эту бумажку... Вокруг посторонние лица: едва ли удастся тебе скрыть от них свое горькое волнение. Может быть, ты даже покинешь этих людей, бросишься вон из своего кабинета, прочь от своих дел. Но тогда Уткин пойдет за тобою следом, настигнет тебя, скажет холодно, с улыбкой:

«Все мы умрем... рано или поздно, товарищ Кудрявцева! Но из этого не следует, чтобы мы тут с вами позабыли о беженцах»...

Да, он сделает так! Ничто не удержит его. Ведь

не обязан же он, в самом деле, догадываться, что какая-то там бумажонка разразится громом над головою Кудрявцевой... И ведь не нарочно же он, Уткин, выудил этот пакет из вороха других, лежавших на столе секретаря губкома. Только простая случайность (остался в кабинете один на минуту) позволила ему заглянуть в серый пакет. Не случись этого, Кудрявцева сама, часом позже, вскрыла бы эстафету.

Он встал и направился к гранитным порожкам балкона. С трудом, задыхаясь, поднялся вверх, прошел через открытую стеклянную дверь в кабинет (ах, как много тут солнца!).

Кабинет был полон горючего запаха грязи и пота. Люди стояли, сидели, заглядывали с порога из коридора. Женщины в пестрых лохмотьях, старики с заплесневелыми головами, на руках у женщин бледные дети, — это все — беженцы.

Кудрявцева сидела спиной к балкону. Уткин, не двигаясь, глядел на эту залитую солнцем спину, и в солнце, в золотой его жиже, видел темные, коротко подстриженные на затылке волосы и шею видел, смуглую и тонкую, как у ребенка.

Она не слышала (шум стоял в кабинете), но почувствовала человека у себя за спиной, оглянулась, подняла глаза.

— Вы что?

Спросила потому, что сразу заметила необычный его вид.

Но Уткин котебался. И уже засовывал, комкая, серый пакет в карман обтрепанных своих брюк.

— Так... ничего! — произнес он и вдруг широко и блаженно улыбнулся.

Как только понял, что не отдаст ей этого пакета, обрадовался и изволивался. Новыми, настежь распахнутыми глазами оглядывал кабинет: люди и солнце, много солнца, янтарный, зримый глазами, липовый аромат из сада через раскрытые двери... Как все это чудесно!

Торопливо подсаживаясь к столу, улыбался Уткин, пересбирал восковыми пальцами бумаги, теплые под солнечным угревом, пахнущие чем-то волнующе-памятным, может быть детством, школьною тетрадкою.

— Кто из Ольховки? — вновь обратилась к работе Кудрявцева. — Кто тут ольховские?

Уткин сидел на кончике кресла и перебирал солнечные пахучие бумаги, и вид у него был, как у евангельского бога, одевающего человечество любовью.

«Какою мерою мерите, такую отмерено будет вам!»

И все улыбался мудрою, знающею улыбкою и поглядывал из-за бумаг на девушку, на нежный и робкий овал ее лица. Он и в самом деле был теперь как бог, как судьба, как грозный рок Кудрявцевой: молчал и — светило для нее солнце, но... стоило ему захотеть и — мгновенно померкло бы. Кто же не знал, чем дышала эта девушка, к кому из окружающих обращались тайные ее помыслы! Еще на том партсобрании, где судили Баймакова, стало ясно Уткину, все. Эта излишняя для делового собрания запальчивость секретаря губкома, это ее волнение, почти страх за исход дела.

— Идите, отдыхайте, Уткин!..

Ничем он за весь день не помог ей, но отдыхать ему, конечно, надо, отдыхать от самого себя, от неугасимого своего недуга. Однако уходить не хотелось. В последние дни одиночество томило его: неправда, что только здоровые да сильные ищут человеческого общества... Неправда, тысячу раз неправда!

И вдруг он заговорил о Мартыне. Вышел за Кудрявцевой на балкон, опустился в плетеное кресло, подобрался, замигал опухшими веками и — заговорил.

Не правда ли, какой сильный человек — этот Баймаков? Редкостный экземпляр! Такие, если на них не обрушится случайно скала, живут за четверых, берут себе в жены краснощеких самок и умирают на сто первом году — патриархами, в кругу сыновей, внуков и правнуков... Давно ли в губкоме имелись о нем известия? Кто-то на днях говорил, что Баймакова произвели в политкома полка. Как, разве она не слышала? Может быть, она не знает также и о том, что в бою под какой-то станцией Мартына ранили? Впрочем, это только слухи! Уткин и сам не сказал бы, из каких, точно, источников. Во всяком случае, говорили, что рана пустячная. Конечно, было бы безмерно обидно, если бы этот молодой, цветущий здоровьем человек погиб... Погиб от жалкого какого-то кусочка свинца, от ржавого какого-то осколка картечи!..

Зина с немою тревогою следила за Уткиным. Солнце опускалось к густым кронам лип. Зарево осеняло голову Уткина венчиком: как у святых на иконах. Но в бледном, водянисто-одутловатом лице его, заросшем мшистым волосом, было что-то егозливое и

непристойное. И почему-то стало Зине до боли жалко этого человека. Она сказала, подымаясь с кресла:

— У вас сегодня прекрасный вид, товарищ Уткин. Но вам не следует злоупотреблять здоровьем... Скоро будет совсем сыро... Хотите, зайдём ко мне?.. Угощу чаем!..

Он не ожидал ни этих ласковых слов, ни, тем более, приглашения зайти к ней. Внезапно глаза его увлажнились. Но он мотнул головой и протянул руку.

— До завтра, товарищ Кудрявцева! Я с удовольствием посижу у вас, но... мне надо ещё кое-куда забежать!

Губы его невнятно дрожали.

Она не задерживала, он сорвался с места и побежал, на ходу развеивая лапы своей затрепанной накидки. Попав в коридор, запустевший, безлюдный, Уткин юркнул, раздумывая, что же, что ему делать с собою. И тут почувствовал легкое смутение в душе: серый пакет полевого штаба лежал в его кармане, это походило на похищение, тут было, вообще, что-то не совсем ладное!

Он тихонько пошёл к выходу, поглядывая на заревые отсветы в стеклах окон, и старался не думать о пакете. Но мысли упорно возвращались к коротеньким строчкам штабной эстафеты, к тому человеку, о ком говорилось в этих строчках, и к этой девушке, странно близкой ему, Уткину, и ненавистной, как все молодые, здоровые люди. Ещё час назад Уткин как бы даже радовался тайне, скрытой в сером пакете. Теперь же... о, теперь он отдал бы многое, чтобы только не иметь вовсе этого пакета!..

Пакет шуршал в кармане, напоминал о себе, наполнял сердце тревогою. Главное, никто уже не в состоянии был изменить того события, о котором передавалось в эстафете! Можно вовсе скрыть пакет, уничтожить его здесь же, изорвать сию же минуту на мелкие клочки. Но не уничтожишь, не переменишь, не вычеркнешь из неутомимой летописи жизни события, факта!..

Внезапный шум голосов, вырвавшийся из боковой двери, привел в себя Уткина. Он стоял, держась за ручку выходной двери, и не двигался. Шум заставил его насторожиться. В чем дело? Разве в зале исполкома собрание?.. Крадучись, на цыпочках (иначе в последнее время он и не умел), подошел к двери, заглянул. И, слегка поколебавшись, вошел боком в зал.

В зале, за столом, под затрепанною метелкою пальмы стоял Черноголовый. Он что-то возбужденно говорил и стучал ладонью о стол. Губарев, развалившись в кресле, шлепал в ладоши. Жданов порывисто бегал от стола к пальме и обратно. Сухоруков топтал ногами на месте, подобно застоявшемуся коню. Синицын был неподвижен, но глаза его, обращенные к Уткину, горели, как у тифозного. Еще кто-то вертелся тут, незнакомый, чубатый, с очень узкими ребячьими плечами.

Из огромных окон по залу водопадом разливалось багровое зарево, алые озера дрожали на паркете, лепные потолки колыхались и рдели, и люди у стола казались в этом пожарище призраками.

Сухоруков обеими руками вцепился в плечи Уткина, окатил его хохотком восторга.

непристойное. И почему-то стало Зине до боли жалко этого человека. Она сказала, поднимаясь с кресла:

— У вас сегодня прекрасный вид, товарищ Уткин. Но вам не следует злоупотреблять здоровьем... Скоро будет совсем старо... Хотите, зайдем ко мне?.. Угощу чаем!..

Он не ожидал ни этих ласковых слов, ни, тем более, приглашения зайти к ней. Внезапно глаза его увлажнились. Но он мотнул головой и протянул руку.

— До завтра, товарищ Кудрявцева! Я с удовольствием посидел бы у вас, но... мне надо еще кое-куда забежать!

Губы его невинно дрожали.

Она не задерживала, он сорвался с места и побегал, на ходу развывая полами своей затрепанной накидки. Попав в коридор, запустевший, безлюдный, Уткин остановился, раздумывая, что же, что ему делать с собою. И тут почувствовал легкое смятение в душе: серый пакет полевого штаба лежал в его кармане, это походило на похищение, тут было, вообще, что-то не совсем ладное!

Он тихонько пошел к выходу, поглядывая на заревые отсветы в стеклах окон, и старался не думать о пакете. Но мысли упорно возвращались к коротеньким строчкам штабной эстафеты, к тому человеку, о ком говорилось в этих строчках, и к этой девушке, странно близкой ему, Уткину, и ненавистой, как все молодые, здоровые люди. Еще час назад Уткин как бы даже радовался тайне, скрытой в сером пакете. Теперь же... о, теперь он отдал бы многое, чтобы только не иметь вовсе этого пакета!..

Пакет шуршал в кармане, напоминал о себе, наполнял сердце тревогой. Главнее, никто уже не в состоянии был изменить ~~или события~~, а кто-то передавался в эстафете! Мужик ~~вместо~~ скрывал пакет, уничтожить его здесь же, издрать сил же ни путу на медкие юбки. Но не уничтожишь, не перемеришь, не вычеркнешь из неуслышимой деятельности жизни события, факта!

Внезапный шум голодов, вырвавшийся из божьей двери, привел в себя Уткина. Он стоял, держась за ручку выходной двери, и не двигался. Шум заставил его насторожиться. В чем дело? Разве в зале исполнения собрание?.. Крадучись, на цыпочках (иначе в последнее время он и не умел), подошел к двери, заглянул. И, слегка поколебавшись, вошел боком в зал.

В зале, за столом, под затрепанною метелкою пальмы стоял Черноголовый. Он что-то возбужденно говорил и стучал ладонью о стол. Губарев, развалившись в кресле, плескал в ладоши. Жданов перемывисто бегал от стола к пальме и обратно. Сухоруков топтал ногами на месте, подобно застоявшемуся коню. Синицын был неподвижен, но глаза его, обращенные к Уткину, горели, как у тифозного. Еще кто-то вертелся тут, незнакомый, чубатый, с очень узкими ребячьими плечами.

Из огромных окон по залу водопадом разливалось багровое зарево, алые озера дрожали на паркете, лепные потолки колыхались и рдели, и люди у стола казались в этом пожарище призраками.

Сухоруков обеими руками вцепился в плечи Уткина, окатил его хохотком восторга.

— Уткин, братец ты мой... победа!..

Сухоруков никогда ранее не заговаривал с Уткиным, он не всегда даже замечал его приветствия.

— Уткин, сукин ты сын!.. Самая наисвежайшая новость... Азербайджан наш! Баку наш! Нефтяные вышки... наши... чорт тебя побери совсем!..

Отпихнув от себя Уткина, он подкатил, приседая, как бы танцуя, к столу, рванул с телефонного аппарата трубку, закричал гулко, на весь зал:

— Даешь вокзал! Мастерские? Местком? Митька!.. Азербайджан—наш! Чаво? Переворот... Советская власть... Валяй в мастерские, подлец! Оповещай кругом... крути... завинчивай!..

Черноголовый прервал его:

— Не ори, сделай милость! Всех оповестим... дай только срок!..

Жланов ступил к Сухорукову, отрыгнул, поморщился, сказал:

— Балалайка! Ведь это же только Азербайджан...

— А тебе же чего хотелось?—обнял его с размаху за талию Илья Ильич.—Парижа, Берлина?.. Обожди!.. Все наше будет!

Черноголовый звенел ложечкой о стакан с недопитым чаем.

— Товарищи! Дело—не в Баку... Дело в том, что «вооруженным силам Юга» капут!.. Я предлагаю созвать на утро экстренное заседание совета... А сейчас срочно оповестить заводы... Пускай встряхнутся ребята, разомнут мускулы!..

— Правильно!—подхватил Губарев.—А ну, Илья

Ильич, звони к литейщикам... Или нет... Давай мне! — протянул он руку к телефону.

Сипицын пламенел глазами, стоял неподвижно, вдруг как-то весь вытянувшись; он говорил, и белая голова Михаила Ивановича, склонившаяся к нему, подрагивала в такт его словам.

Кто-то вспомнил о секретаре губкома.

— Уткин! Беги к Кудрявцевой, тащи сюда живым манером!

Взывал, воткнувшись в телефонную трубку, Губарев:

— Аллю... Аллю... Давай, барышня, губпрофсовет!..

Уткин вплотную подошел к Черноголовому, вдруг потянул его за руку, подал серый штабной пакет.

Михаил Иванович взял пакет, повертел его в пальцах и бросил на стол.

— Хорошо... потом!..

Но Уткин, как бы чего-то испугавшись, сказал:

— Сообщение о товарище Баймакове..

Михаил Иванович пристально взглянул на него, поднял пакет и, доставая бумажку, спросил:

— У секретаря... эстафета была?

— Никак нет!.. — отвел глаза Уткин. — Я могу позвать товарища Кудрявцеву!..

Но Черноголовый не откликнулся. Он уже держал бумажку у самых своих очков. Вдруг рука его напруглась, как бы под непомерною тяжестью. Он отвел бумажку в сторону и медленно поднес ее снова к глазам. Рука его дрожала. Уткин не сводил с него

излида, в сладостном томлении подбирая в углах рта слюну.

— Так!—произнес негромко Михаил Иванович и крикнул, как это делают дровосеки, когда, замахнувшись, с силою опускают топор свой.

Синицын услышал тяжкий этот вздох.

Что такое? Что за бумага?..

Михаил Иванович молчал.

И в эту минуту вошла Зина. Сразу все трое — Сухоруков, Губарев и Синицын — встретили ее аплодисментами.

— Учужала?—закричал Илья Ильич. Сердце подсказало?.. Распространяемся, Кудрявцева! Новая республика! С жару, с пылу...

Еще не зная новости, но улыбаясь, весело кивая головою, шла Зина к столу, и тут, заметив в руке Михаила Ивановича бумажку, подалась к нему.

Михаил Иванович резким жестом отвел руку. Зина взглянула ему в лицо, уловила выражение испуга.

— В чем дело?..

— Да вот...—дрогнул Михаил Иванович. Тяжелое сообщение... Очень, очень!..

Теперь она видела тягостное волнение в его лице. Лицо это ничем не походило на возбужденные лица окружающих. Тревога сжала ей сердце.

— Возьми,—негромко произнес Михаил Иванович, вдруг как-то весь подбираясь.

Несколько мгновений Зина не принимала бумажки, поглядывая то на нее, то на Михаила Ивановича, как бы пытаясь разглядеть то, что скрывалось за его предостерегающими словами.

Наконец они взяли помпный листок и, прижав дубими нижнюю свою губу, заглянула в него. Густой румянец испыхнул у нее ни никак, ни лбу, ни щеи и тотчас же сменился зеленоватым бледнотом. И губы побелели, как у больного, только что перенесшего жесточайшую лихорадку.

Михаил Иванович ждал. Давно уже можно было прочесть и перечитать коротенькие строчки, а она все не сводила с них глаз. Губарев заглядывал через плечо Зины, пытаясь читать, вытянул руку и прихватил пальцами конец листка. Она отстранилась, оставив бумажку в его руке, подошла к креслу, опустилась в него.

Илья Ильич ударил ладонью о стол.

— Кудрявцева! Азербайджан!.. Азербайджан перевернули!..

Илья Ильич еще не знал содержания бумажки, а если бы и знал, то ни на одну минуту не понизил бы своего горластого голоса; глазами немигающими глядел человек этот в раскаленные точки паровозной и никогда не вздыхал, если, подняв случайно голову, видел в ночном небе блеск падающих, отмирающих звезд.

— Азербайджан!.. Баку!.. Нефть!..

Вскинув к нему невидящие свои глаза, Зина, подобно школьнице, запоминающей трудный урок, повторяла одними губами:

— Баку... нефть... Почему?..

— Потому!..—расхохотался Илья Ильич, щелкнул ловко пальцами, притопнул ногою (гул пошел по залу) и запричитал тонким дергающимся голосом:—

Их-эх... Их-хо... Ты понимаешь, гражданочка, что такое нефть? Да я за ней, сволочью, все паровозы ушлю!.. Китай-валяй, мать ее титулярная!..

Вечером,—уже звездная россыпь переливалась в небе холодным жаром,—проходили по главной улице шумные колонны, пели люди «Интернационал». Спугнутые, трещали вдали пролетки. Черноголовый, стоя на балконе губкома, выкрикивал в толпу горячие, но строгие слова о победах на южном фронте, о советском Баку, о неизбежном перевороте в Грузии, о последнем напряжении сил—еще предстоит справиться с Белою Польшей,—и о том долгожданном, желанном и уже близком времени, когда наконец можно будет заняться мирным трудом.

За спиной у него, без фуражек, стояли: Губарев, Сухоруков, Лузгин, Синицын, Кудрявцева.

Кудрявцева стояла прямо и чинно, и то же, что у ее соседей, выражение суровой торжественности светилось в ее лице. Порою, коротко, глухой икотой, она вздыхала, но никто этого не слышал.

Теплые и влажные волны катились под звездами, орошая улицы синею пылью. Толпа внизу была молчалива, жаркое ее дыхание подымалось к балкону, и Сухоруков, чуть-чуть вытянув шею, улавливал сладчайшие, знакомые с детства запахи гари и масла.

— Ура!—кричал Сухоруков, подхватывая буйный рев толпы.

XX

Как ни велики и необычны были события, но и они падали в прошлое, уступая место новым делам неукротимого человеческого труда. Еще не один раз,—

кто этого не знает?—будет греметь голос бита, потому что битвы только начались, но уже другие люди будут внимать этому голосу и о них, других, железных, нам не рассказать.

А о тех, кто еще идет с нами под солнцем, о ничтожных и великих, о жалких, как дети в грозу, и о гордых, более гордых, чем каких знала когда-либо земля, стоит ли продолжать?

Черноголовый не ведал, что такое усталость,—за стенами стонали пушки, потом надо было сеять и жать, раздувать доменные печи, подводить стропила у новых, невиданных строений. А когда миновало, взрыв за взрывом, напряжение, и там, где еще вчера дымились батареи, вдруг затархтели золотокрылые жатки,—Черноголовый понял: только мысль человека не знает барьера времени, мускулы же сердца его с годами, без смены, слабеют.

Прошло пять лет со времени гражданской войны. Михаил Иванович обликом почти не изменился, но нервные его силы иссякали. Прежде всего это начало сказываться на сне: спал тревожно и мало. Еще по-старому мог он просиживать целыми днями за работой, но не было уже прежней жизнерадостности, и порою, на больших и ответственных заседаниях, вдруг терял Черноголовый способность слушать и понимать жаркие споры.

И вот решил он провести полмесяца среди волжских просторов, на пароходе. Зина Кудрявцева охотно поддержала эту затею. Она не расставалась с Михаилом Ивановичем, она следовала за ним всюду, как планетный спутник, и все, кто знал Черноголо-

вого, не удивлялись ей, испытывая на себе удивительную, притягивающую силу этого человека.

Зина была уже матерью. У смуглолицей ее девочки, Линны—глаза продолговатые и узкие, материнские, с острыми зелеными огоньками, как у отца.

Выехали они все трое июньским полднем, когда над Москвою, в густом знойном воздухе, струнно звучали гудки заводов.

Восторгам Линочки не было предела.

До Нижнего ночь прошла в изгоне, пересели в Нижнем, с рассветом, на пароход и двинулись к Каспию. В это утро Михаил Иванович гулял по палубе, шурился из-под очков на солнечные берега и даже принимался напевать «Из-за острова на стрежень»... Зина радовалась за него и за свою девочку, которая вдруг вся расцвела и неудержимо бегала кругом по палубе, оглашая светлую тишину надречья буйными криками.

Кудрявцева пополнела, движения ее стали более спокойными, но в узких серых глазах ее, как и прежде, светилась пытливая мысль, и в тонких углах рта играла усмешечка.

Она любовалась своею девочкой и с тайною гордостью следила за тем, как, забыв о своих больших делах, Черноголовый весь, казалось, отдавался забавам с Линочкой. Однако это только так казалось. Уменья ничего не делать, беззаботно созерцать, дышать и смеяться у Михаила Ивановича хватило не надолго. Уже к полдню он явно начал томиться. Где-то ему удалось достать газету, и с нею, крадучись, убрался он в рубку. Протесты Кудрявцевой

успеха не имели. В обед он снова повеселел, шутил за общим столом с пассажирами, а в сумерках долго и оживленно беседовал с капитаном парохода. Капитан был старым моряком, он когда-то участвовал в революционном движении, был лично знаком с некоторыми героями восстания на «Путемкание» и место капитана на Волге рассматривал как поощрение со стороны государства заслуженному ветерану. У Зины этот человек, когда познакомились, неожиданно поцеловал руку; маленькую Линочку он сам, у груди, вознес на свою капитанскую вышку, а в разговоре с Черноголовым держал себя так, словно готов был в любой момент вскочить и стать на вытяжку. Он был в одних годах с Михаилом Ивановичем, костляв и длинен, выправкой военного служаки превосходил Черноголового, но в его лице, заветренном и грубом, не было той удивительной красоты духа, которая молодила Черноголового и заставляла окружающих провожать его взорами любопытства.

Ночь Черноголовый провел в безмятежном сне. Но утром, позавтракав, он вдруг ощутил, вместе с приливом свежих сил, острую, поющую тоску по той обстановке, которую покинул в Москве. Встав из-за стола, он с тревогой вглядывался в зеркальные окна, как бы ожидая увидеть за ними свой автомобиль. Но автомобиля не было, и не было секретарей с дамскими, и не было всего того напряженно-шумного мира, в который каждое утро погружался Черноголовый. Растерянно улыбнулся он Кудрявцевой; пальцы его, запущенные в жилетные кармашки, заметно подрагивали; он чувствовал себя курильщиком,

который только вчера решил оставить дурную привычку и выбросил за окно последнюю папиросу.

— Идем скорее на палубу!—пригласила, беря его под руку, Зина.—Сегодня на реке чудеса!..

Но он осторожно высвободил свою руку.

— Ступай с Липочкой, друг, я потом!..

И, как только скрылась за дверью молодая женщина, Михаил Иванович торопливо прошел в свою каюту, выдвинул чемодан и отпахнул его. В этот день его не ожидали ни заседания, ни доклады, и он искал суррогата работы, его мысли были не здесь. По рассеянности он не сразу понял, что припрятанного им портфеля с некоторыми неотложным материалами нет, но когда понял это, его охватило острое раздражение. Он чувствовал себя совсем несчастным, и прежде всего вскипела неприязнь против Кудрявцевой.

— Зинаида Никифоровна!—сказал он, отыскав ее на палубе.—Ты, часом, перед отъездом не заглядывала в мой чемодан?

Голос у него был ровен, но Зина, отлично изучившая Михаила Ивановича, видела, что он расстроен: щеки его, розовые, литые, гладко выбритые, были неподвижны, но под черными, не сдававшимися времени бровями посверкивал огонек.

Она рассмеялась, отбросив книгу. На смуглой щеке ее проступила ямочка, зубы белели, в сузившихся до предела глазах ее прыгал блеск, схожий с тем, какой играл в эту минуту под солнцем на волнах.

— Михаил! Неужели я враг тебе? Твой портфель остался дома.

— Но...

Было видно, что он с трудом сдерживает себя.

— Но, право, это ни к чему! Я еще в своем разуме и твердой памяти: онекужен мне не надо...

Голос его ломался. Она положила на плечо ему руку, слегка касаясь груди, отводила его тумурой.

— Достоуважаемый! Не будем ханарить... Жизнь коротка, а дел много... И сейчас мы отдыхаем, только отдыхаем!

Он не спеша отстранил ее.

— Я не понимаю, я совсем не понимаю, как можно с такой легкостью забыть обо всем на свете... Во имя отдыха!..

— О, это не только можно, а и должно. Михаил!

— Ну, относительно того, что должно, у нас с тобой, видно, разные взгляды!..—поморщился он.

Зина еще раз попробовала рассмеяться.

— Какой строгий! Можно подумать, что речь идет об измене пролетариату.

Михаил Иванович дернул плечом. Теперь ему были невыносимы и этот смех, и солнце на реке, и теплый воздух, туманивший голову.

— Ты легкомысленна до глупости!—крикнул он взволнованно.

Она вздрогнула, откинула голову, глаза ее заколоди. Он понял и оценил свою неосторожность. Ему стало жаль ее и досадно на себя. Он сказал, пытаясь улыбнуться:

— Ну, ладно, бросим это.

Но ее губы были плотно сомкнуты, и в их углах змеилась колючая усмешка.

— Не сердись, прошу тебя!—повторил он совсем

уже растерянно (он знал, что теперь от нее не добьешься ни одного слова).—Я так устал... Моя нервы... Неужели ты не понимаешь меня?

Она молчала, глядя через его плечи на близкий, в садах, берег.

— Кудрявцева!—голос его снова напрягся.—Пожалуйста, не строй из себя царевны-молчалицы... Ты знаешь, как я не выношу этого!..

Тогда она опустилась на скамью. Ее пальцы неспокойно перебирали оборку на платье.

— Я знаю, что ты перестал уважать меня!..—заговорила она, глядя в сторону.—И ты, и все другие... Конечно, теперь Кудрявцева только мать, только хозяйка!..

— Неправда!—перебил он ее.—Мое отношение к тебе прежнее! И потом—разве ты не работаешь?..

— Какая моя работа!—она с горечью махнула рукою.—Почти канцелярия... Эти вечные бумажки, бумажонки... Грош цена моей работе, товарищ Черноголовый!..

Он покачал головою, взглянул по сторонам и подсел к ней.

— Что ты говоришь, чудачка! Всякий труд, если он продлевается добросовестно, ценен...

— Оставь свои сентенции, Михаил! Тебе известно по прошлому, что я способна на более живую и более ответственную работу.

Он вздохнул.

— Не знаю, о чем ты говоришь! В моей достаточно долгой жизни мне доводилось выполнять всякие работы... Я не гнушался ничем, я радовался, что бы ни

вручала мне партия... Улыбнувшись, она сказала: «Ты же и была пухляком, техника!»

— Но теперь-то ты — во главе огромной массы!

Он с недоумением взглянул на нее.

— Завидуешь?..

Его замечание взорвало ее.

— Не говори пустяков! — возлинула она, перевернув пальцами оборку своего платья. — Ты скучаешь, я знаю, о чем я! Мне надоела моя роль в жизни этого несчастного человека... Я хочу, чтобы меня любили не за то, что я близка тебе! Разве я бесконечно? Разве у меня не хватило бы сил, чтобы вести самостоятельную любую труд?..

— Любой... труд... — протянул Михаил Усманов и грустно улыбнулся. — Эх, Зинаида Николаевна! — Он вдохнул. — Ведь ты уже зрелый человек, а до сих пор не можешь отделаться от дурного тона. Все «я» да «я»! «Я» — в центре всего... Что это такое? Когда люди этак вот рассуждают, мне всегда вспоминается бедный Мартын...

Он готов был продолжать, его глаза оживились, и на губах заиграла самодовольная улыбка. Но она прервала его.

— Послушай! — сказала она, кладя свою руку на его колено. — Обещай мне никогда не говорить так со мною! Иначе... — Она сорвалась, губы ее запрыгали, но голос поднялся. — Зачем ты вспоминаешь Мартына? Ты никогда не понимал его! У тебя слишком алгебраический подход к людям, и не тебе ценить явлений, выходящих из ряда вон...

Она поднялась, грудь ее дышала неровно, на кру-

уже растерянно (он знал, что теперь от нее не добьешься ни одного слова).—Я так устал... Мои нервы... Неужели ты не понимаешь меня?

Она молчала, глядя через его плечи на близкий, в садах, берег.

— Кудрявцева!—голос его снова напрягся.—Пожалуйста, не строй из себя царевны-молчальницы... Ты знаешь, как я не выношу этого!..

Тогда она опустила на скамью. Ее пальцы неспокойно перебирали оборку на платье.

— Я знаю, что ты перестал уважать меня!..—заговорила она, глядя в сторону.—И ты, и все другие... Конечно, теперь Кудрявцева только мать, только хозяйка!..

— Неправда!—перебил он ее.—Мое отношение к тебе прежнее! И потом—разве ты не работаешь?..

— Какая моя работа!—она с горечью махнула рукою.—Почти канцелярия... Эти вечные бумажки, бумажонки... Groш цена моей работе, товарищ Черноголовый!..

Он покачал головою, взглянул по сторонам и подсел к ней.

— Что ты говоришь, чудачка! Всякий труд, если он прodelывается добросовестно, ценен...

— Оставь свои сентенции, Михаил! Тебе известно по прошлому, что я способна на более живую и более ответственную работу.

Он вздохнул.

— Не знаю, о чем ты говоришь! В моей достаточно долгой жизни мне доводилось выполнять всякие работы... Я не гнушался ничем, я радовался, что бы ни

вручала мне партия... Хотя бы то и была простая техника!..

— Но теперь-то ты—во главе огромного дела?

Он с недоумением взглянул на нее.

— Завидуешь?..

Его замечание взорвало ее.

— Не говори пустяков!—воскликнула она, рванув пальцами оборку своего платья.—Ты отлично знаешь, о чем я! Мне надоела моя роль подруги популярного человека... Я хочу, чтобы меня любили не за то лишь, что я близка тебе! Разве я беспомощна? Разве у меня не хватило бы сил, чтобы... вести самостоятельно любой труд?..

— Любой... труд...—протянул Михаил Иванович и грустно улыбнулся.—Эх, Зинаида Никифоровна!—Он вдохнул.—Ведь ты уже зрелый человек, а до сих пор не можешь отделаться от дурного тона... Все «я» да «я»! «Я»—в центре всего... Что это такое?.. Когда люди этак вот рассуждают, мне всегда вспоминается бедный Мартын...

Он готов был продолжать, его глаза оживились, и на губах заиграла самодовольная улыбка. Но она прервала его.

— Послушай!—сказала она, кладя свою руку на его колено.—Обещай мне никогда не говорить так со мною! Иначе...—Она сорвалась, губы ее запрыгали, но голос поднялся.—Зачем ты вспоминаешь Мартына? Ты никогда не понимал его! У тебя слишком алгебраический подход к людям, и не тебе ценить явлений, выходящих из ряда вон...

Она поднялась, грудь ее дышала неровно, на кру-

лом, выпуклом лбу выступили капельки пота. Заглянув в ее глаза, помрачневшие в бессильном гневе, Черноголовый вновь почувствовал раскаяние.

— Кудрявцева, голубчик...— говорил он, подымаясь на ноги и стараясь захватить ее руку.—Зачем же так? Ты не поняла меня... Я не меньше тебя ценил Мартына, и я не хотел, сравнивая его с тобою, обидеть тебя или его!..

Она, не слушая, пошла прочь. Он следовал за нею до самого борта, где, облокотившись на перилла, она долго и молча разглядывала что-то свое среди жарких лучистых волн. Он молчал, не в силах скрыть своего смущения, и она уловила это в его лице, неожиданно повернувшись от перил.

— Михаил!—проговорила она негромко.—Почему ты противишься моему отъезду в Сормово?..

— Что за вопрос?—насторожился он.—Разве я держу тебя?..

— Еще бы!

— Вот так история!—Михаил Иванович снял очки и с укором взглянул на нее.—Когда-нибудь я отговаривал тебя?

— Нет, не отговаривал, но я видела, что ты этого не желаешь! И нечего тебе притворяться...

— Зина, поверь мне: я никогда не думал, что ты так страстно жаждешь работы на стороне!..

— Очень жаль, что ты не думал об этом!

Он помолчал.

— Хорошо! Но что дала бы тебе новая работа?

— Ты еще спрашиваешь!—вскинулась она к нему.—Работа в заводском районе, в самостоятельной

роти... Пойми—совершенно самостоятельной! И при-
том... неужели для тебя не ясно, что провинция бо-
лее нуждается в работниках, чем наш центр... Слю-
вом, я знаю, я уверена, что только там опять найду
себя!..

Михаил Иванович не возражал.

— А как же... с Линочкой?—произнес он чуть
погода.

— Линочку я заберу с собой!..

Он, не торопясь, протер носовым платком очки, на-
кинул их на нос, аккуратно сложил платок и опустил
в карман.

— Я, право, не знаю...—сказал он раздумчиво.—
Может быть, ты говоришь резон... Но мне казалось...
Впрочем, я ведь тоже... человек!..

Он замолчал и отвернулся.

Теперь она, в свою очередь, искала момента, что-
бы взглянуть на него.

— Ты устал, Михаил... Не будем же продолжать
об этом до нашего возвращения!..

— Хорошо, не будем!

— Смотри! Там—Жигули... Я вижу их первый
раз!..

— Это родина Мартына...—откликнулся он тихо.—
Ты знаешь, впервые я повстречал его на Волге.. Он
только что начинал тогда жить... Как быстро летят
годы!..

Михаил Иванович настраивался на лирический лад;
это всегда бывало у него после первых встрясок.
Но почему-то Зине не хотелось слушать его. Ей хо-
телось остаться одной. Она сказала, покидая перила:

— Не пройдешь ли ты вниз, к машинам?.. Какая-то рабфаковка увела туда Линочку...

— Я иду!..

Он отправился к трапу, но едва скрылась белоснежная его голова, со стороны носовой части парохода показался ребенок в розовом платье до колен. Линочка бежала, оглядываясь на преследовавшую ее девушку. Обе смеялись.

— Мамочка...

Зина подхватила ребенка на руки и принялась целовать. Рабфаковка, плечистая, с лицом, усеянным золотом веснушек, говорила баском:

— Мы обошли с нею все машинное отделение... Она у вас ужасно любопытная!..

Линочка высвободилась из рук матери, стала в позу и вдруг побежала вдоль палубы.

— Кудрявцева, лови меня!..

Нарочито маленькими шажками Зина кинулась за девочкой, рабфаковка присоединилась к ней. Так они пробежали круг и на обратном пути столкнулись с Черноголовым.

— Смотри, кого я привел!..

Зина взглянула и не узнала. Перед ней стоял круглолицый, плечистый человек в ковенной тужурке из чесучи.

— Да это ж я, товарищ Кудрявцева!—заговорил человек в тужурке и, перехватив свой огромный портфель левой рукой, протянул Зине правую, тяжелую и красную, в рыжем пушку.—Остапенко!..

Зина ухватила эту руку, мгновение поколебалась и

вдруг, притянув всего его к себе, крепко поцеловала в губы.

— Остапенко! Никогда бы не узнала... Ты глядишь таким фертом!.. И потом... Где же твои запорожские усы?..

Остапенко подмигнул карим глазом.

— Бреюсь, как все, под лорда!—сказал он, потрясая ее руку.—А ты эвон какая... Налилась, ровно кавун в поле!..

Зина смеялась, осыпая его вопросами: откуда, что делает, куда едет?

Михаил Иванович заметил:

— Нашего Остапенко нынче голой рукой не возьмешь! Директор литейного завода... Рекомендую!..

Остапенко косил глазом, подмигивал, говорил:

— Какой там лях завод! Весь у меня в пригоршине... А это ж чья коза?—потянул он к себе Линочку.

— Моя!—сказал Черноголовый.

— Ой ли?—обрадовался Остапенко.—С кем это повезло тебе?..

Черноголовый, улыбаясь, кивнул на Зину. Та вдруг смутилась.

— Так вы что ж это, черти, молчите?—затоптал на месте Остапенко.—Значит, обженились? Вот это фунт!..

Он искренно удивлялся, восхищался, Черноголовый пошмеивался, у Зины бледность в лице сменялась густым румянцем.

Пароход медленно заносил корму в глубь реки.

Рванул, дымясь и захлебываясь, короткий гудок. Эхо музыкально прозвучало вдоль отвесного берега.

Из-за пестрой скалы выглянула кирпичная труба, известковая пыль у подножия отливала снегом. Тяжело и неуклюже поворачиваясь с юга на север, надвигалась просторная долина. На вземах, оцепивших долину, курились синие, в молоке, туманы.

— Моркваши!—прокричал Остапенко, осиливая шум кипящих за бортом вод.

Зина заволновалась.

— Михаил!—сказала она, касаясь рукою плеча Черноголового.—Я хотела бы сойти на берег... Ты говорил мне когда-то...

— Сойди!—откликнулся Черноголовый.—Но много ли стоит тут пароход?

— Пятнадцать минут!—крикнул Остапенко.—Замечательное место... Известковый завод... Кержаки!..

Бревенчатые избы и луга за ними плыли навстречу пароходу, а синие лесистые взгорья по сторонам падали, сбоченившись, в голубые дали.

Повеяло навозным дымом. Тесовая, вишневого цвета, конторка на плавнях быстро приближалась, на ее площадке бегали люди. Капитан кричал в рупор голосом великана. Со стороны казалось, что он бранился.

Пароход замер на месте, дрожа мелкою зыбью и оглушая людей клубами пара. Затем, медленно, боком, вдруг пригложнув, он принялся подвигаться к пристани. За кормою, над волнами, с криком носились чайки. Из-за тяжелых кустов боярышника, прямо за пристанью, поднялся ястреб, взмыл к небу и, описав дугу, камнем пал к Жигулям.

Черноголовый с Остапенко остались на палубе. Зина поспешно пробиралась мостиками среди рослых

белобрысых грузчиков. Бабы с корзинами у ног наперебой окликали ее, предлагали калачи, кур и яйца. Кудрявцева торопилась. Через минуту она уже стояла наверху, в лугах, оглядываясь по сторонам. Ее высокая и все еще девически гибкая фигура резко выделялась на чистом небе. В порывистых движениях Зины, в лице, жарком и настороженном, в глазах, вдруг распахнувшихся и потемневших, было что-то тревожное.

Стадо юных гусенят белело в лугах, девочка в красном, босая и простоволосая, помахивала жердинкой. От изб бежала к берегу собака, лохматая, как кавказская папаха. Заметив незнакомого человека, остановилась и залаяла. Молодая женщина подошла к ней, протянула руку, и вот животное, как бы почуяв друга, покорно склонилось к ее ногам.

— Смотри, укусит!..—покричала от своего гусиного стада девочка в красном.

— Нет, этот пес знает меня!..—откликнулась Зина, пьяно улыбаясь.

Девочка подошла ближе.

— Так ты бывала у нас?—спросила она.

— Никогда!—охотно сообщила Зина, и голос ее задрожал.—Нет, я никогда не бывала здесь, девочка...

Высокий плечистый старик проходил мимо, волоча за собою связку лык. Он посмотрел в сторону молодой женщины. Его глаза были сини, в рыжих ресницах; лицо темно от ветров и солнца; на голове колыбалась копна седых волос.

Смолкнув, Зина следила за ним. Губы ее безвольно распались; изумленно вскинутые брови застыли. Со-

Из-за пестрой скалы выглянула кирпичная труба, известковая пыль у подножия отливала снегом. Тяжело и неуклюже поворачиваясь с юга на север, надвигалась просторная долина. На вземах, оцепивших долину, курились синие, в молоке, туманы.

— Моркваши!—прокричал Остапенко, усиливая шум кипящих за бортом вод.

Зина заволновалась.

— Михаил!—сказала она, касаясь рукою плеча Черноголового.—Я хотела бы сойти на берег... Ты говорил мне когда-то...

— Сойди!—откликнулся Черноголовый.—Но много ли стоит тут пароход?

— Пятнадцать минут!—крикнул Остапенко.—Замечательное место... Известковый завод... Кержаки!..

Бревенчатые избы и луга за ними плыли навстречу пароходу, а синие лесистые взгорья по сторонам падали, сбоченившись, в голубые дали.

Повеяло навозным дымом. Тесовая, вишневого цвета, конторка на плавнях быстро приближалась, на ее площадке бегали люди. Капитан кричал в рупор голосом великана. Со стороны казалось, что он бранился.

Пароход замер на месте, джоя мелкою зыбью и оглушая людей клубами пара. Затем, медленно, боком, вдруг пригложнув, он принялся подвигаться к пристани. За кормою, над волнами, с криком носились чайки. Из-за тяжелых кустов боярышника, прямо за пристанью, поднялся ястреб, взмыл к небу и, описав дугу, вынел птл к Жигулям.

Черноголовый с Остапенко остались на палубе. Зина поспешно пробиралась жостиками среди рослых

белобрысых грузчиков. Бабы с корзинами у ног перебодой окликалы ее, предлагалы калачи, кур и яйца. Кудрявцева торопилась. Через минуту она уже стояла наверху, в лугах, оглядываясь по сторонам. Ее высокая и все еще девически гибкая фигура резко выделялась на чистом небе. В порывистых движениях Зины, в лице, жарком и настороженном, в глазах, вдруг распахнувшихся и потемневших, было что-то тревожное.

Стадо юных гусенят белело в лугах, девочка в красном, босая и простоволосая, помахивала жердочкой. От изб бежала к берегу собака, лохматая, как кавказская папаха. Заметив незнакомого человека, остановилась и залаяла. Молодая женщина подошла к ней, протянула руку, и вот животное, как бы почуяв друга, покорно склонилось к ее ногам.

— Смотри, укусит!..—покричала от своего гусиного стада девочка в красном.

— Нет, этот пес знает меня!..—откликнулась Зина, пьяно улыбаясь.

Девочка подошла ближе.

— Так ты бывала у нас?—спросила она.

— Никогда!—охотно сообщила Зина, и голос ее задрожал.—Нет, я никогда не бывала здесь, девочка...

Высокий плечистый старик проходил мимо, волоча за собою связку лык. Он посмотрел в сторону молодой женщины. Его глаза были сини, в рыжих ресницах; лицо темно от ветров и солнца; на голове колыхалась копна седых волос.

Смолкнув, Зина следила за ним. Губы ее безвольно распались; изумленно вскинутые брови застыли. Со-

бака сорвалась с места и, взвизгнув, бросилась за стариком.

— Это кто?—спросила Зина у девочки.

Но та молча, торопливо оглядываясь, уходила прочь.

Кудрявцева подняла голову. Сердце ее гулко колотилось, в глазах плескалась голая животная тоска. Она поспешила на пароход.

Михаил Иванович и Остапенко сидели в рубке, перед ними стоял чайный прибор. Линочки не было, она спясть увязалась с рабфакровкой вниз, к машинам.

— Ну, что, хорошо там?—улыбкою встретил Зину Черноголовый и несколько необычно, пытливо заглянул ей в лицо.

— Да, чрезвычайно!—произнесла она спокойно.— Я бы ничего не имела—провести здесь лето... Ну, что, Остапенко, давно ли ты из родных мест?—продолжала она, усаживаясь рядом.—Не слыхал ли чего о старых приятелях?..

— Представь, Зина, этот Уткин—помнишь?—умер...—сказал Черноголовый.

Она не удивилась и не выразила сожаления. Глаза ее лихорадочно и рассеяно, как бы прислушиваясь к чему-то своему, бегали по сторонам.

— Мы покинули его в последнем градусе...— произнесла она чуть погодя.—А что с Сухоруковым?..

— Ого, Сухорукова не достанешь!..—воскликнул Остапенко.—Предисполкома губернии!.. Разве же не слыхали?.. А Тулякова помните? Уполномоченный внутрорга, развелся с жинкой и чуть не подох от простуды этой весной...

— А ты знаешь, Зина,—перебил его Михаил Иванович,—товарищ Остапенко был в походе вместе с Мартыном!..

— Да?!—откликнулась она, дрогнув глазами.

— Остапенко начал было рассказывать...—продолжал Михаил Иванович.—Видишь ли, Баймаков погиб на его глазах!..

Зина молча, прихмурившись, взглянула на Остапенко.

— Как это было?—проговорила она, углы ее рта опустились.

— Продолжай, Тарас!—попросил Червоголовый, стараясь не глядеть на людей.

— Да что!—начал тот, отодвигая от себя стакан и поспешно извлекая из бокового кармана папиросу.—Тошно ворошить! Мне Баймаков даже по сердцу пришелся, хоть и был он с норовом... Норовистый парень! Бывало, как ляжем на привал, так и пойдет о своем петь... Случая того, в Липках, никак, вишь ты, забыть не мог!.. От меня он, прямо скажу, не таился, а других прочих за версту бежал... Однако заприметили его раз в штабе дивизии: человек, мол, обтесанный, ловкий, давай в политкомы полка!.. А он, понимаешь, как узнал, так вроде даже испугался!.. «Они,—говорит,—ничего обо мне не слышали, а я,—говорит,—никого обманывать не хочу, и место мое—со 'стрелками!..» Выдал?! Долго уговаривал я его, да разн ж с таким сговоришь?..—Остапенко затянулся табачным дымком.—Пропал он при полном параде, в цепи... Об екатеринославских боях слух имели? Жаркие были денечки!.. В нашей дивизии многие

тогда сложили головушки... Курнись?..—неожиданно обратился он к Черноголовому, протягивая папиросу.

— Давай, попробую,—принял Михаил Иванович папиросу и раскурил.

— Под Екатеринославом белые в такую работу нас взяли, что... ой-ей-ей!..—говорил Остапенко, поглядывая то на Михаила Ивановича, то на Кудрявцеву.—И стала, понимаешь, наша дивизия отступать... Я с Баймаковым в одной роте, а рота—в самом пекле... Притиснули, понимаешь, нас к речке... А у речки, на этом берегу, люди... жители мирные... Собрались со всей своей амуницией: тележки, лошадки, куры, поросята...

— Беженцы?—переспросила Зина, лицо ее вытянулось и побледнело.

— Вроде того!—спокойно откликнулся Остапенко.—Они на нашем берегу, у речки, а через речку—паром на канате... Они и переправляются полегоньку, подальше от врага... Перед речкой—бугры, и на тех буграх наша рота! Лежим мы под огнем час, лежим другой... Баймаков у нас командиром.

— Командиром?—поднял Черноголовый голову.

— А что ж такого? Сотни верст с боем шел: выучка полная!.. А тут прежнего командира пулей у нас пришло... Вот он и заступил из политруков!..

— Понимаю,—сказал Черноголовый.

— Ну, лежим мы в цепи, а дело уже перед закатом... Подполз я к Мартыну, кричу: «Давай, братишка, сигнал к отступлению, мочи нет!» А он обернулся ко мне (на лице кровинки нет!) и рукой на реку. «Нельзя,—кричит,—люди там!» Я как глянул, так все

и учуял: пойдя наша рота впопьяную, от беженцев одну мокрое место останется... Однако война — война и есть! Баб с ребятишками пожалеешь, самим ног не унести... Э, думаю, товарищ командир, так-то не годится! И опять ору: «Давай сигнал!» А он как варев на меня: «Кто тут командир? Пристрелю!» Да паганом в меня по-серьезному... А я о своем! «Невозможно, — говорю, — всех бойцов уложишь!» Ну он и обмяк тут... «Остапенко, — говорит, — да ты погляди туда: старики, бабы, ребята... Всех перешерстят!..» И так это он на меня поглядел... Вижу: сам не свой парень; вроде как бы всю судьбу свою на карты поставил. «Ну, — думаю, — дело твое, — на то ты и командир!..»

Остапенко смолк. На скулах у него жестоко ходили желваки. Было видно, что и теперь, через много лет, тяжело вспоминать ему этот случай под Екатеринославом.

Кудрявцева не поднимала глаз. Брови ее оставались прихмуренными.

— Как же было дальше? — попросил Михаил Иванович, протирая очки концом скатерти.

— Да что! — махнул рукою Остапенко. — Лежали мы там до сумерек, и осталось у нас от каждого десятка — по паре живых... Тут и Баймаков сковырнулся!..

— Так и... не отступила рота? — торопливо проговорил Черноголовый и поднялся за столом.

— Рота железная! — отозвался со вздохом Остапенко. — Обстрелянная рота... Без команды ни шагу!..

Наступило молчание. Нарушил его Михаил Иванович.

— А эти беженцы, Остапенко... им все же удалось переправиться на тот берег?

Остапенко крикнул.

— Переправилось-то их много,—сказал он, покосившись на Кудрявцеву.—А только спаслось мало... которые на нашем берегу задержались...

Зина откинула голову, как под ударом. Черноголовый молчал.

— Видишь ты, дело какое!—пояснил Остапенко.— На том берегу—низина и ни кусточка... Заприметила белая сволочь людей и—ну по ним жарить... А тут и весь фронт на нашем участке дрогнул, спутали мы игру!..

Михаил Иванович горестно покачал головою. Затем, глядя поверх очков, принялся шагать по рубке. Остановившись у стола, он проговорил, ни к кому не обращаясь, раздумчиво:

— Вот штука! Когда же Мартын совершил преступление: там ли, в Липках, спасая себя, или... потом, спасая других?..

Зина резко поднялась со своего места.

— Какой ты... злой, Михаил!—бросила она и, потрогав дрожащими пальцами скатерть, вышла из рубки.

Михаил Иванович взглянул на Остапенко. В карих понимающих глазах литейщика залегла пасмурь.

Ночью, в каюте, когда Зина, укрывшись с голозой простыней, лежала в постели рядом с Линючкой, Черноголовый тихонько достал из чемодана неразлучную свою тетрадь, старую, в затрепанном холщевом пере-

плете. Подсев к электрическому рожку, он некоторое время писал. Между прочим, он записал следующее:

«Сознание правоты своей перед классом—это все! Но горе тому, кто правила своего поведения превращает в орудие собственной пытки, для кого совесть—не простая и отчетливая азбука борющегося пролетариата, а нечто от фетишизма».

«Мартын вздумал задачу совести разрешить на свой страх. Он и не подозревал, что вступать в единоборство с человеческою природою—затея пустая. И он ничего не сказал—ни своею жизнью, ни своею смертью, ибо... что такое отважность героя, если отважен только класс в целом: кто-то споткнулся, на его место встал другой».

Тут Михаил Иванович отложил перо и тяжело задумался. В себя привел его голос Кудрявцевой. Неожиданно она подняла от подушки голову и проговорила:

— Отчего ты не ложишься?..

Он вздрогнул и опустил на тетрадь обе ладони, как бы защищая ее от чужого глаза. Но Зина даже не взглянула на тетрадь. Она поднялась в постели, свесив ноги и прикрывая простыней голые свои плечи.

— Михаил, не сердись, я окончательно решила ехать в Сормово... И ты не держи меня!..

Она пытливо глядела на него. Он сказал, снимая дрожащею рукою очки и осторожно укладывая их поверх тетради, теперь уже не скрываемой им:

— За кого ты принимаешь меня?.. Я перестал бы доверять себе, если бы вздумал мешать твоему решению...

Она молчала.

Наступило молчание. Нарушил его Михаил Иванович.

— А эти беженцы, Остапенко... им все же удалось переправиться на тот берег?

Остапенко крякнул.

— Переправилось-то их много,—сказал он, покусившись на Кудрявцеву.—А только спаслось мало... которые на нашем берегу задержались...

Зина откинула голову, как под ударом. Черноголовый молчал.

— Видишь ты, дело какое!—пояснил Остапенко.— На том берегу—низина и ни кусточка... Заприметила белая сволочь людей и—ну по ним жарить... А тут и весь фронт на нашем участке дрогнул, спутали мы игру!..

Михаил Иванович горестно покачал головою. Затем, глядя поверх очков, принялся шагать по рубке. Остановившись у стола, он проговорил, ни к кому не обращаясь, раздумчиво:

— Вот штука! Когда же Мартын совершил преступление: там ли, в Липках, спасая себя, или... потом, спасая других?..

Зина резко поднялась со своего места.

— Какой ты... злой, Михаил!—бросила она и, потрогав дрожащими пальцами скатерть, вышла из рубки.

Михаил Иванович взглянул на Остапенко. В карих понимающих глазах литейщика залегла пасмурь.

Ночью, в какие, когда Зина, укрывшись с головой простынею, лежала в постели рядом с Липицкой, Черноголовый тихонько достал из чемодана неразлучную свою тетрадь, старую, в затрещанном холщевом пере-

плете. Подсев к электрическому рожку, он некоторое время писал. Между прочим, он записал следующее:

«Сознание правоты своей перед классом — это все! Но горе тому, кто правила своего поведения превращает в орудие собственной пытки, для кого совесть — не простая и отчетливая азбука борющегося пролетариата, а нечто от фетишизма».

«Мартын вздумал задачу совести разрешить на свой страх. Он и не подозревал, что вступать в единоборство с человеческою природою — затея пустая. И он ничего не сказал — ни своею жизнью, ни своею смертью, ибо... что такое отважность героя, если отважен только класс в целом: кто-то споткнулся, на его место встал другой».

Тут Михаил Иванович отложил перо и тяжело задумался. В себя привел его голос Кудрявцевой. Неожиданно она подняла от подушки голову и проговорила:

— Отчего ты не ложишься?..

Он вздрогнул и опустил на тетрадь обе ладони, как бы защищая ее от чужого глаза. Но Зина даже не взглянула на тетрадь. Она поднялась в постели, свесив ноги и прикрывая простыней голые свои плечи.

— Михаил, не сердись, я окончательно решила ехать в Сормово... И ты не держи меня!..

Она пытливо глядела на него. Он сказал, снимая дрожавшею рукою очки и осторожно укладывая их поверх тетради, теперь уже не скрываемой им:

— За кого ты принимаешь меня?.. Я перестал бы держать себя, если бы вздумал менять своему решению...

Она молчала.

— Линочку я возьму с собою...— произнесла она шопотом и опустила голову.— Ты станешь приезжать к нам...

— Постушай!— окликнул он ее чуть погодя.— Мне будет очень тяжело без тебя... и ребсика!.. Моя личная жизнь небогата... Ты слышишь?..

— Слышу, Михаил... Но я не могу иначе... Мне невыносимо без настоящей работы...

Слезы смочили ее щеку, и кожа на скулах отсвечивала под электричеством.

— Я должна, Михаил!.. Иначе... я перестану уважать себя... И ты будешь мне... совсем, совсем чужой!.. О чем ты думаешь сейчас?..

Черноголовый повернул к ней лицо. Оно было серо.

— О чем я думаю? Я думаю о том, Зина, что человек с бесстрастным математическим характером— ложь и глупость! И когда рисуют его таким, говоря о будущем, тоже лгут! Человек будущего столь же здесь надуман, как и первобытный его предок, представляющийся некоторым чем-то вроде кожаного мешка, наполненного рефлексами...

— Опять сентенции?— с горечью усмехнулась она.

— Нет, это голос чрева!— сухо отозвался он.— Я прожил около полвека и все еще первобытен, как младенец... Нет, это не сентенции!..

Он встал и накинул на себя пальто.

— Ты куда?— подняла она голову.

— Я немного пройдуся, у меня болит голова.

Он вышел на палубу. Шаг его был неровен.

Пароход бесшумно шел в ночи, под звездами; упругий ветер, колебля на вышке сигнальные огни, дул

поперек черной реки. С капитанского мостика слышался гремучий голос старого моряка:

— Полный ход... Полный!..

Где-то звенели цепи, и под ногами в желкой, зыбкой дрожи колыхалось пугро судна.

Черноголовый поднялся по ступеням наверх.

— Капитан, вы?

Бравый, подтянутый, чуть-чуть отсыревший голос отвечал из темноты:

— Есть!

Черноголовый стал рядом.

— Который час, товарищ?

— Полночь!

— А где мы будем на рассвете? Вы знаете, капитан, кажется, я поверну обратно, на встречу... Довольно! Силы мои растут, работа не ждет..

Он сказал это так, точно его могла слышать Кудряцева: ведь ей было бы непереносимо такое его решение.

Но было в словах Михайла Ивановича, брошенных равнодушному ко всему капитану, еще и другое. Чувство тоски и смятения захлестывало сознание Черноголового, и он, как всегда в таких случаях, искал выхода из несносного состояния, а выход тут мог быть лишь один: надо на что-то решиться, что-то предпринять и в движении, в действии утасить, размякать нудную, бесплодную боль.

Капитан раскуривал трубку. Черноголовый напряженно всматривался перед собою в темноту. Пароход шел полным ходом, могуче неся собственную тяжесть.

— Линочку я возьму с собою...— произнесла она шепотом и опустила голову.— Ты станешь приезжать к нам...

— Послушай!— окликнул он ее чуть погодя.— Мне будет очень тяжело без тебя... и ребенка!.. Моя личная жизнь небогата... Ты слышишь?..

— Слышу, Михаил... Но я не могу иначе... Мне невыносимо без настоящей работы...

Слезы смочили ее щеку, и кожа на скулах отсвечивала под электричеством.

— Я должна, Михаил!.. Иначе... я перестану уважать себя... И ты будешь мне... совсем, совсем чужой!.. О чем ты думаешь сейчас?..

Черноголовый повернул к ней лицо. Оно было серо.

— О чем я думаю? Я думаю о том, Зина, что человек с бесстрастным математическим характером— ложь и глупость! И когда рисуют его таким, говоря о будущем, тоже лгут! Человек будущего столь же здесь надуман, как и первобытный его предок, представляющийся некоторым чем-то вроде кожаного мешка, наполненного рефлексамми...

— Опять сентенции?— с горечью усмехнулась она.

— Нет, это голос чрева!— сухо отозвался он.— Я прожил около полвека и все еще первобытен, как младенец... Нет, это не сентенции!..

Он встал и накинул на себя пальто.

— Ты куда?— подняла она голову.

— Я немного пройдуся, у меня болит голова.

Он вышел на палубу. Шаг его был неровен.

Пароход бесшумно шел в ночи, под звездами; упругий ветер, колебля на вышке сигнальные огни, дул

поперек черной реки. С капитанского мостика слышался гремучий голос старого моряка:

— Полный ход... Полный!..

Где-то звенели цепи, и под ногами в мелкой, зыбкой дрожи колыхалось нутро судна.

Черноголовый поднялся по ступеням вверх.

— Капитан, вы?

Бравый, подтянутый, чуть-чуть отсыревший голос отвечал из темноты:

— Есть!

Черноголовый стал рядом.

— Который час, товарищ?

— Полночь!

— А где мы будем на рассвете? Вы знаете, капитан, кажется, я поверну обратно, на встречном... Довольно! Силы мои растут, работа не ждет...

Он сказал это так, точно его могла слышать Кудрявцева: ведь ей было бы непереносимо такое его решение.

Но было в словах Михаила Ивановича, брошенных равнодушному ко всему капитану, еще и другое. Чувство тоски и смятения захлестывало сознание Черноголового, и он, как всегда в таких случаях, искал выхода из несносного состояния, а выход тут мог быть лишь один: надо на что-то решиться, что-то предпринять и в движении, в действии утасить, размыкать нудную, бесплодную боль.

Капитан раскуривал трубку. Черноголовый напряженно всматривался перед собою в темноту. Пароход шел полным ходом, могуче неся собственную тяжесть.

Он шел упрямо и ровно, разметывая по сторонам горы воды.

— Я всегда говорил!..—прокричал капитан, пыхнув в лицо Черноголового горьким, как полынь, дымом.— Всегда говорил я: дайте нам вдоволь нефти, и мы разовьем бешеные рейсы... Теперь это видят все!..

— Да, капитан! Вы говорили правду.

Ветер посвистывал у груди Черноголового, и Черноголовый не пытался противиться ему, как ласке—суровой, но надежной.

— Вы говорили правду, капитан! И я могу вас порадовать: еще пять лет и—не узнать нашей Волги... Мы дадим ей не только нефти—до края, до предела!—вы увидите новые дизеля, мы переоборудуем пристани, мы снабдим вас...

Капитан слушал, заливая заревом трубки плечо и точеный подбородок Черноголового.

И в эту самую минуту Кудрявцева, вдруг затревожившись, торопливо накидывала на себя платъс. Справившись с этим, она заметила развернутую тетрадь на столике, заглянула в нее и, не раздумывая, прочитала одну из строк:

«...Сознание правоты своей перед классом,—это все!»

Холодом никогда не отступающей воли повеяло на нее от этой случайно вырванной, обнаженной фразы.

Вст он—весь тут, Черноголовый, это его излюбленные мысли, это вся его безукоризненная, ежечасно стоящая начеку жизнь.

О, как хорошо знает она этого человека и как много обязана ему, обязана всем: прозрением своим,

вторым своим рождением на свет. Но, отчего же сми-
мается, отчего холодеет теперь ее сердце при одной
мысли о нем, никогда не сшибающиеся, никогда не
падающем духом?

Зина опустила на табурет и закрыла глаза. Она
перебирала в памяти события последних лет, она иска-
ла случая, хотя бы единственного, когда и Черного-
ловый был иным, и — не находила.

Вдруг как-то выпало из ее памяти все, что связывало
было с теми моментами жизни, когда Черноголовый
ошибался, говорил о своих ошибках, страдал при
неудачах и, не стыдясь, искал у нее утешения, за-
бытия от этих неудач.

Все позабыто было Кудрявцевой. Она сидела, под-
няв лицо к свету, стиснув зубы, закрыв глаза... Ах,
этот холодный, расчетливый, безукоризненный Черно-
головый!

Наконец она пришла в себя. Что с нею? Разве
Черноголовый был иным, когда впервые вошла она в
его жизнь, как друг, как женщина, как жена? И разве
не видела она, с кем связывает свою жизнь?..

Нет, тут что-то неладное! Какой-то дурацкий туманит
ей голову. Она явно несправедлива к Михаилу Ива-
нычу... Или эти пять лет, проведенные в обстановке
мира и довольства, изменили ее к худшему, сделали
ее несчастною, несправедливою к людям?..

Чувствуя себя виноватой, она собрала все силы,
чтобы разомкнуть свое настроение. И прежде всего
мысленно перенеслась она в прошлое, к тем дням,
когда стала близкой, совсем, навсегда близкой Ми-
хаилу Иванычу... Ведь именно то, что теперь так на-

сторазживаёт её против него—уравновешенная его сила,—толкнуло её когда-то к нему. Ведь именно такой—казался он ей тогда совершеннейшим среди людей. Взять хотя бы Мартына... Мартын и Черноголовый. Мятущийся, не знающий своего будущего человек и истинный герой, управляющий каждым своим шагом... Тонущее судно и—утес, спасительный берег среди бушующего жизненного моря!

Зину передернуло от этих пришедших ей в голову сравнений (Мартын и Черноголовый, тонущее судно и утес!). Совсем как в романтической сказке! Но разве все это выдумка? Разве не так оно и было?..

Тут только заметила она, что за окном светало, а Михаила Ивановича все еще не было. Она встала и нетерпеливо начала шагать из угла в угол.

Он возвратился много позже. Еще с порога повеяло от него свежестью, ветром, предутренней речной влагою. Лицо его отливало кумачом, белоснежная голова светилаась, стекла очков льдисто поблескивали.

Стягивая с себя пальто, он заговорил приподнято, возбужденно:

— Слушай, Кудрявцева, ты еще не спишь? Какой я был дурак, какой дурачина! Помнишь тот доклад о положении с топливом? Мы бились с месяц, а самого главного не видели... Суть дела ускользала от нас из-под самого носа! Ты понимаешь, в чем была заковыка? Они просчитались, наши великолепные спецы!..

Он сел на свою койку и потянул её за руку к себе. Он был нездешний, неуязвимый, странно напоминая собою в эту минуту мудреца и ребенка.

— Мне сейчас все это как на ладони представилось... Беда заключалась в том, что...

Он прервал себя, смолк, заметив устремленные на него глаза Кудрявцевой. Нет, окружающее было ему не безразлично, он еще сознавал себя в нем. Он уловил в прищуренных глазах женщины нечто, что остановило поток его слов. Ему почудилось, что глядит она на него сторонне, изучающе и как-то слишком уж уверенно, как на явление, ей давно знакомое и теперь лишь сравниваемое ею с тем, что она раз навсегда установила для себя.

— Ты что? Что ты так глядишь на меня?..

Голос у него сорвался, и в глазах утасло, он весь посунулся к ней, старый, измученный, с мешочками под глазами.

И, заметив в нем эту перемену, она отвернулась.

— Итак, ты ничего не имеешь против моего отъезда?

Он улыбнулся устало, издалека.

— А, это?.. Но, Зина, ты же решила не говорить до нашего возвращения... Кстати: не повернуть ли нам обратно? Капитан говорит, что на рассвете мы можем высадиться на этой... как ее...

Она прервала его. Нет, он положительно несносный человек... Как! Сорвать отдых, повернуть ни с того, ни с сего обратно?.. Нет, это было бы безумием!..

Он слушал ее, сняв очки и устало помигивая ресницами.

— Значит, не годится?.. — покорно, но не без разочарования, произнес он.

стораживает ее против него—уравновешенная его сила,—толкнуло ее когда-то к нему. Ведь именно такой—казался он ей тогда совершеннейшим среди людей. Взять хотя бы Мартына... Мартын и Черноготовый. Мятущийся, не знающий своего будущего человек и истинный герой, управляющий каждым своим шагом... Тонущее судно и—утес, спасительный берег среди бушующего жизненного моря!

Зину передернуло от этих пришедших ей в голову сравнений (Мартын и Черноготовый, тонущее судно и утес!). Совсем как в романтической сказке! Но разве все это выдумка? Разве не так оно и было?..

Тут только заметила она, что за окном светало, а Михаила Иваныча все еще не было. Она встала и нетерпеливо начала шагать из угла в угол.

Он возвратился много позже. Еще с порога повеяло от него свежестью, ветром, предутренней речной влагою. Лицо его отливало кумачом, белоснежная голова светила, стекла очков льдисто поблескивали.

Стягивая с себя пальто, он заговорил приподнято, возбужденно:

— Слушай, Кудрявцева, ты еще не спишь? Какой я был дурак, какой дурачина! Помнишь тот доклад о положении с топливом? Мы бились с месяц, а самого главного не видели... Суть дела ускользала от нас из-под самого носа! Ты понимаешь, в чем была заковыка? Они просчитались, нашли великолепные спец!..

Он сел на свою койку и потянул ее за руку к себе. Он был нездешний, неуязвимый, странно напоминая собою в эту минуту мудреца и ребенка.

— Мне сейчас все это как на ладони представилось... Беда заключалась в том, что...

Он прервал себя, смолк, заметив устремленные на него глаза Кудрявцевой. Нет, окружающее было ему не безразлично, он еще сознавал себя в нем. Он уловил в прищуренных глазах женщины нечто, что остановило поток его слов. Ему почудилось, что глядит она на него сторонне, изучающе и как-то слишком уж уверенно, как на явление, ей давно знакомое и теперь лишь сравниваемое ею с тем, что она раз навсегда установила для себя.

— Ты что? Что ты так глядишь на меня?..

Голос у него сорвался, и в глазах устало, он весь покосился к ней, старый, измученный, с мешочками под глазами.

И, заметив в нем эту перемену, она отвернулась.

— Итак, ты ничего не имеешь против моего отъезда?

Он улыбнулся устало, издали.

— А, это?.. Но, Зина, ты же решила не говорить до нашего возвращения... Кстати: не повернуть ли нам обратно? Капитан говорит, что на рассвете мы можем высадиться на этой... как ее...

Она прервала его. Нет, он положительно несносный человек... Как! Сорвать отдых, повернуть ни с того, ни с сего обратно?.. Нет, это было бы безумием!..

Он слушал ее, сняв очки и устало помигивая ресницами.

— Значит, не годится?—покорно, но не без разочарования, произнес он.

Она в упор взглянула на него и внезапно залилась смехом.

— Тише...—скликнул он ее, обернувшись к сиящей Линочке.

— Ах, Михаил!—говорила она, поглаживая его по плечу дрожащею рукою.—Большой ты мой ребенок!

Он притих под этою неожиданною ласкою, пытаясь, однако, выразить в лице недоумение и строгость.

— В чем дело, Зина?..

— Ой, я и сама желала бы знать, в чем тут дело!—претворила она, отворачиваясь.—Но ты... не обращай на меня внимания!—добавила она другим тоном. Все на свете проходит... Об одном жалею я: стчего у меня нет ни того, что было у Мартына, ни того, что есть у тебя?..

— Теперь ты пытаешься быть несправедливой к себе!..

Ей стало неловко под его взглядом.

Он продолжал:

— Мне кажется, тебе в самом деле надо опять окунуться в работу! Окунуться поглубже, так, чтобы вплотную стать к тем, которые...—Он замаялся.—Которые в свое время могли бы спасти Мартына! Я говорю о жизни массы... рабочей массы... Но ты еще и женщина, Зина!—неожиданно закончил он и растерянно уставился на нее.

Она вскинула голову.

— С этим-то я справлюсь!..

Он взял ее руку и легонько пожал.

Самое важное в жизни... начал он с чувством.
Но она прервала его:

— Не надо, Михаил! Поменьше глубокомыслия...

Он встал и принялся снимать с себя тужурку. Но сняв, впервые за совместную с Зиной жизнь не решился раздеваться дальше.

— Давай все же на покой! предложил он, в нерешительности держа в руках свою тужурку. — Сигар тебе нужен?..

Оба они Кудрявцева и Черноголовый уснули не сразу. Оба думали о прожитой жизни и о будущем, неясном для них обоих.

И когда, наконец, забылись они за окном вспыхнуло горячим золотом. Линочка открыла глаза, подняла голову, прислушалась к чему-то, неизъяснимо радостному внутри себя, и закричала:

— Мамочка, вода горит!..

Она в упор взглянула на него и внезапно залилась смехом.

— Тише... — окликнул он ее, обернувшись к спящей Линочке.

— Ах, Михаил! — говорила она, поглаживая его по плечу дрожащею рукою. Большой ты мой ребенок!

Он притих под этою неожиданною ласкою, пытаясь, однако, выразить в лице недоумение и строгость.

— В чем дело, Зина?..

— Ой, я и сама желала бы знать, в чем тут дело! — преговорила она, отворачиваясь. — Но ты... не обращай на меня внимания! — добавила она другим тоном. Все на свете проходит... Об одном жалею я: стчего у меня нет ни того, что было у Мартына, ни того, что есть у тебя?..

— Теперь ты пытаешься быть несправедливой к себе!..

Ей стало неловко под его взглядом.

Он продолжал:

— Мне кажется, тебе в самом деле надо опять окунуться в работу! Окунуться поглубже, так, чтобы вплотную стать к тем, которые... Он замаялся. — Которые в свое время могли бы спасти Мартына! Я говорю о жизни массы... рабочей массы... Но ты еще и женщина, Зина! — неожиданно закончил он и растерянно уставился на нее.

Она вскинула голову.

— С этим-то я справлюсь!..

Он взял ее руку и легонько пожал.

— Самое важное в жизни... — начал он с чувством.

Но она прервала его:

— Не надо, Михаил! Поменьше глубокомыслия...

Он встал и принялся снимать с себя тужурку. Но сняв, впервые за совместную с Зиной жизнь не решился раздеваться дальше.

— Давай еще же на покой! — предложил он, в нерешительности держа в руках свою тужурку. — Свет тебе нужен?..

Оба они — Кудрявцева и Черноголовый — уснули не сразу. Оба думали о прожитой жизни и о будущем, неясном для них обоих.

И когда, наконец, забылись они — за окном вспыхнуло горячим золотом. Линочка открыла глаза, подняла голову, прислушалась к чему-то, неизъяснимо радостному внутри себя, и закричала:

— Мамочка, вода горит!..

Она в упор взглянула на него и внезапно залилась смехом.

— Тише...— скликнул он ее, обернувшись к сиящей Линочке.

— Ах, Михаил!— говорила она, поглаживая его по плечу дрожащею рукою. — Большой ты мой ребенок!

Он притих под этою неожиданною ласкою, пытаясь, однако, выразить в лице недоумение и строгость.

— В чем дело, Зина?..

— Ой, я и сама желала бы знать, в чем тут дело! — преговорила она, отворачиваясь. — Но ты... не обращай на меня внимания! — добавила она другим тоном. — Все на свете проходит... Об одном жалею я: стчего у меня нет ни того, что было у Мартына, ни того, что есть у тебя?..

— Теперь ты пытаешься быть несправедливой к себе!..

Ей стало неловко под его взглядом.

Он продолжал:

— Мне кажется, тебе в самом деле надо опять окунуться в работу! Окунуться поглубже, так, чтобы вплотную стать к тем, которые... — Он замялся. — Которые в свое время могли бы спасти Мартына! Я говорю о жизни массы... рабочей массы... Но ты еще и женщина, Зина! — неожиданно закончил он и растерянно уставился на нее.

Она вскинула голову.

— С этим-то я справлюсь!..

Он взял ее руку и легонько пожал.

Самое важное в жизни... — начал он с чувством.

Но она прервала его:

— Не надо, Михаил! Поменьше глубокомыслия...

Он встал и принялся снимать с себя тужурку. Но сняв, впервые за совместную с Зиной жизнь не решился раздеваться дальше.

— Давай еще же на покой! — предложил он, в нерешительности держа в руках свою тужурку. — Свет тебе нужен?..

Оба они — Кудрявцева и Черноголовый — уснули не сразу. Оба думали о прожитой жизни и о будущем, неясном для них обоих.

И когда, наконец, забылись они — за окном вспыхнуло горячим золотом. Линочка открыла глаза, подняла голову, прислушалась к чему-то, неизъяснимо радостному внутри себя, и закричала:

— Мамочка, вода горит!..

Отв. редактор А. Зуев. Техн. ред.
Н. Греймер. Сдано в производ-
ство 29/VI—32 г. Подписано к печати
25/XI—32 г. Уполн. Главлита № В-28166
Фосп. № 757/120. Формат бум. 82×110.
21½ печ. л. Заказ № 5633. Тираж 5200.
Фабрика книги «Красный пролетарий»,
Москва. Краснопролетарская, 16.